

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Грегори Норминтон. Корабль дураков

<и он> оказался вторым после Бога спасителем помянутого ковчега, ибо он предотвратил кораблекрушение: он с помощью ног приводил ковчег в движение и поворачивал его в любую сторону, так что его ноги служили ковчегу как бы рулем... Ну как, вы все поняли? В таком случае хлопните винца, только не разбавляйте водой. Не верится вам, что ли? «Ну и мне тоже не верится», – сказала кума.

Франсуа Рабле.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» [1]

Общий пролог

Нагруженный под завязку, что твое блюдо, до краев полное вишни, корабль дураков застыл на лужайке моря. И хотя легкий бриз развеивает флажок на мачте, море – зеленое и спокойное, точно сад. Корабль – это скорее утлая лодчонка, и даже не лодка, а так, непонятного свойства посуда с еще живым деревом вместо мачты. В его пышной кроне засел чудной вахтенный (чудной, потому что сова; да и сама сова тоже чудная, потому что и с клювом, и со ртом). И немало еще несуразиц на этом неправильном корабле: вместо руля – деревянный черпак, команды нет и в помине, а пассажиры явно не приспособлены к мореходному делу. Вот вся честная компания (в произвольном порядке): трое певцов-горлопанов, бесстыдник-купальщик, блюющий пропойца, храпящий пропойца, пьяная баба, обжора, монах, шут и монашка с лютней. Список предметов неодушевленных: фляги с вином или элем, стакан, плошка для подаяний, бочка спиртного, нож, жареная курица, дохлая рыба, ком теста и блюдо (как вы уже догадались) с вишней, каковая олицетворяет собой грех сладострастия, либо сладострастную тягу к греху – понятия часто равнозначные.

Компания, надо сказать, разношерстная. Давно ли они собрались вместе? Все указания на Время отсутствуют. Время, кажется, отсутствует тоже. Здесь всегда – полдень, если судить по свету. Можно предположить, что тепло, но и Погоды тут нет.

Этот унылый застой, это настырное однообразие – как все нудно и скучно. Чем они развлекают себя, эти люди? Что они здесь делают? Сидят, стоят и лежат, перегибаются через борт, тянутся приподнявшись на цыпочках, плещутся в море.

Да, это понятно. Но что они здесь *делают*?

Поют. Без складу и ладу. Певцы-горлопаны выводят застольную песню (что-то про жен, про оленей с рогами и про чучела мертвых зверюшек) [2], монах читает Часослов (от

¹ Перевод с французского Н.М. Любимова.

² Как подсказывает сам автор в любезно составленной им «Памятке для озадаченных переводчиков», здесь имеется в виду современная английская регбийная песня. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить автора за помощь в работе: большинство примечаний переводчика в этой книге сделаны именно по разъяснениям самого автора. – Примеч. пер.

старых привычек избавиться трудно), а монашка поет Евхаристическую песнь. Ее голос, – кстати сказать, на удивление приятный, – теряется в какофонии, тонет в гнусавых руладах монаха и воплях певцов-горлопанов, которые воют почище тюленей. Ну и ладно. Пусть их. Эти застывшие в неподвижности странники, эти пилигримы без цели – они просто стараются скоротать время. Пытаются как-то развлечься. Если живешь только сегодняшним днем, надо выжать из этого дня все радости – выпить в хорошей компании, поговорить по душам.

На первый взгляд им тут вовсе не плохо.

Даже наоборот: весело людям – пируют.

Начнем с самого неприметного из пассажиров.

СПЯЩИЙ ПЬЯНИЦА пребывает в полях блаженных, иными словами – в раю. В темном скриптории [3] у него в голове пишутся главы иной книги – книги снов. На каких пламенеющих тигров охотится он в этих окутанных тьмой лесах? Что это за страна, дорогие друзья, где поля и высокие шпильки ему как Дом, и все женщины любят его до безумия? Или он видит себя во сне просто таким, как есть, и вот снится ему: он лежит, где упал, на носу, храпит, обнимая флягу, и ему невдомек, что сейчас его злобно разбудят.

Теперь представьте себе, что вы сладко спите, и вдруг вас грубо трясут за плечо. Вы открыли глаза и увидели перед собой то ли большую луковицу, то ли рожу какой-нибудь прачки. Ткнитесь носом в чужую подмышку – примерно такое же благоухание исходит от ПЬЯНОЙ БАБЫ. Она безжалостна и упорна в своем намерении растолкать спящего, ибо пить в одиночку – не то удовольствие.

– Господи милосердный, – стонет спящий, – ниспошли мне ангелов из чинов небесных, дабы заткнули мне нос.

Но пьяная баба Всевышнего не признает. Вся ее набожность свойства поганого, сиречь языческого. Вакху она предана всей своей благородно прогнившей душой и отравленной печению. [4]

– Как можно петь хвалы Богу, которого ты и в глаза не видел? – искренне не понимает она. – Я же люблю то, что знаю. И так и должно быть.

И что поистине может сравниться с этим дурманом, Любовью? Любовь – опий. У того, кто попробовал ее хоть раз, она остается в крови навсегда. О, пыльные улады в мужских объятиях! Ее тело помнит. Но Время, старый брызга, одарило нашу поистаскавшуюся и испитую героиню непрошеным целомудрием. Она – как жалкий обломок некоей разнузданной вакханалии: голова – что твоя луковица, тело обрюзгло, руки трясутся, ноги не держат. Румянец младости беспечной поблек на этих щеках давным-давно; его заменила пропитая краснота, каковая являет собой неизбежное следствие непомерных и многочисленных возлияний. Она трясет спящего за плечо и поднимает флягу для тоста.

– Твое здоровье, полусонный ты мой! Фляга осушена одним глотком.

ПЕВЦЫ, при всем своем горлопанстве, ничем особенным не примечательны. Это могут быть стряпчие, чернорабочие, землевладельцы; мясники, пивовары, слуги или палачи. Нельзя сказать, что они *все на одно лицо* – просто они так похожи, что различить их и вправду трудно. Они всегда вместе. Никто из этих троих уже и не помнит то время, когда рядом не было двух других. Из чего, впрочем, не следует, что союз сей основан на добрых и бескорыстных началах. В качестве образного поясняющего примера: будь это чудище о трех

³ Скриптории – мастерская по изготовлению книг при монастырях. –Примеч. пер.

⁴ Английское *noble rot* означает «благородная гниль» винограда, и в иных случаях может служить эвфемизмом «цирроз печени». Благородная гниль – загнивание винограда под воздействием гриба *Botrytis cinerea*. Белые вина, которые производят из этого винограда, получаются особенно сладкими и обладают особым вкусом и ароматом. – Примеч. пер.

головах, головы передрались бы за пищу, предназначенную для одного и того же желудка. Они как кровные братья, одержимые мыслью о братоубийстве: каждый втайне мечтает избавиться от остальных. И все же насилие для них было бы равнозначно тому, как отрезать себе же руку или ногу. И только по этой причине у них не доходит до кровопролития.

ОБЖОРА также не обладает сколько-нибудь выразительными отличительными чертами, помимо болезненного стремления набить себе брюхо. Все его помыслы – только о жареной курице, неизвестно с какой такой радости притороченной к ветке на мачте. Как сверкает она, как лоснится! Встав на нижние ветки, он без труда достает до нее ножом. И все же при каждой его попытке отрезать кусочек манящего мяса, птичий зад изрыгает скабрезную брань. Лезвие вздрагивает в руке, и обжора испуганно опускает нож; ибо тушка, которая знает такие слова, отобьет аппетит у любого.

Безучастный к мучениям своего сотоварища ШУТ сидит, скорчившись на такелаже. Костлявый и тощий, этот профессиональный дурак повернулся спиной к честной компании и попивает себе винцо. Он весь – отрешенная безмятежность; подобная безучастность к мирской суете наблюдается у лошадей и ослов, погруженных в свои лошадиные или ослиные мысли. Обратите внимание на шутовской скипетр у него в руке – посох с навершием в виде маски. Маска – почти как зеркало, но нелестное. Ибо, не в пример мягкой усмешке шута, маска смеется глумливо и злобно.

Что сказать о человеке, для которого дурость – *ремесло*? Который глупость свою напоказ выставляет, а мудрость держит при себе? Может быть, маска на посохе – ключ к пониманию его скрытой натуры? Или мы будем судить по наружности и примем как данность, что истинная уверенность в себе доступна лишь людям, которые не боятся напаять на себя дурацкий колпак? Шут – мудрец, а его шутовская маска – кривое зеркало в ярмарочном балагане, которое он выставляет перед Бытием.

У ног шута стоит на коленях РАСКАЯВШИЙСЯ ПРОПОЙЦА. Он здесь не самая популярная личность: когда кто-то блюет, сие возбуждает в нас нежелательное сочувствие с оттенком гадливости, и мы стараемся держаться от него подальше, как от больного заразной болезнью. А нашему пропойце и вправду отчаянно плохо. В животе у него все бурлит; все колыхается и клоочет и изливается в рвотных позывах наружу. Это явно не морская болезнь, ибо причины и так очевидны. Корабль стоит неподвижно, то есть беднягу тошнит не от качки, а с перепоею. Да, именно так. Наш раскаявшийся пропойца, этот Фауст от алкоголя, уже достиг полуночи в сделке с дьяволом. Даже волосы у него, как больные – сальные и свалявшиеся. Судорожно вцепившись в канат, он перегибается через борт. Ему уже нечем тошнить, и все же ему удастся выдавить из себя очередную порцию.

Отрава сидит у него внутри, и от нее надо очиститься.

Песня МОНАШКИ – приятное отдохновение от шумного блёва пропойцы. Ее почти блюзовые вибрато звучат чересчур сладострастно для григорианской монодии. И где она научилась играть на лютне? Ее пальцы импровизируют, выдают замысловатые вариации, украшают мелодию витиеватым узором, подобно розам-виньеткам в Часослове.

Кошачий концерт горлопанов не беспокоит монашку. Она знает, что ухо Господне всегда открыто, и Он отделит зерна подлинной песни от плевел нескладного ора. Может быть, ее пылкое рвение есть старание во славу Божию? Годы смиренного умерщвления плоти притупили порывы тела; да, да. Она вся – образец добродетели. Она никому не откажет в помощи – никому, кто нуждается в утешении и стремится к спасению души. Она никого не прогонит со своего гипотетического Рога. Ее милосердие воистину безгранично. Да, она истово молится за мирян, слабых плотью, хотя и знает в душе, что на их спасение надежды нет.

Еще один набожный человек на борту, МОНАХ, муж превеликой учености. Автор тринадцати теологических трактатов, сей гигант мысли почитает себя Атлантом, держащим Небо науки исключительно силой ума. Являясь страстным поклонником неологизмов, он знает при этом и множество малопонятных и невразумительных слов, каковые и употребляет к месту и не к месту. Подобно святому Франциску, он считает своим священным долгом защищать вымирающий и беззащитный язык, и в голове у него – заповедник, где привольно пасутся глоттальные эллинизмы. Астроном, химик, баснописец и физик – все Храмы Науки пред ним открыты. Его антигелиотропический разум не тянется к солнцу, но ищет тенистых уединенных аллей познания. В настоящее время он озабочен проблемой, как выразить участь людскую посредством математических формул. Он уже вывел Копрологическую Параболу. [5] У него также готовы Ромб Аппетита, Октаэдр Сомнения и Веры, и Эллипс Речи. Трапеция Секса пребывает на стадии чисто теоретических разработок.

Не исключено, что монах с одобрением отнесется к последнему из актеров этой странной «бессобытийной» комедии. ПЛОВЕЦ – непримиримый противник материальных благ, равно как и суетного тщеславия. Отвергая мирскую суету, он посвящает себя Размышлениям.

– Мир цепляется за *материю*, – провозглашает он. – В то время как я не впадаю в гордыню и не боюсь появиться на людях голым, аки червь. Покрой наряда не есть мерило достоинства человеческого.

Пловец не читает ученых книг, ему хватает и собственных смелых суждений. И он искренне убежден, что, внимая его монологам на самые разные темы, слушатели получают ни с чем не сравнимое удовольствие.

Пловец утверждает, что худшее для человека – подчиниться Двум Универсальным Законам: Всемирного Тяготения и Всемирной Скуки. (Тяготение есть избыток страха и меланхолии; Скука – центробежная сила космоса.) Весьма довольный явлению лодки, где на борту столько новых людей, он вновь и вновь предпринимает попытки завладеть их вниманием. Он весь горит нетерпением поделиться своею мудростью. Но прерывать песню – невежливо. И он дожидается своего часа, ибо знает, что всякая песня когда-нибудь умолкает.

И воистину так: музыка и голоса затихают, вся честная компания вновь впадает в бездействие. Корабль дураков погружается в тишину, и только флаг высоко на мачте хлопает на ветру. Пользуясь этим удобным случаем, пловец откашливается в кулак. И вот тогда пассажиры перегибаются через борт и видят, что, оказывается, у них есть попутчик...

Пролог пловца

– Дамы и господа! Сразу оговорюсь, что я цепляюсь за вашу лодку не как паразит, но стремлюсь быть полезным и буду всячески рад оказать услугу. (Может быть, бросите мне сюда горсточку вишен? Уж больно вид у них аппетитный. Премного благодарен.)

Компания молча таращится на сие нагое явление. Явление же набивает полный рот вишни, чавкает сочной мякотью и вытаскивает изо рта обезглавленный черенок. Потом выплевывает косточки, аккуратно проталкивая их языком между губами: плюх-плюх-плюх – говорят они, падая в воду. Пловец знает, чем позабавить публику.

– Ваша песня закончилась, – говорит он наконец. – Но борьба продолжается.

Монах: Какая борьба?

Пловец: С врагом.

⁵ Копрологический – относящийся к изучению экскрементов. Когда человек перестает испражняться в пеленки и пересаживается на горшок, парабола достигает пика и дальше идет уже по нисходящей – до самой старости, когда человек в своей немощи начинает ходить под себя. – Примеч. пер.

Монашка: С Сатаной?

Пловец: Со скукой. А то, похоже, мы просто стоим на месте и вообще никуда не движемся.

Последняя реплика натывается на угрюмые взгляды. Пловец поспешно продолжает.

– Мне всегда нравились повести и истории, – говорит он. – И не только развитие сюжета или счастливый конец. Я люблю сам процесс рассказа: ритм, настроение – вот что меня занимает.

Но компания на корабле не прониклась словами пловца, ибо им интереснее содержимое кубков и фляг.

Пловец (*кричит*): Благородные рыцари и прекрасные дамы! Обреченные поиски ускользающего Грааля!

Шут: *gezundheit*. [6]

Пловец: Но я устал от высокой романтики. Так что не будем о рыцарстве – как сие согласуется с *вашим* жизненным опытом?

Пловец, довольный, что его все-таки слушают – хоть и вполуха, – спешит продолжить:

– Не хотите ли передохнуть от избитых затей и придумок и послушать историю поистине необычную?

Певцы-горлопаны: Ладно, дружище, уговорил. Валяй.

(Шут: Что можно выдумать нового и необычного, когда все давно придумано?)

Пловец: С превеликим моим удовольствием. Дайте мне только глоточек эля, и я начинаю.

Бражникам на корабле жалко делиться выпивкой. Но страх молчания сильнее жадности – и вот пловцу дают кубок, каковой он осушает одним глотком, после чего прочищает горло и начинает рассказ.

Рассказ пловца

Небесное око как раз достигло своей высшей точки на сияющем небосводе, когда лодка отчалила от причала и взяла курс на Лапо. Остров, дрожащий в лучистом мареве, как будто парил над водой, и полуденная тень от высоких его кипарисов не приносила желанной прохлады разморенным стадам. Вода рябила слепящими бликами солнца, отражая свет, как в миллионах зеркал, и трое юных гребцов сняли рубахи и набросили их на головы, дабы не напекло.

Они гребли в полном молчании.

Размышляя под скрип уключин, Чезаре дивился, как кругом тихо. Как будто они одни в целом мире. Оба берега словно вымерли. Многолюдные города с их стенами и башнями, замками и разноязычными обитателями растворились – но не во тьме, а в ослепительном свете. Бальдассаре же представлял, будто он под водой: плывет в текучей прохладе среди бурых водорослей и смотрит вверх – как, наверное, смотрят рыбы, – на солнце, составленное из переливов рябящего света. И только Альфонсо следил за продвижением лодки и выворачивал шею, шаря взглядом по берегу за спиной – где им можно пристать.

Не кто иной, как Альфонсо, горячо поддержал предложение Бальдассаре о поездке на остров, каковую идею Бальдассаре внушил Чезаре после того, как Альфонсо ему намекнул, что было бы славно устроить такую прогулку.

– Лучше всего в воскресенье, – сказал Альфонсо. – В полдень, когда наши наставники лягут вздремнуть. – Ибо им запрещалось кататься на лодке в этих коварных водах, печально известных своими течениями.

– Все ерунда, – заявил Чезаре. – Это они специально выдумывают, чтобы мешать молодым развлекаться.

⁶ Будь здоров (нем.).

В одном он был прав: подмастерьям и ученикам, по разумению менторов и мастеров, не след тратить время на праздные забавы. Да и не тянет их к разным потехам. Ибо Чезаре, как и двое его друзей, Альфонсо и Бальдассаре, несет тяжкое бремя невыполненных обещаний. Оно витает над ним, словно навязчивый запашок, от которого не спастись. Связанный обязательствами, принятыми, как ему это видится самому, не по собственной воле и выбору, он мечтает о лучшей доле, нежели извлекать камни из почек и брить бороды старикам.

– Я, наверное, стану пиратом, – объявляет он с жаром на тайных попойках, и язык у него заплетается от запретного вина. – Или конкистадором. Я переплыву океан, и найду Эльдорадо, и вернусь, и куплю всю деревню. – И это только цветочки. Еще три стакана – и сам Папа будет лобызать ему ноги. – Вот помяните мои слова, – так он всегда говорит во хмелю. – Чезаре еще повидает мир, а мир повидает Чезаре.

Друзья долго готовились к этому приключению. Стоя на берегу, на окраине деревни, с тоской и томлением взирали они на свою *terra nova* [7]: Лапо, кипарисовый остров, где в стародавние времена стоял храм Венеры. Чезаре смотрел и облизывался – так смотрят на землю, которую предстоит покорить. Альфонсо всю восхвалял виды сей новой Аркадии. Бальдассаре утверждал, что он чувствует восхитительные ароматы, которые ветер доносит от острова.

Ибо был Бальдассаре сенсуалистом. Это мудреное слово вычитал он в одной умной книге, когда служил чтецом у слепого учёного клирика. «Сенсуалист, – объяснил церковник и скривился при этом, как будто съел лимон, – это такой человек, который живёт только чувствами, либо же ради чувств. Особое значение в чувственном восприятии имеют губы, язык, кончики пальцев и... Сенсуалист заточает себя в свое тело, аки в темницу, что выражается в чрезмерных излишествах в удовольствиях плотских, будь то сладкие кушанья, либо же частые посещения купальни. Агапе, любовь священная, отступает в душе его перед Эросом и медовой погибелью».

Бальдассаре не требовалось убедительных доводов. В свободное время, когда обязанности чтеца не призывали его в библиотеку, он ласкал бархатные одежды либо же услаждал свой нос тонкими запахами грибов. Ужинал Бальдассаре всегда один, в своей комнате, и за ужином тщательно пережевывал пищу, сладострастно смакуя каждый кусочек. О других же чувственных удовольствиях, которым он так или иначе предавался, он не рассказывал никому: ни Альфонсо, ни хладнокровному Чезаре.

Последним в лодке – сиречь, дальше других от желанного берега – сидел Альфонсо. Он угрюмо терпел неудобства от колен Бальдассаре, каковые при каждом гребке упирались ему в спину, и выуживал из головы правильные слова, подходящие для описания прогулки. Вы, наверное, уже догадались: Альфонсо был поэтом. В свое время он так и представился своим друзьям – «Poeta», – хотя Чезаре, жевавшему колбасу, слышалось «повар», и он даже горько вздохнул про себя, сокрушаясь отсутствию у человека честолюбивых стремлений. За неимением богатого покровителя Альфонсо служил школьным учителем и вдавливал знания в головы детям одной лишь методой: посредством заучивания наизусть. Сии ежедневные пения хором изрядно его утомляли. Он читал много и вдумчиво, ища примеры для подражания, но примеры сии были настолько противоречивы, что он просто терялся. Он копировал Искусство за счет Природы; он копировал Природу, но без особенного Искусства. В отсутствие земной и небесной музыки воображаемый лавровый венок увядал у него на челе.

Итак, подмастерья и ученики плыли на лодке в полуденном зное, направляясь навстречу своей истории. Тишина опустилась на мир – с берега до воды не долетало ни единого звука. Земля медленно закипала, как вода на слабом огне. Канюки кружили в воздухе, как будто боясь прикоснуться к обжигающей тверди.

– А ведь не врут же! – воскликнул Чезаре. – Здесь и *вправду* сильные течения.

⁷ Новую землю (лат.).

Вырванный из глубокой задумчивости неожиданным возгласом друга Альфонсо спустился с заоблачных высей и вдруг ощутил ломоту в руках, тяжесть весел и волнение воды под днищем. Берег Лапо, его желтый песок – ослепительно белый сиянии солнца, – казался таким невозможно далеким. Лодка как будто застыла между двумя полюсами магнита, и все усилия гребцов сводились к тому, чтобы удержать ее неподвижно, иначе берег большой земли неизбежно притянет ее обратно.

– Давайте-ка приналяжем на весла, парни, – сказал Чезаре. – А то мы, похоже, застряли. Еще два-три ярда, и мы вырвемся из течения.

И как только гребцы удвоили усилия, течение – водный зефир – сменило направление. Теперь их несло прямо к желанному берегу.

Первым заговорил Чезаре, воодушевленный собственным властным голосом, которым он отдал приказ друзьям подналечь на весла. Он больше не мог держать в себе этот секрет.

Somnium Cesari [8]

Альфонсо, Бальдассаре, у нас никогда не было друг от друга секретов – с самого детства, когда мы были еще мальчишками и вечно ходили с ссадинами на коленках. Все наши «сокровища». Всякие пустяки. И самые сокровенные мечты. Все у нас было общее. Мы даже корью болели все вместе. Ложь между нами немыслима, а умолчать о своих приключениях. – это ведь та же ложь. Так что хочу вам признаться: друзья мои, я влюблен.

Она разбудила меня поцелуем, когда я спал на закате под пробковым дубом на поле у Гвидо. Ее прохладные губы прикоснулись к моим губам, и ее дыхание вошло в меня. Я открыл глаза и увидел ее глаза – желтовато-коричневые, как у дикого зверя, напряженные и внимательные.

Звали ее Фьяметта. Должно быть, она была из высокородной семьи, потому что родители выбрали ей утонченное и весьма подходящее имя. [9]Ибо волосы у нее были рыжими с красным отливом, точно осенние листья папоротника в лучах заходящего солнца. Они были подобны слепящему пламени, когда она меня поцеловала.

Она отвела меня к своему дому. Красивый, уютный дом с большим садом, где на лужайке были разбросаны деревянные игрушки. (Она не пригласила меня войти. Но в окно я увидел спальню, где на одной широченной кровати спали три младших брата моей Фьяметты.) Мы с ней уселись в беседке, укрытые от любопытных соседских глаз высокими кипарисами. И вот солнце скрылось за горизонтом, и на улице стало прохладно. Она положила голову мне на плечо, прижавшись лбом к моей шее, и я чувствовал, как колотится мое сердце, и удары его отдавались ей в голову.

Она станет мне идеальной возлюбленной, сказала она после долгого и волнующего молчания, идеальной возлюбленной для скитальца и странника – она будет как неподвижная точка для моего мятущегося компаса, она будет землей, куда я вернусь, весь в крови от моих побед. Что еще нужно отважному завоевателю, говорила она, как не домашний очаг, куда он возвращается после долгих походов? И она, Фьяметта, станет моим тайным миром, где я найду отдых от утомительной славы.

Друзья мои, у нее было роскошное пышное тело – такое влекущее, сочное. Тело, созданное для материнства. Я поцеловал ее между грудей; положил руку ей на бедро и почувствовал силу ее плодородного чрева. Мы расстались, но я обещал,

⁸ Сон Чезаре (лат.) – Примеч. пер.

⁹ От итальянского «fiatma» – пламя, огонь. – Примеч. ред.

что приду к ней опять – и брошу якорь в бухте ее объятий...

Гребцы обливались потом. Весла бились о воду, которая как будто лучилась под солнцем. Чезаре никак не решался нарушить молчание, которое с каждой секундой становилось для него все тягостнее. Как Бальдассаре воспримет известие, что у друга теперь есть возлюбленная? Как отнесется Альфонсо к его потугам на поэтическое изложение? Но, вопреки всем ожиданиям, юный поэт рассмеялся.

Somnium Alfonsis

Ты говоришь нам, Чезаре, что нашел женщину своей мечты. Признаться, я тоже. Твоя возлюбленная поцеловала тебя еще прежде, чем ты увидел ее и узнал? Со мной была та же история.

Но если твоя дама сердца – пышная, и полнотелая, и вся как огонь, то моя любовь – чистая, как свежесвыпавший снег. Она – образец совершеннейшей прелести. Прекрасная Фисба, поруганная Дидона – да, та самая римлянка, подвергшаяся насилию, – это просто поделки неумелого подмастерья по сравнению с моей возлюбленной. У Данте была Беатриче, самая юная из всех ангелов небесной Любви. Так и я обрел свою музу, предмет и источник моих канцон.

Сумерки. Вечер. Желанное отдохновение после дневного зноя. Я каюсь, заснул прямо за чтением «Vita nuova» [10] в своем пустом классе. У меня был тяжелый день, так что заснул я крепко и не слышал, как она вошла. Она разбудила меня поцелуем, и душа моя затрепетала. Ее алые губы были подобны кораллам, золотистые локоны ниспадали на плечи из-под головного убора, и легкий румянец играл на щеках.

Она взяла меня за руку, моя любовь – ногти ее были, как перламутр, а зубы, как жемчуг, – и вывела прочь из класса. Мы шли по улицам, еще не остывшим после дневного жара, и я восхищался ее одеянием, рукавами, подбитыми мехом, и богатой отделкой ее головного убора. Ее походка была легка, словно шелест опавших листьев, подхваченных ветром.

Я плохо запомнил дорогу к ее вилле. Высокие кипарисы, подстриженные в форме геральдических фигур, встретили нас у входа. Она провела меня по зеленому лабиринту в сад. В центре сада был мраморный стол, украшенный золотым дождем, как у нас называют цветы ракитника. На столе стояло блюдо из серебра и венецианское зеркало. Там были еще апельсин, и яркие попугайчи перья, и позолоченная статуэтка – трое юношей, застывших в миг прощания.

И вот мы сели с ней на скамью в этом ароматном будуаре и сплели руки, и она рассказала мне о моем будущем. Она сказала, что отдала бы все свои богатства в обмен на любовь поэта. Она восхищалась мной, как иногда восхищаются боги редкими избранниками из смертных. Я преподнес ей жемчужное ожерелье, которое так подходило к ее безупречной груди. И Любовь воцарилась в душе моей...

* * *

¹⁰ «Новая жизнь», повесть в стихах и прозе Данте, в которой поэт рассказывает о своей любви к Беатриче. – Примеч. пер.

Чезаре – уже не столь мрачный, ибо его опасения оказались излишни, – поздравил Альфонсо, который нашел свое счастье. Протянув руку над плечом Бальдассаре, он дружески хлопнул Альфонсо по спине, только не рассчитал сил, и удар получился болезненным, и Альфонсо в ответ брызнул водой на Чезаре, облив при этом всего Бальдассаре и развернув лодку поперек курса.

Друзьям пришлось побороться с изменчивыми течениями, чтобы выправить лодку.

– И как ее имя, твоей возлюбленной? – спросил Чезаре, и его голос при этом дал петуха.

Альфонсо, которому напекло голову, забыл ответить.

Бальдассаре все это время молчал. Никто не видел страдания, написанного у него на лице, – ибо Альфонсо сидел к нему спиной, а сам он сидел спиной к Чезаре. Когда же он заговорил, Альфонсо с Чезаре слушали его вполуха. Во всяком случае, сначала.

Somnium Baldassaris

Было темно. Я был один, ночью, в тисовом лесу. Сухие ветви деревьев сплетались над головой, закрывая небо. Я почти ничего не видел – продвигался на ощупь, но не чувствовал ничего. Ни звука, ни шороха. Даже запахи леса как будто исчезли. Лишь далеко впереди едва теплится свет, и я шел к нему. Пятно света становилось все больше – значит, я все-таки приближался к нему, хотя и не чувствовал под собой ног, – и можно было надеяться, что лес скоро закончится. А тишина все сгущалась, давила.

А потом лес и вправду закончился. Я по-прежнему пребывал в странном оцепенении, но теперь я хотя бы увидел свет. Прохладное бледное небо в лучах рассвета. И еще я увидел ее. Она сидела под кустом можжевельника на сухой каменистой поляне. Она была во всем белом. У нее на коленях лежали три куклы, изображавшие трех мужчин. У каждой фигурки, я помню, был пучок настоящих волос на голове. Я не знаю, как описать вам ее красоту – скажу только, что эту женщину я искал всю жизнь, она была предназначена для меня с рождения. И вот я увидел ее и узнал.

Она пошла вверх по лестнице, высеченной в камне, и я понял, что должен идти за ней. А потом она заговорила со мной без слов, как это бывает во сне. Я спросил, как ее зовут. Она сказала что, раз для меня так важны имена, я могу называть ее Омбретта. В опаленном иссохшем Саду она была в белом и голубом, и на лице у нее лежала густая тень от кипарисов. Сухая земля у меня под ногами вдруг наполнилась влагой. Буквально за считанные секунды вся поляна покрылась цветами: горечавки, ирисы и незабудки. Земля оживала, и мои онемевшие чувства тоже оттаивали вместе с ней. У меня в сердце как будто открылся бездонный провал, куда утекало все. Почему вместе с любовью всегда приходит и печаль? В самый миг зарождения любви мы уже знаем, что когда-нибудь она умрет, умрет вместе с возлюбленной. И я молился лишь об одном: чтобы она жила вечно, моя прекрасная госпожа; чтобы когда-нибудь я вернулся с работы домой, и она бы ждала меня там, воплощенная в человеческий облик, чтобы она – сотканная из теней – обрела плоть. Она замерла на нижней ступени второй каменной лестницы. Я знал, что мне надо идти за ней. Но я не мог даже пошевелиться. Я как будто ослеп и оглох. И тогда она подошла и поцеловала меня, и чувства снова вернулись в тело. Я слышал пение птиц, видел сочные краски Весны. Я наконец стал собой. Я обрел себя – и проснулся.

– Только вы надо мной не смейтесь, – быстро добавил Бальдассаре. – Сны и вправду бывают *вещими*, об этом даже в Писании сказано. Да, ваши возлюбленные – настоящие, из плоти и крови. Но в моем сне было *столько* значения... это был не обычный сон. Так что,

Чезаре (я чувствую, как ты сверлишь меня взглядом), не считай меня праздным мечтателем и не думай, что все это глупые бредни. А ты, Альфонсо, со своей живой музой, не суди меня строго за бессвязный рассказ – я не поэт и не знаю, как говорить красиво.

Но Альфонсо с Чезаре, кажется, были не склонны высказывать комментарии к услышанному. Бальдассаре вдруг стало тревожно. Молчание Чезаре буквально давило ему на плечи, и он видел, как напряжена спина у Альфонсо. Бальдассаре облизал губы. Они потрескались от жары и даже как будто покрылись волдырями.

– Хочу еще кое в чем признаться, – сказал Бальдассаре. – Когда я предложил съездить на Лапо, якобы в знак протеста, что нас притесняют и не дают развлекаться, истинная причина была иная. – Слова застревали в горле, как рыбы кости. – Это Омбретта велела мне ехать на Лапо. Сказала, что будет ждать меня на развалинах храма. Понимаете, я хочу *удостовериться*. Для меня это очень важно. – Он умолк на мгновение и тяжело сглотнул. – Но это еще не все. Ты, Чезаре, смеялся и утверждал, что течения в озере – это все выдумки, но я подумал, что люди не зря говорят. И я знал, что *одному* мне не хватит сил догresti до острова. Чтобы добраться до цели, мне нужна была наша *объединенная* сила, так что, когда мы приплывем на Лапо, я вас покину.

Бальдассаре не был готов к тому бурному отклику, каковой воспоследовал за его признанием. Чезаре бросил весла и вскочил на ноги, изрыгая площадную брань. Альфонсо обернулся к нему и прожег негодующим взглядом. Как ты мог, Бальдассаре?! Злоупотребить нашим доверием?! Предать нашу дружбу?! И ради чего?! Дьявол! Обманщик! Предатель! Бальдассаре, потрясенный яростью друзей, закрыл голову руками, как будто боялся, что его сейчас будут бить. Его весла, оставшиеся в небрежении, соскользнули с уключин в воду, а за ними – и весла его обвинителей.

Я вижу, вас удивляет столь бурный отклик, явно несоизмеримый с таким незначительным прегрешением. Грех Бальдассаре простителен, да. Но ярость Альфонсо с Чезаре проистекает отнюдь не из праведного негодования на друга, оскорбившего саму дружбу; вся их злость – лицемерна насквозь. Альфонсо в жизни бы не признался, что его собственные причины для этой водной прогулки были точно такими же, как и у Бальдассаре. Не признался бы в этом грехе и Чезаре, чья Фьяметта воспламенила его до потери рассудка. Так что Бальдассаре, красному от стыда, вовсе не стоило ненавидеть себя столь безжалостным образом. Его разгневанные друзья были виновны не меньше его самого и защищались – лучшей защитой, сиречь нападением, – от стыда за проступок, в котором сами они не раскаялись.

– Ты подверг нас смертельной опасности ради какого-то *сна*? – кричал Чезаре, погружаясь все глубже и глубже в темный омут притворства. – Какая-то девица из сновидений тебе дороже нашей дружбы?!

Альфонсо и сам не понял, как так получилось – его рука как будто по собственной воле сжалась в кулак и вонзилась в живот Чезаре, просвистев у Бальдассаре над головой. Задохнувшись, Чезаре плюхнулся на скамью. При этом лодка качнулась и зачерпнула воды. Альфонсо, ошеломленный своим поступком, приготовился встретить ответный удар. Бальдассаре же, озадаченный столь неожиданным поворотом событий, осторожно выглянул из-под прикрытия локтя.

– Ты *чего*?! – выдавил Чезаре.

Альфонсо, не найдя, что ответить, уклончиво потянулся за веслами. Бальдассаре – тоже. Альфонсо увидел, как у Бальдассаре дергается щека. Бальдассаре увидел свое отражение в тревоге Альфонсо. Он оглянулся и увидел свои весла на искрящейся светом воде – и не только свои, с синими лопастями, но и весла Чезаре с красными лопастями, и весла Альфонсо в серебряную полосу.

Лодка накренилась и закружилась на месте.

– Сегодня, я думаю, будет кровопролитие. И я даже знаю, кого я прибую, – процедил Чезаре сквозь зубы, держась за живот обеими руками. И тут он тоже увидел, что весел в уключинах нету...

Страх вспорхнул, словно стайка птиц. Все трое бездумно вскочили на ноги, пошатнулись и снова сели. Неумолимая вышняя воля вертела лодкой, крутила ее, как волчок. И вдруг – предстала во всей своей великолепной мощи, приняв образ водяного вихря.

– Водоворот! – закричал Чезаре, который был на носу, и принялся отчаянно грести руками. Альфонсо, который был на корме, тоже начал взбивать воду руками, сводя на нет все усилия Чезаре. Бальдассаре сложил трясущиеся ладони в молитве, и вдруг на какой-то слепящий миг увидел себя как будто со стороны, с высоты солнца: крошечная точка в раскаленном пейзаже, частица дрожи в неподвижном просторе.

– Спаси нас Боже! Мы тонем!

Хрупкая лодка скрипела и трещала, нахлебавшись воды. Чезаре бросил грести и принялся вычерпывать воду. Бальдассаре истошно кричал, звал на помощь. Альфонсо уже не справлялся с головокружением – его вырвало за борт, и рвотная масса зеленой спиралью завертелась в воде.

Пару минут лодка билась, как будто в предсмертной агонии. Если бы кто-нибудь на большой земле наблюдал за ними – если бы вдруг кому-то ударила такая блажь, – он бы услышал, как лодка отдала Богу душу: на таком расстоянии ее треск был бы не громче хруста скорлупки фисташки. После чего этот воображаемый наблюдатель увидел бы, как трое испуганных юношей, бывших в лодке, оказались в воде. Они пытались бороться за жизнь, но борьба их была недолгой – все равно что у мух, случайно присевших на поверхность пруда.

Первым в воду упал Альфонсо, за ним – Бальдассаре и последним – Чезаре. И хотя Бальдассаре был почти уверен, что сейчас утонет, мысли его были отнюдь не о смерти. Он думал о том, что их опаленные солнцем тела должны зашипеть, упав в воду, как шипят только что выкованные подковы, которые кузнец бросает в ведро с холодной водой.

Друзья отчаянно молотили руками, но лишь нахлебались воды и быстро ушли под воду. Никто из них не умел плавать.

Говорят, что тонущий человек трижды выныривает на поверхность, прежде чем утонуть окончательно, и что, когда он выныривает в третий раз, у него перед глазами проносится вся его жизнь. Из чего следует, что старик, проживший долгую жизнь, будет тонуть дольше ребенка, которому почти и нечего вспоминать. У Чезаре, Альфонсо и Бальдассаре – хотя они были уже не дети, – было не так много воспоминаний, чтобы долго удерживать их на плаву. Каждому представилась его возлюбленная: Альфонсо – прекрасная дева из сна, Бальдассаре – Омбретта, и Чезаре – его Фьяметта. Только теперь, оказавшись в бурлящей воде, осознал Альфонсо всю глубину своего самообмана; признание Бальдассаре угрожало разбить самую сказочную и прекрасную из его иллюзий, и поэтому он так озлился на друга. Увидев мельком Чезаре, который боролся с водоворотом, Альфонсо задался вопросом: а не хранит ли Чезаре ту же самую тайну?

Чезаре же, глядя на то, как Альфонсо отчаянно бьется в воде, задался таким же вопросом в отношении Альфонсо.

Это было уже после того, как они второй раз погрузились под воду. И вот они вынырнули в третий раз. Они хватались за воздух, как за брошенную спасателями веревку. И между парящими плоскостями неба, песка и воды, за мгновение до смерти в пучине, они увидели Деву. Губы ее были алыми, волосы – золотыми. Ее целомудренное одеяние старинного покроя было белым, как снег, и белым было ее лицо. В руках Дева держала три куклы, которые бросила в озеро.

Юноши резко ушли под воду. Каждый чувствовал себя горшком на гончарном круге, растянутым в тонкую хрупкую форму. Потом эта тонкая форма раздулась и обрушилась внутрь себя, как будто ее подтолкнула чья-то крепкая рука. Внутри все оборвалось. В последнем отчаянном рывке – скорее случайно, нежели по задумке, – Бальдассаре вцепился левой рукой в правую ногу Альфонсо; правая рука Альфонсо нашла левую руку Чезаре; а Чезаре схватился за левую руку Бальдассаре свободной рукой. Так они и кружились, как в хороводе – то ли помогая друг другу, то ли мешая, – пока яркий слепящий мир с его

неумолимой горячей звездой не погрузился во тьму.

Их вынесло на песчаный берег, словно обломки кораблекрушения, прямо в сплетенные корни высокой сосны. Друзья принялись ощупывать себя и друг друга, не в силах поверить, что они живы.

– Альфонсо, Бальдассаре, – прохрипел Чезаре, – вы живы?

Те растерянно заморгали и закивали.

– Наверное, нас выбросило течением, – сказал Бальдассаре.

– Благосклонным течением, которое нас подхватило, – завелся Альфонсо, – и вынесло прямо на берег...

Приподнявшись на локтях, они огляделись по сторонам, чтобы понять, где находятся, и увидели вдалеке, за искрящейся гладью воды, берег Лапо. Солнце уже опускалось за разморенные холмы, обещая желанное отдохновение от зноя. Ласточки летали над озером, словно кто-то разбрасывал семена над водой. Друзья пролежали на берегу целый час, и за этот час никто не сказал ни слова, а потом сквозь вечерние сумерки колокола зазвонили Ангелос, и юноши разошлись по домам, ибо наставники и мастера уже давно их заждались.

Прошло много лет, и события того знойного дня вспоминались Альфонсо как жуткий сон. Ему уже и не верилось, что все это было на самом деле. Богатым торговцам не след предаваться мечтам и фантазиям: голые факты – вот их валюта. Поэтому тот эротический сон, взаимный обман и борьба с водной стихией, когда друзья лишь по счастливой случайности избежали смерти, воспринимались Альфонсо как бред воспаленного мозга, перегретого солнцем. Сидя во внутреннем дворике своей виллы с видом на море – виллы, забитой благами земными, – он вспоминал себя прежнего со снисходительным и добродушным презрением. Поэзию он забросил давно. Теперь для него единственная поэзия – нерифмованные строки в грессбухах. Она не принесла ему счастья. Подобное ремесло требует многих трудов, и жизнь, проведенная в изысканиях и учении, в конце концов убила бы то вдохновение, к которому он так стремился. Альфонсо-поэт истощился бы и иссяк, исписался бы до внутренней пустоты – подобно тому, как в голодную пору тело начинает питаться внутренними запасами, медленно пожирая себя изнутри. Но он вовремя бросил это занятие, и теперь – при послушной жене и при деньгах – очень успешно ведет дела, к которым не чувствует склонности и призвания, но которые обеспечивают ему очень даже безбедное существование.

Бальдассаре же обратился к Богу. В монастыре близ Вероны он посвящает все время молитвам: уткнувшись носом в Псалтирь, жует пищу духовную. Но в отличие от Альфонсо он не забыл про Лапо. Наоборот. Ибо поездка на остров и стала причиной его ухода от жизни мирской. Дабы искупить свое предательство – а он до сих пор почитает себя виноватым, – Бальдассаре теперь умерщвляет плоть, с каковой он едва не расстался в тот злополучный день. Он не снимает завшивевшую власяницу, читает «*Salva nos Stella maris*» по несколько раз на дню и целует ноги алебастровой Девы Марии. Иной раз ему снится Белая Дева, прекрасная искустельница; и тогда дух его мечется над бурлящими водами. Но иногда в его снах она предстает воплощением благотворной любви и утешает его беспокойный, трепещущий дух среди прохладных камней, что истекают слезами росы. Бальдассаре, всегда безупречно честный, не делится этими снами ни с кем, даже с братом-исповедником. Он сохраняет их для себя, и принадлежат они только ему – так же, как запахи его тела.

И наконец, Чезаре – без которого прекрасно обходятся двое бывших друзей и наперсников, как и он сам обходится без них, – не ведет корабли к берегам дальних стран. Пусть юноши рьяные и неустроенные в этой жизни ищут новые морские пути к иноземным богатствам и пряностям. Ему же, Чезаре, хватает и твердой земли. После того приключения на озере у него развилось стойкое недоверие к лодкам и кораблям. Он вообще редко выходит из своей цирюльни, где готовит себе на смену троих сыновей. Та шальная проделка юности научила Чезаре ценить, что имеешь, и не рваться за чем-то большим. Кому-то же надо быть и брадобреем – занятие не хуже любого другого. Фьяметта из сна, обещавшая неземное

блаженство в кругу семьи, воплотилась в дородную домохозяйку с гнилыми зубами, которая, впрочем, исправно штопает ему чулки, да и готовит вполне недурственно. В общем, избавившись от нездоровой тяги к приключениям и дальним странствиям, Цезаре теперь научился ценить домашний уют и покой, чем и доволен.

Так что все трое друзей, как один, образумились (хотя, повторяюсь, они давно потеряли друг друга из виду).

И теперь они счастливы?

Они живут и здравствуют: так что вопрос неуместен.

Explicit liber adolescent

Пролог пьяной бабы

Казалось бы, пловец закончил рассказ. На самом же деле он только начал. Рассказ был всего лишь прологом к дальнейшим экстраполяциям.

Пловец: Теперь я вам объясню, что все это значит...

Но ему не дали договорить. Шут наклонился вперед и поднял свою чашу в приветственном тосте, обращаясь к пловцу.

– Какая удачная мысль, – объявил он, – развлечь нас и скрасить нам ожидание.

Пловец открыл было рот, чтобы поблагодарить за комплимент.

Шут: Сдается мне, у тебя пересохло в горле. Давай-ка выпьем по чарке.

Пловец: Но я еще не закончил...

Шут: БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ПОТЕШИТЬ НАС ДОБРЫМ РАССКАЗОМ? Или балладой? Или, может быть, бабкиной сказкой? У нас как раз есть одна старая бабка.

Шут с облегчением видит, что пьяная баба поднялась на ноги.

– Сам ты старая бабка, – заявляет она. – Пустозвон с бубенцами.

Пловец: Эй... погодите... *бултых!*

Пьяная баба: Есть у меня, что рассказать. История моя не такая мудрено-замысловатая, но зато всяко уж посмешнее будет.

Пловец: Погодите. Я еще не закончил.

Певцы-горлопаны (*обращаясь к пьяной бабе*): Ну, давай начинай уже.

С небывалым воодушевлением вся команда сбивается в тесный кружок вокруг пьяной бабы, так что пловец теперь видит лишь спины.

– История давняя, – говорит пьяная баба. – В первый раз я её слышала еще ребенком. И потом, но уже поподробней, когда у меня пришли первые крови. Рассказала мне эту историю повитуха из нашей деревни, госпожа Фибула, женщина во всех отношениях достойная и мастерица трепать языком, уж такая была она сплетница – все про всех знала. Да, понятное дело, я женщина необразованная и простая. Красивых словес я не знаю и премудростей стиля не разумею, хотя был у меня один шибко умный школяр, так чудно изъяснялся, и может, что-то мне в память и въелось из его гладких речей. Хотя, ну его: буду рассказывать так, как услышала эту историю от госпожи Фибулы. А она, повторюсь, была мастерица рассказывать всякие байки. Только это не байка, а истинная правда.

Стало быть, я начинаю.

Рассказ пьяной бабы

Повесть о грандиозных деяниях и талантах Белкулы, молочницы, и ее увечного спутника по прозвищу Колпачок, поведенная изначально госпожой Фибулой и пересказанная здесь по памяти.

Книга первая

О рождении Белкулы

Однажды утром на сеновале Хильдегард ван Тошнила, взбесившись от соков, бродивших в крови, подставила голую задницу солнцу, чей небесный огонь тут же попал под затмение тени некоего Мартина, работника с фермы. Вскорости обнаружив, что в утробе ее зреет плод от внебрачных забав, Хильдегард (единственная дочь Освольта ван Тошнилы из купеческого сословия) в отчаянии стала пить травы, надеясь на благополучный выкидыш. Рези и судороги в животе, жуткий понос и потоки неудержимой мочи – таков был результат питания отравы, в силу чего дальнейшие поползновения Мартина в плане плотских утех сделались невозможными, но плод в утробе Хильдегард остался нетронутым. И лишь поразительная дородность позволяла девице скрывать в складках жира растущий живот, признак стыдобы и позора.

Прошел положенный срок, и в одну зимнюю ночь Хильдегард разрешилась от бремени девочкой; только роды, понятное дело, проходят не дома, а в канаве в снегу. Тяжело дыша и истекая кровью, Хильдегард на ватных ногах уходит себе восвояси, стараясь не слушать жалобных писков младенца. В обледенелой канаве колотится крошечное сердечко; крошечное, словно яблочко от лесной дикой яблони. Маленькие ручки хватаются за оборванную пуповину – ищут материнский палец. И вдруг ребеночек резко дергается, словно в судороге: легкие раскрываются, девочка выкашливает слизь и заходится истошным криком. *Иииииии! Иииииии!* Кровь стынет в жилах от этих воплей. *Ааааааа! Ааааааа!* Крик новорожденного младенца проносится над спящим Варенбургом, врываясь в сны фермеров и портных, жестянщиков и гвоздарей, гончаров, нищих, воров и лавочников. Даже сам Освольт ван Тошнила в своем ночном колпаке из тафты стонет во сне и ворочается на постели, сражаясь с кошмаром в самых глубинах денежных сундуков, в каковые давно превратилась его душа – с кошмаром, рожденным первыми криками своего злосчастья.

О младенчестве Белкулы и о том, как была она спасена

Что может спасти новорожденного ребенка, брошенного в ледяной канаве? По всем законам девочка должна была замерзнуть до смерти, а ее душа – отлететь в вечную ночь, в бесконечную пустоту, где, как говорят святые отцы, пребывают все некрещенные души. Однако неисповедимы пути Господни, и Отец наш небесный привел к тому месту дикую кабаниху, каковая искала под снегом каштаны, когда все звери лесные спали, укрывшись от мороза в берлогах и норах, а птицы сидели, нахохлившись, на ветвях, – и кабаниха нашла малышку и приняла ее жалобный писк за визг голодного поросёнка. Кабаниха осторожно присела и прижалась к ребенку, согревая его густой шерстью. Девочка нашла ротиком сосок, набухший молоком, и присосалась к нему крепко-крепко, и вцепилась ручонками в шерсть лесной твари; и так кабаниха принесла малышку в ее первый дом, где та научилась ходить – как ее братья и сестры – на четвереньках, вынюхивать грибы и корни и не стыдиться своей наготы.

Если кто-то не верит, что это возможно, пусть вспомнит о том, что в истории есть и другие примеры, когда звери воспитывали человеческих детенышей; и раз уж так повелось от веку, что человек стоит выше всех тварей земных, это лишь справедливо, что иногда сей непреложный закон изменяется в прямо противоположную сторону – в Дни Беспорядков ^[11]

¹¹ Дни Беспорядков (Days of Misrule) – рождественский обычай в Британии, маскарад с «перевертышами». На 12 дней святок в каждом дворце или замке выбирался распорядитель всего празднества, называемый в Англии «Лорд беспорядка» (Lord of Misrule), а в Шотландии – «Мнимый аббат» (Abbot of Mock). Лордом беспорядка выбирали того, кто мог хорошо шутить, устраивать различные развлечения, карнавалы. Он сам подбирал себе свиту, члены которой были разодеты в яркое платье, украшенное лентами и колокольчиками. –

даже самый последний дурень может стать королем. А наша малышка, надо сказать, не была обделена достоинствами; смышленная, ловка и проворная, она во многом превосходила своих сотоварищей из свинячьего племени и оставляла свои экскременты везде где хотела. По силе телесной (пусть и не сравнимой с кабаньей мощью) она превышала все нормы, установленные природой для дочерей человеческих, и была истинным Геркулесом среди «слабого пола».

Но об этих достоинствах и о той пользе, каковую она извлекла из них позже, – о том речь пойдет в свое время. Сейчас же мы перенесемся вперед во времени (опустив девять месяцев) – в тот знаменательный день, когда барон Энгерранд де Оорлогспад затеял охоту. Во дни мира воинственный аристократ не пренебрегал тренировками своего жеребца, дабы тот был в надлежащей форме, если вдруг грянет война, каковую барон почитал делом для благородного мужа весьма подходящим и к тому же доходным. Итак, Энгерранд де Оорлогспад выехал на охоту. Бока его жеребца покрывала попона из алой с золотом парчи. В таких же алых камзолах, отделанных золотой парчой, были и слуги барона, которые прочесывали кустарник в поисках свирепого зверя и в ожидании хозяйских милостей.

В тот день кабаниха со своим выводком мирно дремала в папоротнике, как вдруг почуяла запах гончих. Внезапно лес наполнился ревом охотничьих рожков, и дитя, воспитанное кабанями, в страхе зарылось в шерсть своей мамки-кормилицы. Свора гончих уже приближалась. Спрятаться было негде, да и как спрячешь звериный запах от чутких собачьих носов?! Кабаниха обезумела от лая и рева рожков, но когда псы приблизились к месту, где она затаилась со своими детенышами, она вырвалась из укрытия. Увидев добычу, охотники радостно завопили, кони же забеспокоились и едва ли не сбились с шага. Псы попытались вцепиться кабанихе в горло, но та стряхнула их с себя, как репей. Лучники натянули луки. Стрелы посыпались градом: двадцать девять – впустую, но тридцатая сделала свое дело. Раненная в живот, кабаниха почувствовала, как ее задние лапы дернулись и забились; она вслепую рванулась сквозь заросли, но боль неотступно следовала за ней по пятам.

Почти час кабаниха бежала по лесу, замирала на месте и снова бежала: вся утыкана стрелами, морда в крови. И вот бежать больше некуда – два поваленных дерева перекрывают дорогу. Человек в красном камзоле замахивается мечом. Вспышка света, словно кусочек солнца, и горячее лезвие входит в бок. Сердце кабанихи, которое билось прежде, как молот о наковальню, содрогается и замирает; пена капает с морды; глаза наполняются мутной грязью, Звериной Смертью.

Добыча убита, и охотники приступают к разделке туши. Перво-наперво отрезают голову и насаживают на копье. Потом делают длинный надрез от горла до паха, и внутренности вываливаются из брюха, их поджаривают на углях и бросают собакам. Потом тушу рубят на куски и уже в таком виде несут домой.

И вот, уже второй раз, наше дитя на краю гибели. Казалось бы, нет никакой надежды. Ее находят собаки – находят по запаху, ибо пахнет от девочки диким зверем. Гончие возбуждены погоней, их морды красны от кабаньей крови. Барон Энгерранд де Оорлогспад лениво кивает загонщикам. Те, изнуренные долгой погоней, разгребают трепещущий папоротник, и сквозь резную завесу зелени один из них видит ребенка, девочку. Та вся дрожит и от страха обкакалась.

– Бойтся, маленькая, – бормочут загонщики. – Эко ее трясет. Должно быть, бедняжку украли. Наверное, хотели сожрать, да мы вовремя подросли.

– Возблагодарим же Господа, – говорит барон, – что Он направил нас этой дорогой на помощь невинной душе.

Сей торжественный миг не омрачило даже то прискорбное обстоятельство, что спасенное волею Божьей дитя не проявило горячей признательности ко своим спасителем. Когда ее попытались взять на руки, девочка принялась рычать и кусаться, она раскидала по

сторонам нескольких дюжих слуг и оглушила трех собак, каковые пытались ее облизать от избытка нежности. В итоге ребенка пришлось связать, и так состоялось ее возвращение к людям под звуки «Тебя, Бога, хвалим».

О льняных косах и о женском влиянии

Позволю себе опустить подробности, как дитя отмывали в трех водах, одевали в подобающие наряды, приучали ходить на горшок и тщетно выспрашивали по округе, кто она и откуда. Достаточно будет сказать, что по прошествии трех месяцев некрещеного ребенка, которого приходилось держать на цепи, аки дикого зверя, объявили сиротой и признали созданием злобным и неисправимым. Доброхотство барона Энгерранда де Оорлогспада встало ему в дорогую цену: искалеченные слуги, нянюшки с разможенными головами и контуженные солдаты, получившие по голове дубиной.

Однажды вечером, когда он пировал со своими рыцарями, долготерпению барона пришел конец.

– Неужели никто меня не избавит от этой чумы?! – кричит он вне себя, и честолубивые головы затевают совет. Замышляют недоброе. Их намеки про яд и безболезненное удушение подушкой вселяют тревогу в душу одной сердобольной прислужницы, и та решает спасти дитя от его опекунов. Весь вечер она пытается сообразить, что делать, и только в силу привычки – рука-то набита – не проливает вино на штаны благородных господ.

Но вот застолье подходит к концу, все сыты и пьяны и засыпают прямо за столом, среди недоеденных яств и куриных костей, и добросердечная девушка потихонечку пробирается к выходу из пиршественной залы. Собаки с раздувшимся брюхом, которые тоже славно попиrowали на хозяйских обедах, лижут ей пятки и тихо скулят. Служанка спускается в подземелье. Нянька спит мертвым сном. Служанка тихонечко вынимает у нее из кармана передника связку ключей и отпирает темницу. Сиротка тоже храпит, как пшеницу продавши, и даже не чувствует, как ее берут на руки, кладут в плетеную корзину и опускают в ров на льняных косах. Корзина с тихим всплеском встает на воду, ребенок внутри даже не зашевелился. Служанка подбирает под чепец свои длинные косы и наконец переводит дух. Возвращает на место ключи и спешит к себе в комнату.

Два часа корзина со спящим ребенком плывет по реке сквозь заливные луга, где кричат вальдшнепы, и наконец прибывает к берегу в тихой заводи у мельницы.

Слыхала я, дорогие мои, о лисицах, что давали себя приручить за прокорм, и о волках, что служили людям в голодные времена. Это не извращение звериной природы: это закон выживания. Так и наша маленькая героиня (каковая успела уже проснуться и обнаружить себя вовсе не там, где она засыпала) очаровала дородную мельничиху, что пришла на рассвете к пруду. Малышка так трогательно гугукала и надувала губки, что сердце мельничихи умилилось, и она подхватила корзинку с найденышем на бедро и понесла домой.

– Вилли, – обращается она к мужу, который завтракает за столом, – давай оставим ее, давай?

– Фанни, ты посмотри на нее. Какая кобылка здоровая! Мы же ее не прокормим.

– Но она *миленькая*.

– Мы не знаем, чей это ребенок.

Но хитрая мельничиха добивается своего. Она знает, чем припугнуть мужа.

– Что, – пугается мельник, – даже руками и языком?

– *Даже* руками и языком.

– *Даже руками и языком!?*

– *Даже* руками и языком.

Так наша девочка обретает дом.

Об этимологии и очищении от греха праотца Адама

На крестины своего подменыша (а без проделок фей явно не обошлось – уж слишком таинственным образом было обставлено появление ребенка у мельницы) Вилли и Фанни Моленеер собрали всех самых достойных соседей. Был там Роджер паромщик, с дражайшей супругой и болезненным желчным пузырем; также присутствовал достопочтенный Корнелиус Фахс со своими увечными отпрысками, ибо у всех его деток был изъян в виде заячьей губы. Пришли и соседи из дальних дворов: птицелов Франс Ванкертс восседал на скамье рядом с Дирком Диглером, а в самом заднем ряду сидел Румбартус Арст, который, когда не пускал ветры и не храпел, любовался прыщавыми сельскими девами с лицами, что картофелины в глазках.

Все уже собрались и ждут, и вот выходит священник: время очистить невинную душу от дьявольских козней. Гордые родители стоял у купели рядом с будущим крестным отцом. Молодой Мартин Болерхкс не так давно разбогател и уже не батрачит на ферме, как прежде. Он стоит, весь серьезный, с самодовольной улыбкой, теперь он – богач, уважаемый человек, и его даже позвали в крестные. Его же приемная дочь – явно в дурном настроении, что ее искупали и нарядили в красивое платье, – хнычет и извивается на руках у Вилли.

– Возлюбленные братья и сестры, – нараспев начинает священник и продолжает уже на латыни, обращаясь к неграмотной пастве. Мы все хоть однажды бывали на чьих-то крестинах и все страдали болезнью, которую в просторечии называют «клевать носом». Так что я опущу многомудрые речи святого отца и перейду прямо к тому знаменательному мгновению, когда священник берет дитя на руки. Престарелый отец Херманн давно уже не находит в том ни малейшего удовольствия, ибо старость несет с собой немощи и недуги: непроизвольную дрожь в руках, плеврит, лихорадку, фимоз, цирроз печени, флебит и прогрессирующий деформирующий артрит. Новорожденные – одно дело. Все – сплошь из ямочек и розовых десен. С новорожденными он еще как-то справляется. Но этот ребенок – такой огромный, такой тяжеленный: когда в свое время отец Херманн сажал к себе на колени *хористов*, иные из них были легче по весу. Но долг есть долг, и святой отец осторожно опускает ребенка на мраморный край купели. Малышка смотрит на воду в каменной чаше и не может противиться зову природы – задрав подол платья и явив на всеобщее обозрение пухлую попку в ямочках, она простодушно пускает водичку прямо в священный сосуд. Звонкое эхо младенческого пи-пи замирает под сводами церкви. Моленееры, в ужасе от святотатства, совершенного их приемным чадом, восклицают на валлонском: «*Quel culot t'as!*» Что превращается (по причинам, известным только святому отцу) в «Белкулу».

Так и осталось: Белкула Моленеер. Очередная душа, очищенная крещением от первородного греха и прописанная должным образом в книге учета и регистрации в Божественной канцелярии.

Об осаде свинарника и о весьма хитроумном способе покорения одного

Представьте, любезные господа, счастливое детство Белкулы. Мир полон открытий, каждый день – что-то новое. Тополя шелестят листвою; птицы поют; вертится мельничное колесо. Белкула замуривает глаза, когда Фанни приходит будить ее на рассвете, и бросается в объятия теплых заботливых рук, неизменно присыпанных белой мукой. Будучи «слабоумной» (как называют ее соседи), Белкула освобождена от домашних обязанностей, равно как и от посещения воскресной школы. Говорить она не говорит, только смеется. Белкула – домашняя девочка, простодушная и наивная, но ее тянет в лес, к дикой природе. Неугомонная, вся взъерошенная, с вечно грязными коленками – одно слово, непоседа. Она везде бегает, лазает где ни попадя и купается голышом в реке.

Однажды в мае, уже ближе к вечеру, вскоре после своего двенадцатого дня рождения, Белкула выходит на берег, чтобы, прошу прощения, испражниться. Присев на корточки в

кустах боярышника, она замечает, что кто-то таращится на нее сквозь заросли. Будь на ее месте любой другой, сие смущающее обстоятельство неизбежно бы вызвало у него запор; но Белкула, не зная стыда, спокойно делает свое дело, мальчишеский смех возбуждает в ней странную дрожь – так бьется угорь у браконьера в штанах. Опроставшись, Белкула смотрит прямо в глаза юным соглядатаям – в глаза, наполненные вожделением, – и начинает медленно кружиться на месте. Живот гордо выдвинут вперед, мокрые волосы завиваются кольцами, руки расслаблены и свисают вдоль тела, как плети – таков ее танец. Закончив, она возвращается в реку и играет в воде, как Диана-охотница или нимфа-наяда, одаренная пышными телесами. Мальчишки бегут восвояси, и у каждого на штанах – по липкому пятну.

Среди этих юных проказников есть два брата: Мориц и Пьер. До сего знаменательного мгновения их главной забавой было ловить в поле жаворонков и, как бы это сказать попристойнее, делать с птичками нехорошее. Как их сблизила эта возня с комьями перьев! Они поклялись друг другу (скрепив клятву торжественным рукопожатием вонючих рук), что их никогда и ничто не разлучит. Но, глядя на танец Белкулы, каждый из братьев почувствовал, как стрела Купидона вонзилась ему ниже пояса (ибо это то место, где у мужчин сосредоточены чувства). По дороге домой братья молчали: ни один не сказал другому о нанесенной ему тяжелой ране. По ночам они изнемогали, и каждый украдкой блудил руками в своей постели, мысленно обращаясь к своей даме сердца, и, кончая, вздыхал: «увы!»

Три тяжких года братья тряслись и потели в зарослях на берегу реки, в чаще леса, в кустах у ручья, в щекочущей ржи, в общем, всюду, где их Возлюбленная исполняла свой танец. Когда же Белкуле минуло пятнадцать, она вся налилась и созрела – на истому и муку окрестных парней. Ее красота не из тех, что воспевают поэты. Эта та красота, которой они *вождеуют*. (Хотя вряд ли признаются в этом вслух.) Грудь – что спелые дыни, если вам будет угодно. Зад, благородные господа, что две луны в полнолуние. *Ноги*. (Как описать ноги, я, право, теряюсь.) У нее были такие ноги, что лучше не сделали бы даже самые мастеровитые плотники в услужении у самого короля.

Белкула – девушка добрая и отзывчивая, жестокость несвойственна ее натуре. Природа щедро ее одарила, такое роскошное тело просто создано для удовольствия, да и самой Белкуле не чуждо томление плоти. Так что, когда Мориц (будучи более смелым и наглым из братьев) все же решился предпринять отчаянный натиск, Белкула не стала сопротивляться и отдалась ему так, что он потом еще долго не мог оклематься.

О, что за радость эта первая ночь утоленного вожделения, хотя будет вернее сказать: первый день, потом ночь и еще один день. Морицу снится (в редкие минуты затишья), что он – корабль, плывущий по бурному морю, и громадные волны – как наказание; Белкула, которой вообще ничего не снится, берет любовника на буксир и тащит его, ненасытная, нетерпеливая, обратно в порт.

Но долго идиллия не продлилась.

Однажды вечером Пьер, терзаемый подозрениями, решает проследить за братом, который в последнее время ходит уж больно довольный. И вот он усаживается в засаде за деревьями у пруда. И что же он видит? Мориц заходит в дом мельника, вернее, не в дом, а в амбар, где хранится зерно и где его уже ждет Белкула. Они предаются запретным утехам, пугая мышей громкими возгласами и стонами. Какой стыд! Какой ужас! Пьеру невыносима мысль, что с его дражайшей Возлюбленной обращаются столь унижительным образом. Как бедняжка, должно быть, страдает под тяжестью грубого Морица, принимая в себя его деспотичный отросток, хотя это Пьер должен ее ублажать и лелеять. Только Пьер, и никто другой – он единственный любит ее по-настоящему.

Дни проходят в мучительных размышлениях, что делать. Наконец план готов. Пьер, чья страсть придает ему смелости, ждет у амбара, когда стихнут любовные стоны. Когда же Мориц, слегка ошалелый и изможденный, выходит наружу, его соперник, никем не замеченный, проникает внутрь. Он пришел не с пустыми руками. Сладкий мед и налившийся соками плод – вот его трепетный дар любимой.

Не проходит и часа, как Белкула коварно похищена. Будучи в два раза больше своего, скажем прямо, тщедушного обожателя, она помогает Пьеру в его стараниях и сама заходит к нему в свинарник, где с жадностью поглощает дареный плод и с благосклонностью принимает ухаживания, вкушая при этом немалое удовольствие.

(Тем же, кто назовет нашу Белкулу бесстыжей блудницей, ибо негоже девице менять полюбowników в одночасье, я скажу так: новообращенные часто грешат непомерным рвением. Ибо открылись Белкуле улады плоти, каковы для тела – как вера истинная для души. А аппетиты ее таковы, что их не смог бы удовлетворить лишь один, пусть даже и самый рьяный любовник. Белкула, она как Природа – щедрая, разнообразная. Ее страсти изменчивы и неумны. Возлияния мужчин в ее лоно – словно капли дождя для земли после долгой засухи: она принимает их, впитывает в себя без остатка, и просит еще.)

Пьер потруился на славу. Белкула осталась довольна, но ее удовольствие выражается несколько странным образом: она словно вернулась в свое кабанье младенчество (кабаны – это дикие свиньи, так что, наверное, будет уместно сказать, что она впала в дикое свинство), каковое определялось вялой слабостью членов, скоплением газов в желудке и непомерным обжорством. Все, чему научилась Белкула в плане фекальной культуры, пошло, образно выражаясь, свинье под хвост. Однако влюбленный Пьер не ощущает зловония, производимого его зазновой. С точки зрения его сладострастного вожделения, она – само совершенство.

– Мерзавец! Предатель! Вор! Выходи драться!

Это обманутый Мориц узнал, что ему изменяют. Он берет палку, колотит ею по двери свинарника и вызывает изменщика-брата на честный бой. Пьер, не имея возможности ублажать свою даму под градом матерной брани, с сожалением застегивает штаны и выходит во двор.

Пять часов бьются братья в кровавой сече. Не давая друг другу поблажки. Мориц, бросивший вызов (он строен и гибок, ежели не принимать во внимание малость отвисшее брюшко), нападает, как лев разъяренный; Пьер, кусаясь ретиво, зубами скрежещет и всего только раз обсерает штаны. Привереда Морфей опускает на поле сражения сна покрывало. Пьер возвращается в лоно утех, к истомленной любимой, Мориц в тягостных думах укрылся в тени под лещиной.

С тех пор не проходит и дня, чтобы братья не отмузулили друг друга. Иногда верх берет Мориц, иногда – Пьер (особенно если ему удастся ударить Морица ногой по яйцам). Иногда к воплям и стонам израненных воинов присоединяется сонный вздох Белкулы или ее отрешенный пердеж.

Десять дней и ночей продолжалась осада, и вот снова выходит из мрака, зевая, с перстами слегка сероватыми Эос, а иначе Рассветная Зорька. Пьер глаза продирает и зрит с изумленьем, что врага-то и нету на поле сраженья. И к своей вящей радости вдруг замечает – ибо съестные запасы успели изрядно поистощиться, – что у ворот Мориц оставил зажаренного поросенка. Пьеровой радости нету предела, и радость сию разделяют и свиньи в свинарнике – не прозревая в том знак горькой участи, уготованной им судьбой. Пьер несет подношение в хлев, там садится и жадно вгрызается в мясо зубами, но поросенок – лишь кожа, а что же под кожей? Из-под кожи является враг хитроумный. Дерзкий воинственный Мориц, благоухающий, словно свиная поджарка, с колуном наготове. Ярость его не уймется подбитым глазом или сломанной рукой. Проклятие Каина бурлит у него в крови, и Пьер, прозревающий гибель свою в глазах брата, уже не пытается защищаться.

Но придержите коней. Прежде чем смертоносный удар достигает цели, сама причина братоубийственной сечи предстает перед ними в дверном проеме. Братья тупо таращатся на нее и даже не сразу осознают, что происходит, пусть даже сие очевидно: Белкула – *снаружи*, хотя ей, насильно похищенной, полагается быть *внутри*. Она улыбается своим страстным поклонникам, улыбается так – мимоходом, как улыбнулась бы двоюродным братьям, встретившись с ними на улице, и бросает им яблоко. Мориц, удрученный и павший духом, опускает топор. Пьер поспешно спускает штаны, чтобы в них не наделать. Братья несутся к

чулану, где были покои их общей возлюбленной. Увы! Ночью Белкула проломила доски в стене своим мощным седалищем (форму пролома ни с чем не спутаешь) и выбралась наружу в поисках пищи – коварно бросила их обоих, наплевав на предназначенную ей роль.

Смачно рыгнув напоследок, Белкула радостно отправляется восвояси. Братья же падают в изнеможении, члены их холодеют, и все вожделение съезживается, истощенное и печальное, до размеров лесной земляники.

О пасторальных уладах; похвала учености

По прошествии месяца после истории с похищением Корнелиус Фахс берет Белкулу на ферму молочницей. Коровы-пеструшки такие теплые, их так приятно гладить. У них флегматичные морды и мокрые носы, они постоянно жуют жвачку и задумчиво смотрят на Белкулу из-под длинных черных ресниц. Их тяжелые вымена, набухшие молоком, все в темных прожилках вен. Белкула доит коров на зеленом лугу, тугие струи молока бьют в ведро, и их журчание похоже на звон цикад.

Надо ли удивляться тому, что в таком окружении томление плоти лишь прирастает? Каждой твари земной положен Природой свой ограниченный срок для любовных игрищ – звери и птицы сходятся в пары лишь в брачный сезон, – но в дщерях человеческих похоть горит неугасимым огнем. Даже во время месячных кровотечений (а это, скажу я вам, не течения, а потоки, как разливы великой реки в далекой стране фараонов) Белкула не может умерить свои аппетиты. Сыновья достойного Фахса соперничают за ее благосклонность, пусть даже их жаркие взгляды малость подпорчены ярко выраженным косоглазием, унаследованным от батюшки. Остальные молочницы, которые прежде ходили такие гордые своими прелестями и достоинствами (пышная попка, сексапильный неправильный прикус), теперь ходят злые, кипя возмущением. Даже племенной бык бесится у себя в загоне, когда мимо проходит Белкула – приворотное зелье буквально сочится из всех ее пор. Он ревет, как безумный, и роет землю копытом, и пытается выбить ворота лбом, и падает, оглушенный.

Однажды утром Белкуле дают поручение отнести молоко покупателю на дом. Обычно молочницы этим не занимаются, но работники на ферме уже невменяемы от похоти и совершенно нетрудоспособны, и госпожа Фахс решает, что надо хотя бы на время избавиться от заразы.

И вот через час после рассвета Белкула приходит в дом Питера Сивухи – личного друга оксфордского Эрудита, автора бестселлера «„Диалоги“ Платона для начинающих» (продано двадцать восемь экземпляров), – который работает у себя в кабинете. Завидев у двери молочницу, он надевает ермолку (каковая, однако, не красит его в глазах слабого пола: плешь – она плешь и есть, скрывай ее, не скрывай) и спешит ей на помощь. Белкула с радостью избавляется от ведра и забирает монету, которую Питер Сивуха медленно вкладывает ей в ладонь. При этом он что-то пытается говорить, быстро-быстро, обрушивая на девицу лавину ученых слов, не поддающихся пониманию. Белкула решает, что перед ней – иностранец, и разворачивается, чтобы уйти. Ученый же муж – не в силах сдержать свое умственное набухание – приглашает очаровательную немую в дом.

– Для меня это проблема научная – восстановить ей орацию, то есть речь, – объяснил он позднее чете Моленееров, каковые сидели, как истуканы, над тарелками с ржаным хлебом, слегка ошалелые и польщенные вниманием самого Питера Сивухи, человека большой учености. – Смею со всей ответственностью заявить, что под неустанным моим наблюдением она будет экспрессионировать – и даже кантабилировать – уже через несколько месяцев.

Питер Сивуха особенно подчеркнул, что не ждет никакой компенсации (то есть вознаграждения, если перевести многомудрые речи ученого мужа на простой разговорный язык) за свои труды. Помочь невинной душе – это само по себе награда. Так что Моленееры,

пусть и с большой неохотой, отпустили дочь, и Белкулу буквально за руку увели к Знаниям. Кстати скажу, что рука уводящего была липкой от пота.

На протяжении полугода подвергалась Белкула суровым урокам (за исключением тех минут, когда ей удавалось сбежать на свидания с парнями), ибо учение не забава, но тяжкий труд. С поистине безграничным терпением Питер Сивуха тренировал ее голосовые связки; он прижимался губами к ее губам, стимулируя четкое произношение, и мял ее мягкую грудь в плане дыхательных упражнений. Но все его эксперименты закончились неудачей.

«Ее простая, бесхитростная душа не запятнана искушенностью, – отмечал Питер Сивуха в письме Эрудиту в Англию. – Она чиста и неиспорченна, и ей не знакомо томление амурное».

На Очищение Девы Марии [12] (или на праздник свечей, как его еще называют) он обручился с Белкулой.

О том, как Белкула обрела речь

В порыве внезапной поздней любви Питер Сивуха придумал особый язык жестов для своей будущей супруги. Как только Белкула научилась здороваться, извиняться и выражать опасение, а свежее ли масло подали к обеду, он пригласил людей, дабы продемонстрировать «ручной жестовый метод Сивухи». Но где пройдет это собрание? Где же еще, как не в доме Освольта ван Тошнилы, преуспевающего торговца, который ради престижа согласен нести расходы на гостеприимство. Итак, уважаемые господа и дамы проходят в зал, где вычурный фамильный герб (приобретенный буквально на днях) сразу же обращает на себя внимание.

Открывается боковая дверь, и Питер Сивуха, такой солидный в своей черной ученой мантии, представляет патронам свою будущую невесту. Это немного напоминает торги: все внимательно разглядывают Белкулу, чуть ли не заглядывают ей в рот, и восхищаются ее статью, мастью и крупом, ее лоснящейся гривой и здоровыми, крепкими зубами – все уже и забыли, по какому поводу их собрали. Белкула, довольная всеобщим вниманием, сияет в девственной парче.

– Благородственные господа, – говорит Питер Сивуха, – я буду переводить для вас на язык слов жестикулярный коллоквиум моей пациентки.

Поначалу все идет хорошо. Питер Сивуха задает Белкуле вопросы, справляется о ее здоровье, интересуется, как у нее настроение, и в ответ она месит и щиплет воздух. (Да-да, благородные господа, она меня понимает, и я понимаю ее.) Питер Сивуха хочет услышать от пациентки хвалебное слово в адрес своей методики. (Она говорит, что очень мне благодарна.) А как она оказалась здесь, перед этими благородными господами?

На этот вопрос Белкула отвечает весьма обстоятельно и подробно. *С самого начала.*

Когда до Питера Сивухи доходит, что именно он переводит, уже поздно идти на попятный, и не в его силах остановить поток слов, который так долго не мог найти выхода. Патроны внимают рассказу с отвисшими челюстями, Белкула же повествует о кабанихе, о своре гончих, о мельнице на пруду, о святой воде и о плясках на берегу реки. У нее очень хорошая память, и у людской молвы память не хуже. Питеру Сивухе, в котором стыд борется с чувством долга, а приличия и благопристойность – с похотью, ничего другого не остается, как только жениться, дабы бедняжка обрела доброе имя.

Собственно, к этому он и стремился.

О том, как Белкула, узнав одно весьма важное обстоятельство, сбегает от алтаря, сверкнув голыми сиськами

¹² 2 января. – Примеч. ред.

Вечером накануне свадьбы наша Белкула сидит на кухне в родительском доме, и Фанни Моленеер наставляет дочь, но все эти рассказы об обязанностях жены не отбивают у дочки охоту к замужеству – в конце концов ее мать что-то не проявляет той смиренной покорности, которая, по ее же словам, пристала приличной замужней женщине.

И кто бы, вы думали, оборвал это древнее ритуальное действие под названием «мать выдает дочку замуж: последние наставления на кухне в родительском доме»? Не кто иной, как Мартин Болерхкс, крестный отец невесты. Лицо – все в поту, глаза налиты пивом, он отказывается от угощения и не хочет даже присесть. Он мнетя, дрожит и качается, словно канатоходец на туго натянутой проволоке, который не может сдвинуться с места – ни вперед, ни назад. Слова поднимаются к горлу, как желчь, и изливаются наружу.

– Белкула, ты должна знать, потому что сейчас ты выходишь замуж, и когда-нибудь ты все равно бы узнала, то есть мне заплатили, чтобы я молчал, а потом, когда ты появилась, никто и не догадался, что это ты, а я думал, что ты умерла, она мне так и сказала, родилась мертвой, но теперь... ты не... прости меня, Господи... я твой настоящий отец...

Сказав эти слова, Мартин Болерхкс оседает в углу, и ему к носу подносят бутылку с уксусом за неимением нюхательных солей. Фанни с Белкулой обмахивают Мартина полотенцем и кое-как приводят его в чувство. Они обе льстятся к нему, желая вызнать подробности. Мартин рассказывает, что давным-давно, много лет назад, Освольт ван Тошнила заплатил ему за молчание немалые деньги. За молчание о чем? – удивился Мартин тогда, но купец выдрал его за уши и сказал, что он сам знает прекрасно о чем. Так что Мартин взял деньги, тем более что это не самое сложное дело: молчать о чем-то, чего ты не знаешь. Но только все эти годы у него свербилло в ушах и яйцах, прошу прощения за убогость речи. Что эта за страшная тайна, которую он должен был сохранить? В общем, Мартин серьезно задумался, как говорится, наморщил ум, а тут еще и Хильдегард поспешно уехала в неизвестные дали, так что кое-какие догадки у парня были, и он пошел с ними к Освольту, и тот сообщил ему, что ребенок родился мертвым, а Хильдегард повинилась на исповеди в своих грехах и отбыла в изгнание на остров Как-бишь-его, где-то у датского побережья. А потом этот умник – прошу прощения – доктор Сивуха научил Белкулу разговаривать руками, и уж она заговорила... а слухи в нашем поселке распространяются быстро, дошли они и до таверны, где Мартин Болерхкс сидел – мирно пил пиво, и, скажем прямо, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить что к чему.

Лицо у Белкулы пылает, кровь ее медленно закипает новым, доселе неведомым ей желанием. Девушка не спит всю ночь, слушает, как бурлит в жилах кровь – ее родители тоже не спят, тревожатся и волнуются перед свадьбой. Утром в церкви, скрывая глаза под фатой, Белкула смотрит на лица: красная рожа деда, бледная физиономия отца, прыщи на лице у приемной матушки, напряженное выражение в глазах у приемного батюшки, и лицо жениха – как беленая мелом маска. Белкула уже не та женщина, какой была еще вчера, за исключением одной характерной детали: она сбегает от алтаря, бесстыже сверкнув полуголыми сиськами в сторону Тела Христова и луноликой, даже не полу-, а полностью голой задницей – в сторону ошарашенной паствы.

Еще ночью она поклялась себе, что разыщет свою настоящую мать, и когда в траве неподалеку от церкви обнаружили брошенную фату, сама Белкула была уже далеко.

Конец первой книги

Книга вторая

О приключениях в дороге и о фламандском гостеприимстве

Больше нигде в христианском мире (и это есть непреложный факт) не найдет путник более короткой дороги и более скучного путешествия, небогатого на события, чем по болотам и топям нашего «нижнего» края. Белкула, путешествуя в одиночестве, оказалась не в самом выгодном положении: у нее нет ни быстрого коня, способного умчать от опасности, ни вооруженной охраны, чтобы спасти ее от вероятных превратностей, поджидающих одинокую странницу на пути. Прибавьте к тому еще то очень значимое обстоятельство, что Белкула – самая пышная и желанная из всех женщин, которые когда-либо попадали в поле зрения разбойников-вырожденцев и изголодавшихся лесорубов, в общем, с учетом всего вышесказанного, можно было бы ожидать, что наша история завершится весьма плачевно.

Но вы, благородные господа, уже кое-что знаете о Белкуле и поэтому не станете впадать в отчаяние в самом начале главы. Сама же Белкула – глубинный инстинкт гонит ее на север, она не умеет читать путь по звездам и по движению солнца на небе, она просто идет вперед – не осознает опасности. Есть в ней что-то такое загадочное и волшебное, и большинство ражих головорезов с большой дороги не решаются к ней подступиться, а лишь смотрят ей вслед с непонятной тоской (теребя свои детородные члены). Ибо, хотя она будит неудержимую похоть в мужских причиндалах – и сотни мужчин изнывают по ней, даже увидев ее один раз, словно их фитильки опустили в квасцы, – заговорить с ней решаются очень немногие. Одиноким волки, уже наострившиеся поживиться добычей, разлетаются, словно мухи, с ее пути. А если редкий бесстрашный разбойник все же отважится заступить ей дорогу, она сминая его мощной грудью и идет себе дальше, даже не замечая оглушенного тела, которое топчет ногами.

Гонимая только горячим желанием своего сердца, наша героиня пренебрегает всеми остальными потребностями и нуждами. Она испражняется и отливает мочу прямо на ходу, а если ей вдруг захочется пить – так у дороги немало заводов. И только голод дает о себе знать: дикие яблоки и ежевика – плохая замена овечьим мозгам и распаренному рубцу. Так и случилось, что после трех дней поста желудок Белкулы начал сопротивляться. Уже в сумерках выходит она по поляну, где над костром кипит котелок. Хозяева котелка оставили его без присмотра, а сами куда-то ушли. Белкула, недолго думая, поднимает палку, выуживает из похлебки толстый кусок оленины и тут же впивается в него зубами.

После первого куса мяса голод разыгрывается с новой силой, и Белкула с жадностью опустошает весь котелок. Ублажив свое пузо, она засыпает прямо у тлеющего костра, ибо на сытый желудок всегда клонит в сон. Она спит мертвым сном и не знает, что вокруг собрались разбойники, слетелись, точно сороки к овечьей туше, подвешенной на крюке. Стоят – таращатся, истекая слюной. Руки с запекшейся под ногтями кровью тянутся к рукояткам ножей. В любой разбойничьей шайке существует своя строгая иерархия. Так что главарь банды – косоглазый, с бельмом на одном глазу и гнилыми зубами – первым подходит, со спущенными штанами, к храпящей жертве. Для Белкулы удар его пики – что укус комара, она переворачивается во сне и по случайности пришибает насильника правой грудью, так что из того и дух вон. Первый помощник незадачливого главаря выпускает последний вздох, раздавленный между грудями Белкулы, как алчный скорняк между двумя тюленями. Остальные разбойники, рангом пониже, также находят бесславную смерть. Один задыхается между бедрами у Белкулы. Еще двоих, норовивших взять крепость с тыла, сбilo с ног мощным выбросом ветров, и они раскроили себе черепа о стволы деревьев. Когда же Белкула, зевнув, откусила шестому разбойнику напрочь все его мужское достоинство вместе с мошонкой, седьмой в ужасе убежал. (Убежал, впрочем, недалеко. В отличие от своих перекинувшихся товарищей, которые жили по принципу «сила есть, ума не надо», этот седьмой не отличался телесной мощью, но зато был человеком весьма хитроумным и предприимчивым, о чем мы еще скажем позднее.)

Пока еще робкий и боязливый, рассвет все-таки разгоняет ночную тьму, и Белкула открывает глаза под сладкое пение соловьев. Заметив разбойников – с окоченевшими и затвердевшими членами, только не теми, которыми надо; бездыханных, в золе от костра, – она рассуждает вполне резонно, что раз они мертвые, то она живая, и направляется целая и

невредимая (хотя два внимательных глаза следят за ней на расстоянии) к славному городу Генту.

О том, как Белкула, прибывши в Гент, забывает о цели своего похода

По прибытии в город, любезные господа, к Белкуле тут же подкатывает худощавый такой мужичок, рыжий, что твоя морковка – не молодой и не старый, явно тертый калач: жилистый, рожа обветренная и вся в чирьях, – выныривает откуда-то из теней, даже и не поймешь откуда.словно важный посланник, обращается он к приезжей красавице, склонившись в картинном поклоне:

– О восхитительная царица, о нежнейший цветок, снизойди до смиренного своего слуги, выслушай его благосклонно и не гони сразу. Зовут меня... э... Копрологус, перераспределяющий блага земные. Я как раз возвращался из Дома счетчиков зерна, размышляя над некоторыми финансовыми вопросами, как вдруг сияние твоей красоты ослепило мне взор...

Подобный подход оставляет Белкулу холодной и равнодушной. Она идет себе дальше, не обращая внимания на Копрологуса, который, однако же, не отстает, но в корне меняет тактику:

– Послушай, красавица, ты одна в чужом городе, без друзей и без гроша в кармане. А у меня тут хорошие связи. И роскошный дом. Можешь там поселиться. Я даже платы с тебя не возьму, лишь иной раз попрошу об услуге – тебе и делать-то ничего не придется, даже с кровати вставать не надо.

Но Белкула не отрывает глаз от фасадов домов, от их роскошных фронтонов и мерцающих окон. И только, когда на пути попадется пекарня, где с лотка продают свежие, с пылу с жару *kramieken*, как тут называют булочки со смородиной, и Белкула жадно вдыхает в себя их запах, Копрологус смекает, чем ее взять.

– Хочешь есть? У меня есть, что покушать. Суп, фрикадельки и сыр.

Это Белкула расслышала хорошо (ее глухота избирательна, как это часто бывает у стариков). Она тащит своего костлявого спутника к ларьку с едой и сметает все прямо на месте – за счет Копрологуса, разумеется. Но тот не жалеет потраченных денег, поскольку знает, что, когда дама сыта, у нее разгораются аппетиты иного свойства.

И вот Белкула насытилась (всего-то и надо, что пол-ящика булок и несколько сотен *strikken*, то есть кренделей с маслом и темным сахаром) и уже полностью предается в руки своему благодетелю. Тому не терпится самому испытать дарования Белкулы в области тех деликатных услуг, которыми он намеревается торговать. Узкая койка в дешевой гостинице скрипит и трещит до рассвета. Блаженная придурковатая улыбка не сходит с лица Копрологуса целых два дня. Потом он несет перекупщику броши, ожерелья, протезы, отделанные серебром. Выручку от продажи краденого наш предприимчивый друг вкладывает в обустройство дома в квартале Патерсхол и тратит немалые деньги на приобретение огромной кровати с пологом на четырех резных столбиках. В этот дом он приводит Белкулу, соблазняя ее сладкими булками и леденцами. Белкула сопит на пуховых подушках. Голос крови звучит все глуше. Как лотофаги, сиречь пожиратели лотоса, забывают про все на свете, так и Белкула забыла про цель своего путешествия.

О древнейшей в мире профессии и о разнообразии клиентуры

Глубокая ночь. По всему Гелдмунту тоненькие ручейки мочи стекают в канавы; лужицы пенистой рвотной массы медленно застывают на мостовой. Переступив через ноги храпящего пьяницы, расфуфыренный щеголь, а попросту хлыщ, ведет какого-то мастерового, по всей видимости, ткача, к своему жилищу. Полнощекый ткач сжимает в

потной ладони флорин; его длинные ноги дрожат и подкашиваются, как будто этот несчастный флорин – непомерная тяжесть. Лицо его спутника скрыто широкополой шляпой с роскошными перьями. Под этим изысканным головным убором можно только разглядеть крупные бисерины пота – и адамово яблоко, что перекачивается вверх-вниз по тонкой, как у куренка, шее.

– Такой знатной поебки у тебя еще в жизни не было, сам сейчас убедишься, – шепчет он. – Она еще ничего не начнет, а у тебя уже встанет, как у взбешенного коня. Ты сам не поверишь, что такое бывает.

Ткач, однако же, не проявляет особых восторгов от подобной перспективы. На ватных ногах поднимается он вверх по лестнице, и когда наверху открывается дверь (и ткача обдает женскими ароматами), бедняга дрожит, как осиновый лист. Но уже пять минут спустя он выходит из спальни всклокоченный и довольный донельзя. Теперь это совсем другой человек, который легко расстается с недельным заработком.

– Расскажи там своим, в цеху, – подмигивает Копрологус.

Стратегия надежная. Не прошло и недели, как к вящей Белкулиной радости пять сотен ткачей слетелись к ее постели, что твоя стая голодных птиц – к щедрой кормушке. Эти первые, так сказать, ласточки обрели в неумной Белкуле сбычу всех своих эротических мечт: ненасытную и сговорчивую девицу, каковая ни в чем никому не отказывает и не чурается смелых экспериментов, на которые редко отважатся благочестивые женушки. Желающих совокупиться – великое множество, и достижения Белкулы воистину впечатляют:

Наименование: Оружейники.....	17
Наименование: Пекари.....	19
Наименование: Пивовары.....	3
Наименование: Увечные калеки.....	6
Наименование: Рыбаки.....	29
Наименование: Монахи нищенствующих орденов.....	2
Наименование: Воры-карманники.....	8
Наименование: Торговцы и лавочники.....	63
Наименование: Ткачи.....	98

Теперь, когда деньги текут рекой, наш предприимчивый Копрологус нанимает целую армию добропорядочных прачек. Также он подряжает хорошего зодчего, дабы тот сконструировал систему блоков, надобную для того, чтобы по мере необходимости приподнимать Белкулу, ни в коем случае не потревожив ее, из ее медвяного болота и омывая из лохани розовой водой.

Дабы ублажить золотую свою гусыню – а Копрологус видел, что может сделать Белкула, даже во сне, если оставить ее в небрежении, – он идет в Грот-Влесхёйс, Большой дом мясников, что на площади Грётенмарк, и договаривается с шустрыми поварами, которые за отдельную плату готовы состряпать самые замысловатые кушанья. Например, *horg d'oeuvre*, сиречь холодные закуски: заливная телятина или луковый пирог. Или горячие блюда: кролик с черносливом, пареный карбонат или утка в собственном соку. На десерт: *krakelingen* в сахарной карамели, заварные пирожные и ириски *barbelutten*. Копрологус также узнал, что кедровый орех – сильный афродизиак (все получилось случайно: Копрологус не разумел по-латыни и не поскупился на гонорар для одного ученого мужа, дабы тот перевел за него Галена, какового Галена ему задали на дом в университете, и оттуда он, собственно, и почерпнул сии ценные сведения), и с тех пор просто закармливает Белкулу этим самым кедровым орехом.

Однако же это излишне. Среди шлюх Белкула – что Баярд ^[13] среди жеребцов:

¹³ Баярд – легендарный конь, обладавший человеческим умом и фантастической резвостью. Упоминается во многих произведениях Каролингского цикла, в том числе во «Влюбленном Роланде», «Неистовом Роланде» и

сексуальный гигант, только женского рода. Никто из уродов с *kermesse* [14] не способен удовлетворить ненасытное ее лоно, ни Полидор, ни Аргайон [15], ни даже могучий Голиаф. Катаясь по дымящимся простыням, Белкула произносит свои первые в жизни слова:
– Еще! Еще! Хочу еще!

Тонкости мастерства

Предприимчивый Копрологус, обнаружив воистину ненасытное предложение на ненасытный спрос, распространяет на рыночной площади прейскурant с перечнем цен и услуг. (Он не стал обсуждать это с Белкулой. Она все делает бесплатно, проявляя поистине неиссякаемую изобретательность. Для нее каждый новый любовник остается *de facto* первым и единственным.) Вот полный список услуг:

миссионер
приходской священник
простата епископа
пылкий пастух
запасливый хомяк
страус
трудовая пчела
вялый слизень
пес, гоняющийся за своим хвостом
кошка моется лапкой
дремлющий ослик
ломовая лошадь
коняшка-качалка
рессорная двуколка
ручная тележка
тачка
бегущий краб
моллюск
моллюск, печёный на горячих камнях
ловушка для угря
moule au vin blanc [16]
пьяная груша
фига в сахаре
пастернак в масле
сырный торт
ванильный пудинг
кровяная колбаса
съешь меня

«Ринальдо». Сам автор в своей памятке для переводчиков пишет, что Баярд – гигантский конь, участник карнавального шествия в Аалсте, что в бельгийской провинции Восточная Фландрия. – Примеч. пер.

14 Kermesse – ярмарка с гуляньем в Бельгии и Голландии. – Примеч. пер.

15 Аргайон – великан, участник карнавального шествия кукольных великанов в Нивеле, Бельгия, Южный Брабант. Его имя происходит от слова «гигант». – Примеч. пер.

16 Мидии в белом вине (фр.). – Примеч. пер.

ночной горшок
разливочный желоб
жемчужная диадема
жемчужное ожерелье
мягкая мочалка
задний проход
рыцарский поединок
булава
палочные удары
звон литавр
волынка
свистулька
роммельпот [17]
jeu d'harpe [18]
гальярда [19]
гавот на корточках
горизонтальная джига
поросенок с прицепом
чехарда
салочки
стойка на голове
нырок рыбкой
голый слепец
кипрская борьба
козлик и терка для сыра
сердитая кормилица
гунн-мародер
вороватый иудей
тоскующий турок

Известность приносит свои плоды: клиент пошел классом повыше. Вместо мастеровых и бродяг-оборванцев приходят купцы в дорогих шелках, и пахнет от них зерном. Вместо ткачей состоятельные торговцы из суконных рядов заходят в поисках отдохновения – в пароксизмах блаженного забытья – после тяжелого трудового дня. Спальня Белкулы превращается в катакомбы *petites morts*. [20] Старики умирают, безумно счастливые, от разрыва сердца; подмастерья спускают в штаны от одного только вида роскошных бедер; неудовлетворенные мужья барахтаются в горько-сладком желе. Городские печатники, подтверждая дурную свою репутацию, распространяют пиратские копии гравюр с изображением божественной анатомии; для разумеющих грамоту доморощенные рифмоплеты сочиняют октавы на вульгарной латыни, где превозносят таланты Белкулы в выражениях самых что ни на есть непотребных. Даже золоченый дракон с башни Беффруа

¹⁷ Горшочный барабан, примитивный музыкальный инструмент, буквально «гремящий горшок» (флам.). – Примеч. пер.

¹⁸ Игра на арфе (фр.). – Примеч. пер.

¹⁹ Гальярда – итал. *gagliarda*, франц. *gaillarde*, буквально – весёлая, бодрая, старинный танец романского происхождения. – Примеч. пер.

²⁰ Маленьких смертей (фр.), то есть оргазмов. – Примеч. пер.

наклоняется с остроконечного шпиля, дабы понаблюдать за пылким соитием своих цеховых мастеров.

Белкула довольна, что все ее мужики остаются довольны, и сама иной раз получает какое-то удовольствие, когда ей попадается кто-то, кто хотя бы приблизительно соответствует ее меркам. Но, как говорится, *tempus fugit*. [21] Сон вожделения длился недолго.

Глава, в которой Питер Сивуха и Освольт ван Тошнила объединились перед лицом несчастья, а мы узнаем кое-что интересное о происхождении человека, которого эти достойные господа наняли для исполнения важной миссии

Культурные и утонченные люди обладают особым талантом объединяться с жестокими, грубыми и тупыми скотами, когда того требуют обстоятельства. И вот как-то днем после обеда Освольт ван Тошнила и Питер Сивуха встречаются в доме купца, то есть даже не в доме, а в тенистом саду перед домом. Питер Сивуха задумчив и мрачен, чисто выбрит и трезв как стеклышко; он обводит критическим взглядом скамью, куда ему предложили сесть, потом с достоинством присаживается и подносит к своему ученому носу маленький ароматический шарик со смесью душистых трав. Освольт ван Тошнила – этакий румяный здоровячок с отвисшим пузом и манерами самыми грубыми: он громко пердит, не стесняясь присутствием гостя, ибо дух дорогих кушаний, съеденных за обедом, приятен ему и в таком исполнении. Речь Питера Сивухи, как всегда, витиевата и пестрит латинизмами и нелепыми неологизмами, непонятными никому, кроме самого Питера. Освольт ван Тошнила (который языкам не обучен, но в совершенстве владеет английской, французской и немецкой бранью) говорит так, как будто Цицерон задохнулся еще при рождении, а Демосфен был шотландцем из горцев. И все-таки, несмотря на различия, между Человеком Науки и Человеком Коммерции крепнет тесная дружба, порожденная взаимной необходимостью.

– Была у меня настоятельная побудительность, – говорит Питер Сивуха, – кустодиальным своим опекунством исправить природу Белкулы, ибо в силу врожденной нематримониальности и *sine magistrum* [22] проявляет она все распутные слабости, свойственные ее полу, и потребно ей мудрое наставление и руководство.

– Это правильно, – соглашается ван Тошнила, – без руководства оно никак. Она за свои поступки не отвечает, так что ей нужен крепкий мужчина, чтобы держал ее в строгости.

– Тщательно разработанная мной метода по интеграции моральных концептуалий в данном случае оказалась несостоятельной, ибо разум дикарки по природе своей не подвержен эрудиционному воздействию экстраполярной науки.

– Да, она так и осталась дикаркой. А ты, Сивуха, не смог превратить ее в женщину добропорядочную. Люди и так уж украдкой смеются, а скоро будут смеяться открыто.

– Это вы истину говорите, – хмурится Питер Сивуха. – Однако следует принять во внимание и то немалозначительствующее обстоятельство, что и доброму имени ван Тошнилы угрожает фрустрационная дискредитация.

– Это как?

– Теперь, когда ваша тайна раскрыта, Белкула может взять имя матери, и тогда ваше доброе имя будет уже безнадежно запятнано.

Разъясненная в данном ключе, ситуация требует незамедлительного вмешательства. Весь день до самого вечера обеспокоенные столпы общества напрягают умы: составляют план по захвату Белкулы и в итоге решают (с большой неохотой) прибегнуть к помощи

²¹ Время летит (лат.). – Примеч. пер.

²² Без наставника, без руководства (лат.). – Примеч. пер.

печально известной Греты из Антверпена. Только Безумная Грета (как называют ее неблагодарные горожане), беспринципная мародерка, разыскавшая и захватившая беглую герцогиню Дармштадтскую и подавившая в одиночку мятеж еретиков в Оденарде, сможет добиться успеха в столь непростом предприятии. Безумная Грета не знает жалости, с ее зверской жестокостью может сравниться лишь ее жадность до денег, а благородные господа предлагают немалое вознаграждение за поимку и возвращение Белкулы.

Письмо запечатано и отправлено по назначению, и вот – по прошествии двух дней, на третий – шум и гам за окном привлекают внимание Питера Сивухи и Освольта ван Тошнилы. Что за переполох?! Они выглядывают в окно, и там, посреди мостовой, стоит руки в боки Безумная Грета, похожая на зловещую птицу, предвещающую беду. При полном параде, в переднике и в доспехах. За ней по пятам – толпа возбужденных домохозяек с добром, награбленным в Варенбурге: кули с мукой, ткани, столовое серебро. Сама же Безумная Грета – ну чистая ведьма: восьми футов ростом, сухая, костлявая, с губами, сжатыми в тонкую линию. Посмотреть на нее, так и вправду согласишься в ее похвальбу, что она славной пограбила в Преисподней и вернулась назад целой и невредимой. (Всем известно, что вход в Преисподнюю находится где-то в далеких болотах Ирландии, что дает повод все-таки усомниться в правдивости данной истории.) Свирепо буравя глазами своих нанимателей, Безумная Грета требует, чтобы ее пригласили в дом. Ее голос трещит, как суставы вздернутого на дыбе. Дверь в дом ван Тошнилы приоткрывается с неохотным скрипом. Безумная Грета, оставив толпу своих верных воительниц ликовать над добычей, заходит в мраморную прихожую. Ее длинный палаш скребет по полу, плюясь желтыми искрами. Она не садится, хотя ей предложено кресло. Она обводит внимательным цепким взглядом богатое убранство дома. Освольт ван Тошнила и Питер Сивуха потчуют гостью дорогим вином, каковое выпивается залпом и остается явно недооцененным, и разъясняют свою проблему, упирая на то, что дело спешное и деликатное. Безумная Грета обрывает их, не дослушав. Она нависает над ними, как ворон – над падалью.

– Я найду вашу жирную телку, – говорит она, – и уж обстрогаю ее как надо. В лучшем виде доставлю, не беспокойтесь. Но мне нужно ваше согласие на свободу действий, если вдруг будет надобность применить *крайние меры*.

При этих словах Питер Сивуха бледнеет, но Освольт ван Тошнила – который, собственно, и финансирует все предприятие, – не читал исторических сочинений и потому отвечает утвердительно. Удовлетворенная наполовину, Безумная Грета обращается к Питеру:

– Ну а ты, книжный червь?

– Я? Всенепременнейшим образом. Имею всяческую поощрительность и присоединяюсь к разумной сентенции уважаемого коллеги, без всяких изъятий и возражений.

– Это что значит? «Да»?

– Ну, да.

Безумная Грета просит, чтобы ей принесли что-нибудь из одежды намеченной жертвы. Питер Сивуха отдает ей свадебную фату и при этом случайно касается ее руки. Его пробирает озноб – рука у Греты холодная, как у трупа. Безумная Грета подносит фату к носу и шумно вдыхает. *Фффф-хх!* Пахнет немытым влагищем, истекающим соками похоти. Грета запоминает запах: он врезается ей в нос, для которого самый приятный запах – это запах денег, хотя кое-кто утверждает, что деньги не пахнут. Тут надо сказать, что нюх у Безумной Греты будет лучше, чем у свиней, натасканных находить трюфели, – она берет верный след, ориентируясь только на запах своей неумной алчности и на испарения людского страха.

– Я вернусь через сорок дней, – говорит охотница. – Так что готовьте деньги.

Освольт ван Тошнила и Питер Сивуха кивают с чрезмерным рвением, вытирая со лбов испарину. Когда Безумная Грета уходит, оба достойных мужа оседают на пол с тяжкими вздохами облегчения.

Толпа разнузданных женщин снаружи следует за своей предводительницей, как рой кочующих пчел – за маткой.

О том, как Белкула встречает мужчину, который подходил бы ей по всем параметрам, не будь у него одного прискорбного изъяна, и о том, как в лице Голландского Колпачка обретает Белкула друга и спутника, с которым уже никогда не расстанется

И вот Копрологуса – только что отобедавшего и довольного жизнью, и новым толедским клинком, и позолоченными перьями на щегольской шляпе – действительно приглашают под угрозой кинжала, прижатого к горлу, в дом сутенеров и сводников на Хоогпоорт. Его заводят в каморку с низкими потолками, где уже собрались двенадцать молодцев, в которых Копрологус узнает себя прежнего: пропитые оборванцы, подонки общества, с прыщавыми фурункулезными рожами и голубиными перьями на мятых шляпах. Один из этих двенадцати выступает вперед – он будет говорить за всех. Копрологус, который продумал план действий еще по пути сюда, мудро отказывается от девицы «по сниженным ценам», которую ему предлагают разделить со всеми. Он садится на табурет, пододвинутый кем-то ему под ноги, и готовится выслушать, что ему скажут.

Эти господа (объясняет уполномоченный делегат) представляют совет гильдии Копелаарса. В настоящее время гильдия испытывает существенные финансовые затруднения: дела идут вяло, конкуренция со стороны одиночных предпринимателей, в гильдию не входящих, подрывает коммерцию. Уважаемый Копрологус, разумеется, понимает, что у проституции, как и у всякого торгового предприятия, есть свои правила. И он скорее всего не откажется рассмотреть с должным вниманием эту коллекцию орудий и инструментов – осторожнее, а то лезвие очень острое, – которых его огорченным, да-да, весьма огорченным коллегам давно не терпится испробовать в деле?

Копрологус не нуждается в демонстрации. Рысью бежит он домой в сопровождении «коллег» по цеху, хватает деньги, кольца и жемчуга и исчезает из города, заплатив изрядную взятку за паспорт.

Пару часов спустя Белкула просыпается, свежая и довольная после сладкого сна, и обнаруживает с удивлением, что в постели она одна. За дверью спальни – глубокая тишина. Никто не подглядывает в замочную скважину, никто не сопит от приапического возбуждения. Белкула в недоумении обходит дом: никого – ни краснощеких смущенных девственников, ни хвастливых «героев-любовников» с причиндалами с розовую козявку. Короче говоря, Белкула одна посреди звенящей тишины. И в этой ничем не заполненной пустоте кровь Белкулы вновь начинает бурлить прежним томлением. Добавьте к тому голодное урчание в желудке (словно кто-то сидит у нее в животе и играет на дудке), и станет понятно, что надо немедленно что-то предпринимать. Накинув на плечи мавританский ковер, Белкула выходит на улицу. Кровь снова гонит ее на север – она идет, и все мужики поголовно, даже которые с женами, восхищенно таращатся на нее, но она ничего вокруг не замечает, и вдруг в изумлении замирает рядом с каким-то нищим.

Вы спросите, что привлекло нашу Белкулу в каком-то замызганном попрошайке с угрюмой рожей, всклокоченной бородой и босыми грязными ногами? Нищий, взглянув мутным взором на застывшую в восхищении девицу, похоже, и сам задается тем же вопросом. Проследив за взглядом Белкулы, он видит, что его детородный орган торчит из-под рваных лохмотьев, подобно дельфину, выброшенному на берег. Вот призовой кабачок! Монумент плотской любви! Мастодонт среди членов! Белкула ликует в душе: она наконец-то нашла подходящую отмычку для своего замка. Она преклоняет колени перед этим шедевром плоти.

– Мадам, – говорит жеребец, – восхищение ваше моим инструментом во всех отношениях обосновательно.

Увы, член у парня длиной чуть ли не до колен, но сие восхитительное оснащение не

способно на что-то еще, кроме как отливать лишнюю воду. Огромные яйца, которые в своем лучезарном великолепии могли быть подобны бархатным кошелям для бриллиантов, свисают тощими торбами, и нет в них ни пользы, ни гордости. Тщетно Белкула старается оживить вялый фаллос. Никакой зажигательный эротический танец (хотя даже придиричивый зритель давно бы уже изощел томлением) не способен поднять спящего великана.

– Смиритесь, любезная госпожа. Ничего не получится. Компания молодых шалопаев, бывших завсегдатаев в постели Белкулы, глумится над нищим, кропя его бороду пивом.

– С ним, красавица, ты на гульдену не надейся. Это же Колпачок – самый безопасный в Европе секс.

Колпачок явно обижен, хотя, как и всякий мудрец, не выказывает обиды и изображает жестаи, что надевает на голову колпак.

– Не колпачок, а голландский колпак. Хотя я предпочел бы, чтобы меня называли Нуллифидус, то есть Неверующий [23], – говорит он. – Потому что я ни во что не верю: ни в Бога, ни в человека, ни даже в себя самого.

Мимо проходит компания школяров с ободранными коленками. Они распевают, дразнясь:

– Колпачок, увы и ах! С дохлоу змеей в штанах!

Предмет их насмешек невозмутимо сгоняет с лица муху.

– Когда я был молодым, – продолжает он, – я был страстным и рьяным любовником и не знал усталости в этом деле. Мы с моим другом Яном служили тогда в гвардейцах – lieutenant de garde в замке Гревенстеен.

Мы с Яном были лучшими в городе в смысле любовных утех, и все женщины были от нас без ума. И графини, и деревенские девки сами ложились и расставляли ноги. Редко бывало, скажу я вам, чтобы в какой-то из дней у нас с Яном не было страстной подружки. Но в этом-то вся и загвоздка. Обычно мы с ним делили одну на двоих. Это было божественное удовольствие, когда ты сам испытываешь наслаждение и видишь, как такое же наслаждение испытывает твой лучший друг – а боги (которых нет) очень не любят, когда смертным по-настоящему хорошо.

Наша гибель пришла, как Смерть, в облике ангела – только очень земного ангела. Она была горничной у одной состоятельной дамы. Ее звали Фрида. – Глаза Колпачка, когда он назвал это имя, подернулись мечтательной поволокой. Но так как он ни во что не верит, он глотает комок, подступивший к горлу, и продолжает рассказ: – Описать ее красоту словами – значит жестоко ее оболгать. В жизни я не встречал столь прелестной девицы. (То есть до сего дня, но какой теперь в этом прок?) Стоило Фриде лишь выйти на улицу, как все мужики застывали на месте, и голова начинала кружиться, и пол-Гента ходило с расквашенными носами.

Мы с Яном влюбились безумно. Наконец-то мы встретили девушку, во всех отношениях достойную нас. Но Фрида не пала беспомощной жертвой перед нашим упорным натиском. О нет. Она была настоящим стратегом, этакая макиавелла из спальни. Она решительно заявила, что удостоит своей благосклонностью лишь одного из поклонников.

И вот в первый раз за все время нашей с ним дружбы мне приснилось, что Ян – мой соперник. Я проснулся в холодном поту и в отчаянии обнаружил, что явь – еще хуже сна. Ян во всеуслышание заявил, что Фрида выбрала его, а не меня, и что у них уже было все, что положено быть у мужчины и женщины в спальне, и даже более того. Дабы защитить честь возлюбленной (да, от злословия и клеветнических измышлений), я вызвал его на дуэль.

Мы с ним бились, как рыцари. То есть как звери: сперва рубились на мечах, когда же мечи полопались, мы пинали друг друга ногами, а когда ноги больше не слушались, рвали друг друга зубами. Благородства в том не было ни на грош. Но ведь и я был не Ланселот, а

²³ Nullifidus – производное от двух латинских слов: fidus и null. Можно перевести как «тот, кто никому и ничему не верит». – Примеч. пер.

Фрида – не Гвиневьера. И тем не менее я победил: свернул сопернику шею, применив ловкий бойцовский прием. Он весь обмяк, словно тряпичная кукла, и упал на пол в полутемном подвале, где мы сражались, и так и остался лежать с головой, вывернутой под невообразимым углом.

Верная своему слову Фрида мне отдалась. Как я представлял в мечтах дюжину раз, она распустила пояс на платье и расшнуровала корсаж. Ее роскошное тело было как вспышка молнии во тьме ночи. Но при всем ее великолепии и, замечу, немалом умении в этом деле, она не сумела меня возбудить. Попросту говоря, у меня на нее не встал. Я перевел взгляд с ее влажных и жадных губ на синие губы моего бывшего лучшего друга и понял, что потерпел поражение. Никто из нас не насладится возлюбленной. Ибо я враз сделался импотентом. И мой обессиленный член больше уже никогда не поднялся. Вот вкратце, история моего позора.

Глаза Белкулы – словно две чаши, переполненные слезами. Как низко пал сильный пол! И Белкула рыдает, исполненная сострадания. Когда Колпачок завершает рассказ, она прижимает его к груди, называет его милым другом, наперсником и усладой души. Колпачок смиренно и кротко приникает к теплому мягкому телу – когда ты ни во что не веришь, всякое сопротивление теряет смысл. Белкула хватает его под мышку, словно тряпичную куклу, и гордо шествует дальше. Она бережно отряхает от грязи его сиденье. Потом замечает, что его ноги тащатся по мостовой, и подбирает их, и затыкает себе между ног. Когда его голова, лысая, как у младенца, вылезает на свет из расщелины между ее грудей, она покрывает его макушку ласковыми поцелуями. Так рождается близость и дружба, скрепленная тихими вздохами и осторожными ласками, и Белкула клянется себе, что эта дружба – уже навсегда.

– Мне все равно, – говорит Колпачок, – с кем идти: с тобой или с кем-то другим. – Равнодушно вдыхает он аромат ее кожи. – Навсегда, до конца времен, если так нужно.

О том, как Безумная Грета берет след, а Белкула выходит в море

В сопровождении своей когорты Безумная Грета идет по городу, вдыхая запах богатства и выгребных ям. Гент нежится в теплых лучах солнца, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Безумная Грета перебирает пальцами золотые коронки в кошеле у себя на поясе. Она развлекалась, как ребенок с любимой игрушкой, вырывая их изо рта этого воображалы-хлыща – этого Копрологуса – вместе с признанием. Ну и воняло же от него, прости Господи. Он весь пропах *ею*. Пачка буклетов у него в кармане лишь подтвердила то, что Безумная Грета уже почуяла нюхом: Белкула в городе и занимается всякими непотребствами.

А в это самое время предполагаемая добыча со своим верным спутником садится на голландский торговый корабль в порту Граслея (судно везет ткани в Берген и направляется вниз по реке, в Северное море). Да, устало повторяет Колпачок, поднимаясь по сходням, они поплывут на *север*.

– Приветствую вас на борту «Барыша», мадам, – радостно объявляет первый помощник. Капитан корабля, который всегда с неохотой берет пассажиров (ибо его возмущает наличие груза, который нельзя продать, тем более что этих сухопутных крыс сразу же начинает тошнить, как только корабль выходит в море), держится на удивление дружелюбно. Мало того, он предлагает молодой госпоже не стесняться и воспользоваться его скромной каютой, дабы расположиться со всеми удобствами. Колпачок, который стоически высказывается за трюм, замечает явные признаки возбуждения в штанах у матросов. Их просоленные лица светятся нечестивым благоговением.

В Генте существует поверье, что звон колокола на кафедральном соборе вызывает попутный ветер и подгоняет суда, отходящие от причала. И как только Безумная Грета входит в город, колокол Роланд начинает звонить. На горизонте клубятся тучи – быть буре.

Зефир надувает свои черные щеки и отправляет вздыбившийся «Барыш» к Западной Шельде.

Безумная Грета еще не знает, что времени у нее не осталось совсем, но она все равно мчится по городу, словно ветер. Ее чуткие ноздри раздуваются, словно дыхалы у кита, когда она приближается к борделю. Она подходит к распахнутой настежь двери и видит в окнах воров и грабителей, и кровь у нее закипает от ярости. Добыча ушла из-под носа! Ее выпученные глаза почернели от злости – с досады она пробивает дыру в стене своей латной перчаткой.

Но одних только стен явно мало, чтобы унять ее гнев. Безумная Грета кричит, призывая своих поборниц, и ее крик подобен струе раскаленного воздуха из кузнечного горна. Размахивая мечом, она с гиканьем мчится по улицам: крушит и сметает все на своем пути и рубит головы ни в чем не повинных прохожих, словно это не головы, а ромашки на летнем лугу. Спасаясь от разъяренной Греты, ополоумевшие от ужаса горожане натываются на ее бешеных женщин, которые не отстают от своей предводительницы по части избить, изуродовать и искалечить. Купцы и лакеи, стряпчие и тунеядцы – все затоптаны насмерть или забиты скалками, а их дома преданы огню.

– К реке! – кричит Безумная Грета, пробираясь сквозь лужи запекшейся крови и груды булыжника. Толпа бесноватых домохозяек, сгибающихся под тюками с награбленным барахлом, устремляется следом за ней, творя по пути жестокую расправу, когда возникает такая необходимость, и в общем и целом проявляя себя в точности, как регулярная армия.

На восточном берегу реки горожане предпринимают отчаянную попытку сопротивления. Но вот незадача: защитники города после трех недель Белкулы залюблены вусмерть, и у них уже нет сил сражаться. Едва подвигнув себя на то, чтобы вытащить одну пушку, они беспорядочно носятся по причалу в лихорадочных поисках ядер и пороха. Когда, наконец, пушка готова к бою, капитан, страдающий тяжким посткоитальным синдромом, зажигает запал. Ядро пролетает над головой Безумной Греты и ее сброда – над горящими крышами Патерсхола – и попадает в сторожевую башню замка Гравенстен, где убивает на месте девятых солдат замкового гарнизона, трех шлюшек и дюжину сутенеров, которые пытались продвинуть свой бизнес. И по сей день злополучную эту пушку можно увидеть на входе на мост через Лайе, и называют ее именем ее нареченной мишени.

Несмотря на кошмарную вонь на пристани, Безумная Грета все же находит нужный среди тысячи запахов.

– Корабль! – кричит она. – Мне нужен корабль!

Ее воинству вовсе не требуется Белкулино обаяние, чтобы раздобыть необходимый транспорт. Размахивая ножами лучшего столового серебра, толпа женщин врывается на торговое судно из Данвича и поднимает паруса. Безумная Грета стоит на корме и нюхает ветер.

– Поднять якоря, – командует она. Для судна есть один путь: вниз по течению, к морю.

Конец второй книги

Внезапная неодолимая жажда прерывает рассказ пьяной бабы. Она причмокивает губами и пытается облизать их сухим языком. Слушатели, захваченные рассказом, без слов наполняют ее опустевшую флягу.

– Ой, хорошо. – Пьяная баба вытирает вино с подбородка. – А теперь, эта... Мне нужно перо и чернила.

Все, кто есть на борту, начинают рассеянно хлопать себя по карманам. Необходимые писчие принадлежности находятся лишь у монаха. С опаской и видимой неохотой он передает пьяной бабе инструменты своей профессии. Отодвинув монашку крутым бедром, пьяная баба склоняется над столом, окунает перо в вино и чертит карту Белкулиных странствий по морю.

– Ну вот. Ежели кто сбился с курса, пусть глянет сюда, – объявляет она.

После чего, подмигнув оскорбленной монашке, продолжает рассказ...

Книга третья

Про морских чудищ, и о том, как Белкула спасает корабль от гибели

Белкула стоит на палубе «Барыша», отвлекая команду от исполнения служебных обязанностей. Она никогда раньше не видела моря, не ощущала волнения первозданной стихии у себя под ногами. Полной грудью вдыхает она просоленный воздух; грудастая сирена, резная фигура на носу корабля, по сравнению с ней кажется просто карлицей.

На судне нет никого, кто не прельстился бы чарами великолепной Белкулы – растревожен даже Колпачок. Он не то чтобы не одобряет пристрастия подруги к матросам, просто, как и любой нигилист, он ужасно боится смерти, а секс, который, как говорят, продлевает жизнь и оттягивает неизбежный конец, в изменчивом море, весьма вероятно, может его и приблизить.

– Твои амурные похождения, – говорит он, покашливая в кулак, – меня не касаются, каждый живет, как хочет – все в порядке, любезный, вы не волнуйтесь, я стою к вам спиной, – но тебе разве не кажется, что ты отвлекаешь людей от работы и, таким образом, подвергаешь всех нас опасности? С морем, знаешь ли, шутки плохи, оно не прощает пренебрежительного отношения к себе.

Подпрыгивая на лице распаленного корабельного гардемарина, Белкула отвечает, что ей так не кажется. В ее голосе нет ни злобы, ни раздражения (зато в приглушенной брани матроса злобы хватает на двоих), она искренне не понимает, какой может быть вред в удовольствии. Пусть Колпачок, если хочет, дрожит и волнуется; чем он, собственно, и занимается, съезжившись в трюме, – весь от волнения зеленый.

Ветер попутный, подняты все паруса. «Барыш» идет полным ходом вдоль побережья Зееланда. В корабельной команде, которая состоит из датчан и голландцев, царит полное согласие – это уже не команда, а как будто одна семья, связанная узами сладострастия. Вопреки мрачным прогнозам мнительного Колпачка, боевой дух на судне – отменный. И так продолжается до тех пор, пока они не подходят к провинции Ноорд-Холланд.

Холодные серые воды Западной Фрисии – у побережья Скиермонникоогеллингланда – кишат морскими чудовищами. Кредул Роттердамский упоминает в своих трудах Бегемота, подобного носорогу; greet zeekreft, мясо которого высоко ценят французы (хотя они все съедят, не поморщатся); рыбу-леопарда, водяного слизня и Левиафана, глотающего пророков. Когда «Барыш» входит в туманную область, именуемую Монстерактиг Страат, матросы, все как один, начинают трястись и невнятно мычать. Белкула, вся растревоженная и возбужденная, спускается в трюм и расталкивает Колпачка, который спал сладким сном, забившись подальше в уголок.

– Оставьте уже человека в покое, – стонет бедняга спросонья. – Ты же знаешь, что я ни на что не способен!

Белкула уже успела привыкнуть к брюзгливому нраву своего сердечного друга, и поэтому не обращает внимания на его возмущенные вопли. Она хватает его за руку и тянет на палубу, опасаясь за жизнь своих ражих любовников.

Туман снаружи такой густой, что Колпачок не различает в нем даже пышных телес своей спутницы и подруги. Он спотыкается о канат, ударяется головой о нок-рею и даже с каким-то угрюмым удовлетворением натывается на корабельную пушку своим бесполезным хозяйством.

– На помощь! На помощь! – кричат матросы в тумане, сверкающем чешуей. Капитан,

случайно наткнувшись на необъятную грудь Белкулы, падает на колени и молит о помощи:

– Помоги нам, juffrouw, умоляю. Как можно отбиться от рыбины, если мы ее даже не видим?

В тумане слышится хруст костей – чудовище пожирает кого-то заживо. Белкула вся преисполнена сострадания. Она велит, чтобы ее привязали покрепче к грота-штагу, потом раздувается, что твоя рыба-иглобрюх, и всасывает в себя весь туман. Три могучих глотка, и небо вновь проясняется, а Белкула – чей живот, как алхимический тигель, где происходит волшебная трансмутация элементов, – пускает мощные ветры с ароматом цветущих роз.

Теперь, когда нет пелены тумана, уже ничто не скрывает чудовище, атакующее «Барыш». Представьте себе осьминога в два раза больше быка, с глазами, как блюдца, и клювом, как у попугая. Его цепкие щупальца достают до марса, и от них нет спасения.

Капитан, чей дух подкрепился надеждой, призывает матросов сражаться. Но корабельная пушка безмолвствует, и тогда Белкула хватается орудие, словно какой-нибудь огурец, и выходит один на один с разъяренным чудовищем.

– Бога ради, – кричит Колпачок, – побереги себя!

Осьминог, отупевший от голода, наклоняет корабль набок, чтобы вернее добраться до лакомого кусочка в лице Белкулы. Но вместо нежного мяса разверстый клюв натывается на свинцовый ствол пушки в руках у Белкулы. Груз свинца тянет чудовище вниз, в пучину – где его пожирают его же собратья.

Вот так Белкула спасает «Барыш» от гибели. Вода за бортом бурлит и сверкает серебряными плавниками, но сие грандиозное зрелище интересно лишь Колпачку, все остальные на судне – включая капитана, человека во всех отношениях надежного и рассудительного, – восхищенно тарашатся на свою спасительницу и бессвязно бормочут какую-то чушь.

О том, как Безумная Грета выходит в море, с небольшим отступлением на тему морской диеты

Тот же ветер, что толкает вперед корабли людей добрых и праведных, подгоняет и скверных грешников. Безумная Грета в отличие от своей жертвы не находит приятности в море: ибо богатства, каковые скрывает морская пучина, лежат в глубине недоступной, в развороченных чревах погибших кораблей, и видят их только кальмары и пучеглазые рыбы. Пожиться на море нечем – что взять с утлых рыбацких лодчонок?! Нет. Безумную Грету радует лишь одно (если стервятникам радость вообще доступна): возбуждение погони. Уже два дня маячит на горизонте ни о чем не подозревающий «Барыш».

Когда на море спускается густой туман – непроглядная мгла, в которой теряются даже запахи, – погоню приходится временно прекратить. Безумная Грета беснуется от бессилия и срывает свое раздражение на сопровождающих ее женщинах посредством жестокого рукоприкладства и грубой брани. Даже любимицы и приближенные не избежали проклятия сифилисом и нищетой. И когда море вдруг начинает кишеть чудовищами, это становится чуть ли не облегчением для женщин на корабле – теперь Грете уже не до них. Они перекидывают через борт веревки с крючками и ловят зубастых акул и клыкастых угрей, вытаскивают их на палубу и швыряют на доски, чтобы потом выпотрошить и съесть. Все залито ледяной рыбьей кровью. Сама Безумная Грета голыми руками хватается кракена [24], ломает ему хребет и высасывает студенистую жижу у него из глаз.

Туман внезапно рассеивается. Над морем разносится тошнотворный аромат роз. Туши объевшихся чудищ качаются на волнах. Но если Белкула не трогает гадов морских, то Безумная Грета враз прозревает, чем тут поживиться. Любой мастер-чучельник, не торгуясь,

²⁴ Кракен – гигантский кальмар, морское чудовище в скандинавских легендах. – Примеч. пер.

отвалит немалые деньги за такие диковины. Она немедленно подряжает свое бабское воинство, и женщины принимаются за работу: вытаскивают из воды полусонных и вялых с обжорства чудовищ, словно линей – из садка, и свежую их заживо. Буквально за час, говорю я вам, море у Фрисии было расчищено от чудовищ. Они превратились в пирог из Бегемота и похлебку из морского слизня, в паштет из пучеглазой акулы и суп из гигантских кальмаров.

И вот шкуры прибиты гвоздями к палубе, чтобы сохли, и Безумная Грета встает на носу и рыщет глазами по морским просторам в поисках «Барыша» – точки на горизонте.

О том, как Белкула сходит на берег в Гедоне; и о правах и свободах тамошних граждан

Республика Гедон – большая хохма среди картографов – представляет собой остров, покрытый зеленью, в обрамлении песка цвета слоновой кости. Три горы возвышаются над густыми лесами, над фаллическими башнями и куполами в форме женских грудей, словно головы великанов над зеленой водой. Ну чем не райский сад, размышляет Колпачок, и его губы покалывает от неожиданной улыбки.

Приближаясь к гавани, «Барыш» прохаживая мимо роскошного пляжа, где гедонцы нежатся на песочке, подобно тюленям. Они почти полностью голые. Черные тряпочки на чреслах врезаются сзади между ягод, так что сидища разморенных на солнышке островитян явлены миру во всей красе; мужские детородные члены и соски на грудях у женщин едва прикрыты морскими ракушками. Колпачок с изумлением наблюдает, как гедонцы на пляже натирают друг друга какими-то мазями. Белкула взирает на эту картину заворуженно, и глаза у нее горят.

– Даже не думай, – говорит Колпачок. – Мы сюда ненадолго, запастись провиантом и пресной водой. Еще до обеда отчалим.

Он тут же жалеет о сказанном, ибо Белкула становится все беспокойнее.

Вот и гедонская гавань. Портовая площадь окружена с трех сторон высокими зданиями из гранита и вся заставлена мраморными статуями: красивые юноши с возбужденными членами и прелестные женщины во фривольных позах, с пустыми симметричными лицами. Щедро одаренные для плотской любви (но не природой, а мастерами-ваятелями, не чурающимися, как видно, художественных гипербола), эти статуи похожи на неумных любовников, окаменевших *flagrante delicto* [25], с именем поставщика, вытравленном на задах. Сами позы статуй также весьма недвусмысленно намекают на основное занятие местных жителей. Сразу понятно, что здесь вам доставят самые утонченные удовольствия: например, ублажат языком и живой макрелью – и при желании расчешут вам волосы на лобке чистым гребнем.

– Господи, – стонет Колпачок, – и тут то же самое.

Из-за каменных статуй выходят красивые девушки из плоти и крови. Они подходят к причалу, где пришвартовался «Барыш», страстно ласкают спелые сливы в корзинках и производят фелляцию длинных батонов – надо думать, хотят их продать, только каким-то уж очень нетрадиционным способом. Колпачок, стараясь казаться невозмутимым, спрашивает у Белкулы, не купить ли ей хлеба. Но вот незадача: Белкулы уже нет рядом – ее вообще нигде нет.

Колпачок тут же впадает в панику. Он бежит сломя голову вниз по сходням, распахивая локтями гедонских торговцев. Он лихорадочно шарит глазами по площади, высматривая Белкулу в толпе блудливых островитян. Но ее нигде нет. Признав свое поражение, он в отчаянии оседает на швартовную тумбу, где к нему тут же подсаживается молоденький паренек, голый по пояс.

²⁵ На месте преступления (лат.). – Примеч. пер.

– Вы не с этого судна из Гента? – Парень достаточно бегло говорит по-голландски. – Меня зовут Бландус Влааг. Я надзиратель в здешней тюрьме. Я к вам по поводу юной барышни...

– Барышни, да. И что она натворила?

– Боюсь, ее взяли под стражу. Приставала к прохожим на улице с непристойными предложениями без соответствующего разрешения. Неконвенционное домогательство. Плюс отсутствие медицинского сертификата. Плюс отказ подписать договор о согласии на взаимоприятственную прелюдию.

– Что?! Она просто пристала к кому-то на улице?!

– При отсутствии необходимых бумаг.

Колпачок умоляет о снисхождении: Белкула нездешняя, объясняет он, она не хотела ничего дурного, просто она не знает, как надо вести себя в обществе. Бландус Влааг вяло кивает и говорит, что проводит Колпачка до тюрьмы.

– Поговорите с моими начальниками, – предлагает он.

И они мчатся чуть ли не бегом – один полуголый, другой закутанный до ушей – по улицам островной столицы.

По декору и архитектуре Гедонополис мало чем отличается от Гента. И лишь откровенные фрески с изображением совокупляющих пар (троек, четверок и т.д.) отличают сей город от его континентальных собратьев. Также бросается в глаза нездоровая тяга островитян обнажаться – больше, чем это необходимо в таком климате. Колпачок очень старается не отставать от своего провожатого, но его все равно отвлекают до неприличия короткие юбки у женщин и тесные штаны у мужчин, так что мошонки и члены – все на показ, и почему-то безрадостные улыбки прохожих.

– Наверное, вас изумляют, – высказывает догадку Бландус Влааг, – сии доказательства наших свобод.

– А раньше что, никаких свобод не было?

– Раньше все было весьма печально. Старомодные правила поведения, глупые ограничения. Раньше секс на Гедоне всячески подавляли, и если кто занимался сексом, то трясся при этом от страха, как бы чего не вышло. Но потом народ возмутился. Случилось восстание, и то, что было необходимым злом, стало Неотъемлемым Правом всякого гражданина, утвержденной законом Легитимной Потребностью.

Колпачок в недоумении хмурит брови. Какая-то классная дама вывела учениц на прогулку: выстроила их в ряд и проверяет, чистые ли у них руки. К ней подходит поджарый и стройный юнец в обтягивающих чулках. Дородная матрона манит его пальцем, что-то воркует безжизненным механическим голосом и безрадостно щиплет его за задницу. После чего молодой человек (отнюдь не смущаясь) подставляет свои ягодицы школьницам для учебных щипков.

– ...кодифицированный промискуитет, – бубнит Бландус Влааг, – преподают в школах. В первый год обучения школьники изучают позы и практику. К семи годам они должны сдать экзамен по Половому сношению (это Этика), Приемам и способам соблазнения (Риторика) и Обнаружению клитора (Анатомия). Тех, кто проваливает экзамены по основным дисциплинам, оставляют на второй год.

Интересно, думает про себя Колпачок, а что происходит с теми, кто проваливает экзамены и во второй раз, и в третий. На улицах города полно оборванцев – может быть, это и есть нерадивые ученики?

– ...в Гедоне много хороших книг и пособий по сексу. Секс – наше главное ремесло и источник дохода. У нас есть врачи, восстанавливающие потенцию, специальные курорты для общего укрепления организма и лечебные заведения по реабилитации тех, кто подорвал силы на сексе.

– И что, у вас нет никаких запретов?

– Почему? Есть один: целибат и вообще воздержание от секса. Понимаете, это либо извращение, либо нарушение основных прав человека. В любом случае нарушителей строго

наказывают. За воздержание и целомудрие – тюрьма и изгнание. И *стыд и позор*, – Бландус Влааг пинает ногой по мостовой, и пыль летит прямо в глаза оборванца, подвернувшегося так некстати, – вечный стыд и позор импотентам.

– Но вы хоть получаете от всего этого удовольствие? – любопытствует Колпачок.

Бландус Влааг озадаченно чешет в затылке. Потом начинает отчетливо и, пожалуй, излишне громко перечислять островные квоты на оргазм и цитировать избранные места из Библии о правах на возбуждение...

– Кажется, мы пришли, – перебивает его Колпачок, просто чтобы прервать этот вздор.

Перед ними и вправду маячат стены неприступной гедонской тюрьмы. Бландус Влааг стучит три раза в гулкие деревянные ворота, и те приоткрываются с натужным скрипом. При виде виселицы на тюремном дворе Колпачок издает сдавленный вскрик. В унылом и пыльном здании суда его принимают столь же унылые судьи в белых напудренных париках. Колпачок падает ниц, умоляя о милосердии, и мольбы его не пропадают всуе. С Белкулы снимают тяжелые цепи, и она бросается к своему спасителю и сжимает его в объятиях. Бландус Влааг, также охваченный ликованием, жмет Колпачку руку и выписывает Белкуле юридически безупречный пропуск на выход.

Белкула, пребывая в глубоком смущении и замешательстве, всю дорогу до «Барыша» не отпускает руки Колпачка – как только они поднимаются на борт, корабль поспешно отчаливает.

О том, как Белкула посещает острова Тошей и Скеллет, каковые она покидает в великой поспешности

Как выкошенный подчистую луг вновь зарастает сочной травой, Белкула оправилась после гедонского приключения. Уже через пару часов (вы, я думаю, будете рады об этом узнать) она вновь принялась за свои старые штучки, а Колпачок снова залег в одиночестве у себя в гамаке в трюме.

На следующий день на рассвете капитан выходит из своей каюты, застегивая на ходу ширинку, и объявляет, что судно меняет курс. Теперь они направляются к Тошей и Скеллету. Торговля может и подождать; корабль переходит в полное распоряжение его возлюбленной госпожи и будет служить исключительно ее удовольствию, заявляет он.

– Хотя если ее маманя живет на каком-то из этих островов, – признается он Колпачку по секрету, – тогда остается лишь уповать на Господню милость.

– А что там, на островах? Капитана бросает в дрожь.

– Скоро сам все увидишь.

На протяжении двух дней свирепая буря треплет «Барыш». Нептун играет с корабликом у себя на пузе: то окунет судно себе в пупок, где сверкает рыба чешуя, то подбросит на выдохе себе на грудь, в бороде белой пены. Колпачок выполз из трюма на палубу и предается отчаянию, глядя слезящимися покрасневшими глазами в клубящуюся черноту неба. Все Мироздание кренится набок, едва сдерживая тошноту, и вот-вот опрокинется и пойдет ко дну.

На третий день в черноте показалась прореха – проблеск серебряного свечения. Корабль идет туда, к свету. И наконец чернота расступается, и небо опять – голубое, и лучи солнца плывут в синеве, как золотые медузы, и впередсмотрящий на марсе кричит: «Земля!».

Как видно на карте (эй, а кто ее всю облизал?!), острова Тошей и Скеллет соединяются узеньким перешейком гранитных скал. Хотя они и соседи, но отличаются друг от друга, как день и ночь. Тошей утопает в зеленых садах, его поля золотятся обильной пшеницей – на бесплодном Скеллете растут только сорные травы и чахлая рожь. На обоих островах нет ни одной гавани для причала, все побережье – сплошные рифы и отвесные скалы.

– Надо обследовать оба, – настоятельно просит Колпачок.

Перед лицом очевидной опасности капитан «Барыша» предлагает свои услуги.

Внимательно изучив карты, он помогает Белкуле сойти на гребную лодку, которую он вызывается провести к берегу лично. Колпачок послушно садится на весла, и матросы желают Белкуле удачи (но про себя каждый молится, чтобы она вернулась). Стиснув зубы, Колпачок отчаянно сражается с волнами и после трех более или менее удачных гребков завязит весло, так что лодку весьма ощутимо качает.

– Вы обо мне не волнуйтесь, – пыхтит он обиженно, – вы продолжайте. Скалы? Не врежемся мы ни в какие *скалы*. Когда я сижу спиной к берегу? А вы там обжимаетесь?

Капитан, верный долгу, отрывается от пышных телес возлюбленной. Но мысли его заняты совершенно не тем, чем нужно, и его навигация, как говорится, оставляет желать, и Колпачок смотрит через плечо с риском вывернуть шею, высматривая безопасный проход среди скал. Наконец он замечает что-то более или менее подходящее и направляет лодку туда. Пот течет с него градом, штаны на заднице промокли насквозь. Белкула принимает руку галантного капитана, но ступает неловко, и в результате садится верхом ему на голову, упершись пятками ему в промежность, и уже с такого малоудобного положения сходит на берег – на обросший ракушками камень. Следом за ней сходит на берег и капитан – в состоянии крайнего возбуждения. Колпачка оставляют привязывать лодку.

Пару минут спустя, когда наши отважные путешественники нежатся на зеленом лугу на солнышке (Колпачок угрюмо возлежит на животе и смотрит в одну точку), до них вдруг доносится топот бегущих ног. Подняв глаза, они видят, как кусты сотрясаются и изрыгают взмыленное семейство. Мать, отец, двое сыновей и три дочери несутся легким галопом по песчаной тропинке. На лбу у каждого – ленты из набивного ситца, на ногах вместо башмаков – какие-то белые мешки, набитые соломой. У них уже явно нет сил бежать, но они все равно бегут, на пределе возможностей.

– Наверное, что-то страшное приключилось, – испуганно выдыхает Колпачок, которому уже представляются картины кровавой резни. На другом конце луга возникает второе семейство. Эти островитяне тоже бегут что есть мочи, натужно дыша и картинно обливаясь потом, всем своим видом давая понять, что да – им тяжело, но они не сдаются. Когда Колпачок их окликает, они замирают на миг и припускают еще резвее.

– Ничего не поделаешь, – говорит Колпачок, – придется их догонять.

Ну да, два раза. Наша троица бредет, прихрамывая по берегу, и наконец выходит к деревне – когда таинственные бегуны давно уже скрылись из виду. Деревня являет собой зрелище мрачное и безрадостное: покосившиеся обветшалые домишки в окружении засохших садов, – но в этих убогих лачужках все кипит и бурлит, они так и ходят ходуном. Жители Тощея вообще никогда не отдыхают и не останавливаются ни на минуту. Если нечего делать, они бегают (можно даже на месте, если нет другой возможности), прыгают и кувыркаются. Даже *слушать* их утомительно: звон в кузнице, пыхтение паровых утюгов.

От всего этого шума и гама у Белкулы разыгрывается аппетит. Капитан достает свой кошель. Выбирает наугад дом и стучит в дверь. Сперва ему никто не отвечает, а потом из-за двери доносится совсем уже непонятное тиканье, как будто своим громким настойчивым стуком капитан запустил в действие некий часовой механизм – клик-тик-так-клик-тик-так, – и дверь открывается. Капитан учтиво снимает шапку.

– Простите, что отвлекаем вас, господин хороший. Я вижу, вы заняты. Но мы с друзьями изрядно проголодались. – Он изображает жестами, что им надо чего-нибудь пожевать, и демонстрирует пухлый кошель.

Любопытный Колпачок подходит ближе и видит в дверях молодого мужчину со скакалкой в руках. Парень весь упакован в рельефную мускулатуру. Под кожей легонько пульсируют жилы, как будто там ползают обеспокоенные моллюски.

– Сголодались? – Голос у парня на удивление тонкий для такой горы мускулов. – Кушать охота? У меня есть много вкусного, чего покушать.

Надо сказать, что на Тошее живут переселенцы со всей Северной Европы, и здешний язык представляет собой смесь всех северных языков. Но капитан понял все, что ему сказали, ибо на том же смешанном языке изъясняются и моряки. Очень довольный собой,

капитан потирает живот. Однако когда молодой человек возвращается к ним на крыльцо, самодовольное выражение тут же стирается с просоленного лица морского волка. Ибо миска в руках у хозяина дома – пучки сельдерея, незасахаренный чернослив и овсяные лепешки, такие тонкие, что они крошатся от одного только взгляда. Вы не волнуйтесь – лепешки без жира и вообще не соленые! Капитан – в целях проверки – показывает жестами, что ему хочется пить. Ему предлагают на выбор: морковный сок, дождевую воду и питательный напиток на основе салата-латука. Исключительно из вежливости капитан покупает флягу дождевой воды и пучок свежего сельдерея, на который Белкула набрасывается, как голодная кошка – на куриную кость, кромсает его зубами и рвет чуть ли не в клочья.

– Может, вы знаете здесь одну даму из Фландрии, – спрашивает Колпачок у местного Аякса. – Она могла приехать сюда много лет назад. Ее зовут ван Тошнила. Хильдегард ван Тошнила.

Хозяин дома сгибает и разгибает ногу в колене и качает головой:

– Не, такую не знаю. С тех пор, как сюда перебрались первые поселенцы, дабы укреплять тело – как повелел нам Господь Всемогуший, – больше никто не приехал на Тощей с континента.

– Удивительно, почему, – говорит Колпачок в сторону.

– Слабаки потому что. За здешними им не угнаться.

Белкула прерывает беседу. Она кладет руку Колпачка себе на грудь, чтобы он ощутил настойчивое тук-тук ее сердца. Дальше на север, так подсказывает ей дочерний инстинкт. Здесь ее матушки нет. Так что, выспросив дорогу, наши отважные путешественники оставляют мужчину с его скакалкой и направляются к перешейку, что соединяет Тощея со Скеллетом.

С трудом удерживая равновесие на скользких камнях, Колпачок угрюмо бормочет:

– А вы заметили, что у них нет ни стариков, ни больных, ни увечных?

Но они уже перешли на ту сторону, где им есть чем занять свои мысли помимо досужих домыслов.

Второй остров, Скеллет, холодный и голый, и вместо зелени там один лишь мертвый колючий кустарник. Ветер гуляет по мерзлым камням и завывает в два раза громче, чем на Тоще, – который нежится в лучах солнца по ту сторону ветра.

– Почему, интересно, *эти* не завоюют *тех*, если тут все так плохо, а там все так хорошо? – размышляет Колпачок.

На самом деле причина проста. В отличие от своих тощейских соседей, которые ни секунды не могут усидеть на месте, скеллетяне почти не шевелятся. Целыми днями лежат они под гниющими балками в своих покосившихся хижинах: тощие, кожа да кости, с желтушными лицами и воспаленными слезящимися глазами. Белкула и Колпачок изо всех сил пытаются не кривиться при виде этих тонких, как ломкие пруттики, ручек-ножек, обтянутых кожей черепов со свалывшимся пухом волос и безжизненных блеклых глаз. Обнаружив у себя на груди завалившийся лист сельдерея, Белкула бросается накормить ближайшего голодающего скеллетянина.

– Какой страшный голод постиг эту землю? – Якобы равнодушный ко всему Колпачок тайком утирает слезу.

Голодающий островитянин, распростертый на тюфяке, на поверку оказывается островитянкой, но и то приблизительно. Она слишком слаба, чтобы съесть даже лист сельдерея. Она вяло качает головой, и ее губы растягиваются в подобие усмешки.

– Господи, – хрипло выдавливает она, – вы посмотрите на себя. Как можно так *жить*?

– Я и не знал, что такое бывает... – начал было Колпачок, имея в виду, что никогда раньше не видел он столько страдания, сосредоточенного на одном маленьком острове.

– ...так себя распустить. Да, я понимаю, что я не картина маслом. Но где за пределами этого острова вы найдете лучше?

– Л-лучше?!

– Если вы приподнимите мне голову – вот спасибо, – вы увидите, как я близка к своей

Совершенной Форме. Признайтесь, когда вы меня увидели, вы сначала не поняли, что я: женщина или мужчина? Я приближаюсь к своей андрогинной сути.

– Э, я не...

– Когда-нибудь, думаю, уже скоро, мне разрешат выйти на Дорожку.

– На Дорожку?

– Ежедневно мы собираемся у Дорожки, где проходит парад Совершенных Скеллета. Не более двадцати ярдов: даже самые крепкие среди нас редко когда проходят больше пятидесяти за раз. Я имею в виду по прямой. Без остановок. Чтобы ни разу не упасть.

– Не упасть?

– Вы пришли вступить в нашу общину? У нас тут много народу. Отшельники и затворники, девственницы в перманентном обмороке. Конкуренция жесткая. Одно утешает... никто не становится Совершенным надолго.

Не в силах далее выносить эту натянутую усмешку, обнажающую желтые десны, Колпачок прячется за широкую спину капитана.

– Слушай сюда, – говорит капитан. – Имя Тошнила тебе что-нибудь говорит? Ван Тошнила? Говорит что-нибудь? Имя? Тебе? Ван Тошнила? Хильдегард ван Тошни...

Колпачок и Белкула в две руки тянут его сзади за куртку, и он умолкает на полуслове. Припустив резвым галопом, наша отважная троица предпринимает поспешное отступление – по каменному перешейку, через поля и сады – обратно к лодке, которая еще по дороге сюда дала течь, однако же довозит Белкулу со спутниками до «Барыша», к несказанному облегчению всей команды.

Об увеселениях и забавах, на острове Талоп, за коими наша Белкула наблюдает с весьма выигрышной позиции

Терпение, любезные господа, мы приближаемся к самому интересному. Дабы не томить вас в ожидании, я опущу незначительные эпизоды (бурю, что унесла «Барыш» к берегам Сибири, роковое сражение капитана с воинством белых медведей, а также пространный рассказ о том, как Безумная Грета провалилась в Тартарары к татарам и разграбила оные Тартарары подчистую), дабы сосредоточиться на Великих Поисках.

Оставшийся без капитана «Барыш» отнюдь не уныло качается на волнах у подножия могучих прибрежных утесов. Справившись с картами – вернее, с тем, что от карт осталось, – Колпачок объявляет, что это, должно быть, Талоп: остров, о котором он лично вообще ничего не знает. Он испуганно ежится на верхней палубе. Его беспокоит глухое мычание, похожее на протяжную грустную песню. Что это? Киты? Морские коровы? Проследив за взглядами своих сотоварищей, он задирает голову и видит на самой вершине утеса три темные фигуры в длинных плащах. Они стоят там и дуют, как в трубы, в витые раковины.

– Должно быть, они нас приветствуют, – говорит первый помощник. – Давайте помашем им и покажем, что мы дру... зья...

Он буквально давится последним словом, потому что с вершины утеса падает человек.

Вернее будет сказать, что не падает, а летит вниз, потому что он не упал – его сбросили, голого и беспомощного, навстречу жестокой и неминуемой смерти. Такая же участь постигает еще одного несчастного, который, кажется, оскандалился на лету. Последняя, третья жертва машет руками, как неуклюжий, только что оперившийся птенец, и тоже летит вниз с обрыва.

– Пожалуй, на Талоп мы заходить не будем, – говорит Колпачок.

Но судьба распорядилась иначе. Из потайной бухты среди неприступных скал vyplывают три весельных баркаса и направляются к «Барышу». Весла на всех трех баркасах выкрашены в черный цвет, на борту хорошо различим странный герб – возница на колеснице, глядящий в небо, – и сидят в них не мирные моряки, а солдаты, вооруженные до зубов.

– Я – Лено, – высокомерный протяжный голос выдает благородное происхождение говорящего, – канцлер его величества Коммодуса Второго, короля Талопа. Арбалеты заряжены и готовы к бою. Назовите себя: кто такие, с какой целью прибыли?

– С вашего позволения, – говорит Колпачок, блюдя скромность Белкулы посредством куска парусины, – мы мирные торговцы, направляемся в Берген. Может быть... э... соблаговолите подняться на борт?

Буквально за считанные секунды талопские воины в блестящих, с черным плюмажем, шлемах наводнили всю палубу «Барыша». Страшая ни в чем не повинных матросов, они заставляют их расступиться, чтобы освободить проход канцлеру. Все это отдает некоторой театральностью.

– Его величество требует вас к себе, – напрямик заявляет Лено. – Вас, сэр, и эту юную леди. По окончании аудиенции вас доставят обратно на ваш корабль.

Отказаться было бы неразумно. Под строгим присмотром солдат наши друзья покидают «Барыш». Их разделяют и сажают порознь: Белкулу – в один баркас, Колпачка – в другой. Излишне упоминать, что Белкула оказывается в баркасе канцлера, который тут же подсаживается к ней поближе.

– Вам, я вижу, весьма любопытно, что у нас за король, – говорит Лено, когда баркасы отходят от борта «Барыша». – Он не просто король, он – дух-хранитель этого острова, каким до него был его благородный отец, наш основатель. Красота, чувство меры, ученость и ум соединяются в нем, словно четыре реки, что сливаются в один мощный поток. Коммодус Второй – наш Король-Философ. (Белкула – *aaaaaaay!* – зевает.) Его герб, разумеется, представляет жизнь созерцательную, философскую. Кстати сказать, король самолично его придумал.

Войдя в потайную бухту, баркасы причаливают к песчаному берегу. Наших друзей ведут вверх по лестнице, вырубленной в почти отвесной скале, где на вершине трудятся в поте лица крестьяне, которые при появлении важных господ почтительно падают ниц.

– Заметьте, мадам, – говорит Лено, – как довольны и счастливы наши люди. Раньше они рыбачили в море, ежедневно рискуя жизнью. Теперь они трудятся на земле, и им не грозит никакая опасность.

Работа грязная: выкапывать торф, рубить его на части и складывать в кучи. Весь остров испещрен этими черными, пустыми ульями. Сами же собиратели торфа ютятся в убогих домишках, которые едва ли не меньше торфяных курганов. Чумазные детишки – мал мала меньше – возятся в грязи во дворах. Постепенно унылые торфяные болота сменяются зелеными лужайками и садами. Колпачок при всем своем предубеждении невольно восхищается великолепными парками, лабиринтами из сочной зелени и искусственными озерами.

– Дворец правительства, – объявляет канцлер Лено, указывая на помпезно-претенциозные хоромы в дорическом стиле, все из перистилей и архитравов, вероятно, от слова травить.

Внутри дворец так же вычурен и помпезен, как и снаружи: на взгляд Колпачка, там присутствует явный избыток плюша и канделябров, но его мнения никто не спрашивает.

И вот мы входим в банкетный зал, где король и его советники сидят погруженные в размышления, склонившись над листами пергамента. Канцлер Лено откашливается, прочищая горло. Король всхрапывает во сне. Лено подходит ближе и что-то шепчет Коммодусу в ухо; тот резко вскакивает со стула.

– Добро пожаловать! – вопит он во весь голос, будя своим криком советников. – Вы непременно должны со мной отобедать! Гости к нам заезжают нечасто! – Впрочем, все это сказано только из вежливости. За обедом король говорит не умолкая, с набитым ртом – набитым, кстати сказать, свежими устрицами, фаршированным лебедем и золотистым печеньем.

– Батюшка мой приехал на Талоп, когда его выпер... когда он с отличием окончил

Платоновскую Академию во Флоренции. Из чисто эпистемологического [26] интереса он покори́л островитян и основал королевство. Теперь у каждого есть своя функция, сиречь строго определенный круг деятельности, и каждый знает свое место. И я в том числе.

Колпачок, который давно уже перестал вникать в речи Коммодуса, украдкой разглядывает своих сотрапезников. Все они представляют собой вариации на тему Лено (который, как выяснилось, приходится троюродным братом королю): мудрые, может быть, даже чуть-чуть не от мира сего, но при этом изнывающие от скуки.

...народ есть продолжение своего короля, только на более низком и слабом уровне множественности. Они меня любят, ибо все вещи в природе стремятся к единству, к высшему единству со своим источником...

Белкула уже наелась, и ее явно клонит ко сну.

...люди имеют лишь смутное представление о вечной и абсолютной Форме Справедливости. Поэтому в большинстве государств правосудие несовершенно. Но я, будучи светочем добродетели и чистоты и постигнув суть вечности, хорошо представляю себе, что есть *совершенная* справедливость. Без ложной скромности могу назвать себя знатоком во всем, что касается управления при отсутствии законов.

– То есть, – вырывается у Колпачка, – те люди, которых сбросили со скалы, они не нарушили никаких законов? Они просто вам *не понравились*?!

Собравшиеся за столом Лено в напряжении замирают над чашами для омовения пальцев.

– Он имеет в виду, ваше величество, что ему не совсем понятна ваша мудрая политика в области литературы.

– Спасибо, господин канцлер, – говорит Коммодус. – Позвольте, я объясню. Всякое искусство есть отдаление от реальности, правильно? Но *реальность* есть отдаление от *истины*, то есть от мира Форм, доступного здесь только мне. Искусство развращает душу, потому что оно уводит от правды, преувеличивает и клеветает, заставляет нас чувствовать *недовольство* собой и жизнью. Это были поэты, те трое, которых мы сбросили со скалы. Для их же блага.

Сладкий крем встает Колпачку поперек горла.

– Первый, тот еще рифмоплет, писал сонеты. Кошмарные, надо заметить, сонеты: нудные и тоскливые. Второй, который, как мне доложили, обосрался прямо в падении, писал любовную лирику. Последним был Олимпиодор, так называемый поэт-сатирик. В том смысле, что он *высмеивал* всех и вся. В рифмованных куплетах. (Короля аж передергивает при одном только воспоминании.) В конце с ним вышел большой скандал, поднялась шумиха и все такое. С ними, с поэтами, так всегда. Что имеют – не ценят, подавай им все и сразу.

Просвещенный подобным образом, Колпачок понимает, что надо бы прикусить язык. И все же к концу обеда он решается поднять вопрос о судьбе Хильдегард ван Тошнила.

– Может, когда-то давно вы ее приняли в вашем гостеприимном краю? Видите ли, в чем дело, ваше величество, эта дама, о которой я спрашиваю, мать моей госпожи.

Коммодус что-то бессвязно бормочет и иступленно целует скатерть. За него отвечает Лено:

– Госпожа аббатиса, – говорит он, – посетила наш остров однажды. Вверенный ей монастырь расположен на острове Далборг, всего в нескольких милях к северу.

– Аббатиса, вы говорите?

– Да, аббатиса Хильдегард.

– БОЖЕ ПРАВЫЙ!

Белкула прижимает руку к груди, стараясь унять бешеное сердцебиение. Однако король, по всему судя, уже оправился от своего кратковременного припадка. Он и не знал,

26 Эпистемология – раздел философии, изучающий теорию познания. – Примеч. пер.

что у аббатисы есть *дочь*. И *такая* дочь. Как *интересно*. Он щелкает пальцами, призывая рабов, чтобы те убрали со стола. Советники поднимаются и выходят. Канцлер берет Колпачка под локоток и очень настойчиво сопровождает его в уютную, даже можно сказать, роскошную тюрьму – оставив Белкулу одну с Коммодусом.

Присвистывая ноздрями и как-то странно согнувшись в поясе, Король-Философ излагает свою доктрину индифферентной Белкуле, олицетворяющей в данном случае безучастную ко всему Красоту:

– Материя, сиречь начало телесное, моя дорогая, есть корень всех зол. (А в смысле телесном природа вас не обделила.) Для людей моего склада основное стремление в жизни – избегать интересов житейских и низменных и упражнять ум в созерцании. (Не хотите примерить этот комплект кружевного белья? Я сам придумал фасон.) Путем очищения... – Он отдувается и таращит глаза, сосредоточенно шаря рукой под своей горностаевой мантией. – ...путем очищения человек достигает... во всяком случае, приближается к достижению... высот Божественного Разума И ЭКСТАТИЧЕСКОГО... СОЮЗА...С СОБО-О-ОЙ!

Белкула смотрит на маленького человечка, который истово мастурбирует у ее ног. Он стонет и хрюкает, а она размышляет о том, куда подевался Колпачок. Надо его разыскать. Она встает и выходит из зала, и как только она выходит, в зал устремляется целое стадо подхалимов-придворных. Они знают свой долг перед своим королем; но, к несчастью, они не настолько тупы, чтобы не признать рукоблуда, когда таковой попадется им на глаза. В общем, скандал приключился нешуточный. Возмущенные крики несутся по коридорам вдогонку Белкуле. И вот, наконец, она слышит пронзительный визг своего слабосильного друга и спутника, находит темницу, где его заперли, и вызволяет его оттуда.

– Это какой-то дурдом, – объявляет Колпачок, когда они с Белкулой, рука об руку, покидают дворец, и роскошные парки на подступах ко дворцу, и торфяные болота, и потайную песчаную бухту, куда надо спускаться по лестнице, вырубленной в скале. – На Далборг? – выдыхает Колпачок между двумя гребками на краденых веслах на краденной лодке.

– На Далборг, к маме! Видите? Что я вам говорила?!

Конец третьей книги

Книга четвертая

О Далборгском аббатстве и материнской любви

Хмуря брови, строгая аббатиса Хильдегард пристально изучает новую соискательницу. Ее кое-что беспокоит в этой девушке. Слишком много в ее глазах жадности, сладострастия – может ли такое быть? – порушенной добродетели. Немота, разумеется, не порок, но она намекает на тайные мысли, сокрытые в молчании.

– Она все понимает, – говорит ее опекун, – она очень сообразительная и способная.

– Вы отдадите себе отчет, что если мы ее примем, вы больше уже никогда не увидите вашу подопечную? У нас очень строгие правила на этот счет: мужчины не допускаются дальше сторожки, и только я выхожу за ворота.

– Я все понимаю. Собственно, я потому ее к вам и привез. Ибо желаю сберечь ее... ээ... невинность.

Белкула, одетая скромно и просто, изо всех сил пытается себя сдерживать. Все утро она провела, упражняясь под руководством Колпачка в искусстве скромного, кроткого поведения, каковое пристало невинной девице. Но сейчас, когда она видит мать, ее сердце готово взорваться. Вся дрожа от волнения, она входит на территорию аббатства, где

печально и сумрачно, и слепые гранитные стены, и все тускло и серо, и вместо сада – унылая топь. Серое море, и серое небо, и серый суглинок под ногами, однако внутри Белкула вся сияет. Потому что это пейзаж ее мамы, родной и привычный ее глазам. Она искренне не понимает, к чему весь этот маскарад? Зачем Колпачок пускается на подобные ухищрения, когда можно все сделать открыто и прямо?

Аббатиса Хильдегард продолжает рассказывать о монастырской жизни, о здешнем укладе и распорядке. (У нас тут есть человек, кто знаком с этим не понаслышке.) Монашки встают в три часа утра и отправляются в церковь на всенощное бдение, после заутрени приходит черед *Lectio Divina*, чтения Священного Писания и молитвенных размышлений, после Лауд, Хвалений, монахини завтракают в трапезной. Разговоры за завтраком запрещены. Послушания и труды начинаются в восемь и прерываются лишь на молитву Шестого часа. В полдень – обед, который также проходит в молчании. После обеда – молитвы в уединении кельи, и снова труды и работы до Вечерни. За ужином также положено молчать. После ужина – молитва перед сном и сон. Сестры Бессрочного Самоотречения, объясняет она, приносят обет Смирения – они забывают о себе и полностью отдают себя Господу, что находит конкретное выражение в безоговорочном послушании их аббатисе, Хильдегард. Вступив в монастырь, Белкула останется там навсегда. Монахини занимаются земледелием и производством Далборгского ликера – самого дурманного из всех пьяных напитков, – от употребления которого им надлежит воздерживаться, ибо в жизни монахини есть только три удовольствия: молитва, покаяние и смирение.

Колпачок наблюдает за этой строгой и неприступной дамой и дивится про себя тому, как за прошедшие двадцать лет она подавила в себе все физические инстинкты. Ее сердце молчит, хотя должно было ей подсказать, что перед ней – ее дочь, плоть от плоти ее. Даже когда аббатиса осматривает Белкулу, мнет и щупает, словно какой-нибудь овощ на рынке, она глуха к голосу крови.

– Как вы нас разыскали? – спрашивает аббатиса. (Ибо в последнее время, а именно с той поры, как Хильдегард приняла на себя руководство аббатством, очень немногие приезжали сюда, чтобы вступить в их орден; однако же Хильдегард умело скрывает свою подозрительность и слушает объяснения Колпачка с непроницаемым видом, и только когда Колпачок начинает превозносить добродетели и достоинства короля Коммодуса, она позволяет себе фыркнуть.) – Культурный человек?! Философ?! Этот гомункулус, господин хороший, извращенец и педераст. Мой визит к ним на остров происходил исключительно из уважения к соседям, которые также являются деловыми партнерами – мы продаем наш ликер по торговым путям через Северное море. Однако же это... похотливое... *животное* (не знаю, стоит ли говорить об этом, поскольку речь пойдет о вещах отвратительных и богохульных) осмелилось обратиться ко мне – ко мне, монахине и девственнице! – с предложением (прости, Господи) непристойного, *плотского* свойства.

Колпачок несколько не удивлен, хотя, глядя на аббатису, трудно представить, что кто-то мог обратиться к ней с предложением «непристойного свойства»; его также не удивляет, что у Короля-Философа есть гарем и коллекция гермафродитов. Однако же он замечает не без интереса, что аббатиса как-то уж слишком усердно и рьяно обличает Коммодуса. Как говорится, с пеной у рта. Хотя с чего бы ей так распаляться? Хильдегард, видимо, понимает, что в запалехватила лишку, поэтому обрывает себя на полуслове и прижимает Белкулу к груди. Добро пожаловать к нам в общину.

– Но прежде чем ты принесешь обеты, дитя мое, открой предо мной свою душу, ибо у тебя не должно быть секретов от своей аббатисы.

И вот настает Момент Истины. Мировая история знает немало примеров трагических откровений, неожиданных разоблачений и воссоединений детей и родителей, разлученных и потерявших друг друга из виду – что тут можно добавить еще, чтобы душа у вас затрепетала, а на глаза навернулись слезы? Колпачок и Белкула признаются в своем притворстве. Аббатиса Хильдегард, задыхаясь под градом слов и поцелуев, быстро справляется с потрясением и все отрицает. Заикаясь на каждом слове, она защищает свое целомудрие, не

желая признать очевидное. Но где-то среди этих жарких протестов ей вспоминается та канава в снегу – и она явственно слышит истошные вопли младенца. Ее сердце сжимается в тугой комок, руки тянутся обнять дочь, но суровая аббатиса все-таки побеждает в ней нежную мать.

– Я посвятила себя Господу, – говорит она. – То, что было до Далборга, все забыто. Этого не было. Признать в тебе свою дочь? Это решительно невозможно. Ты – либо бесовское наваждение, посланное мне в искушение, либо безвкусная шутка талопского нечестивца. Умоляю тебя, УХОДИ!

Она скрывается за воротами монастыря, оставив наших друзей в растерянности и смятении под дождем.

Очередная глава, в которой, кажется, все потеряно, и скорее всего так и есть

Белкула с Колпачком сидят в хижине свинопаса, на самой окраине острова. Оба продрогли, промокли до нитки, у обоих на сердце – камень. Колпачок, как может, пытается успокоить свою подругу, но она безутешна. Слезы текут в три ручья. Если бы Колпачок мог предвидеть, что самое худшее еще впереди, он бы немедленно увез Белкулу с Далборга, чтобы избавить себя от лишнего беспокойства.

Ибо Безумная Грета – пока мы рыдали в печали – все-таки нас догнала. Прошла по морю, как буря, оставляя за собой дымящиеся руины. Гедон пал первым, за ним – Тощей со Скеллетом. Талоп, единственный из четырех островов, пытался сопротивляться; но пифагорейские механизмы не смогли выстоять против алчности Греты, так что свергнутый король Коммодус горюет теперь над утерянным достоянием, сиречь своим детородным достоинством, каковое Безумная Грета отхватила зубами напрочь и скушала без гарнира. Бывшие советники бывшего короля, все эти чванливые честолюбивые Лено, роются в мусоре на руинах дворца, враз позабыв о своей философии.

Вот он, решающий момент, которого вы так ждали. Пиратский корабль Безумной Греты – его черные паруса подобны крыльям зловещей летучей мыши – с разгону подходит к «Барышу». Абордажные крюки, словно длинные пальцы, вонзаются в борт. Разъяренные домохозяйки из воинства Греты похожи на бешеных ведьм. Они занимают «Барыш» за считанные секунды. Голландская кровь и датские мозги раскрасили палубу в красный и серый. Первый помощник даже перед лицом неминуемой смерти помнит о тех, кто на берегу, и пытается подать им сигнал, но Безумная Грета настигает его до того, как он успевает ударить в колокол, и перерубает ему хребет мощным ударом меча. Когда же становится ясно, что на палубе среди досок и щепок Белкулы нет, пиратки спускаются в трюм. Часть остается на палубе ворошить трупы и собирать добычу. Все, что имеет хотя бы какую-то ценность, немедленно отправляется в карманы передников.

С капера спускают весельные лодки. Безумная Грета стоит прямая, как палка, на носу первой лодки из этой армады, плывущей к берегу. У нее за спиной верный «Барыш» идет ко дну. Ветер запутался в раздутых парусах. И вот уже из морской пены торчит только нос корабля, подобный клюву гигантской птицы, но вскоре пучина заглатывает и его.

А теперь, господа хорошие, пожалуйста вместе со мной (образно выражаясь) в толпу ражих женщин из армии Безумной Греты. Они идут плотной толпой, сметая все на своем пути: жуки и букашки, ящерицы и птицы – все втоптано в грязь.

Но смотрите (только поберегитесь!): ноздри у Греты раздулись. След взят. Она швыряет свою корзину и бежит сломя голову – бежит, как какой-нибудь древний кошмарный ящер, который есть оскорбление Творцу и Творению.

В хижине свинопаса на дальней окраине острова Белкула вдруг прекращает лить слезы. Как ее мать-кабаниха когда-то давно, она чувствует опасность и слышит лай разъяренной своры.

– Не выходи туда! – умоляет Колпачок, тщетно пытаясь ее удержать. – Я не знаю, что там происходит, но нам в это лучше не ввязываться!

Но Белкула не слушает мудрых советов, она бежит к северному утесу, откуда ей хорошо видна армия, осадившая остров. В первый раз видит Белкула врага: эту черную тень, что простиралась над нашим рассказом уже столько времени. Страшное зрелище, тошнотворное – как нашествие паразитов, заражающих все вокруг. Далборгскому аббатству не устоять перед этим натиском. Перепуганные монашки выстроились на стене, их усердные молитвы к Всевышнему почти заглушают рев Греты, читающей ультиматум:

– Вы должны сдать мне девицу Белкулу, каковая Белкула является собственностью моего нанимателя. Будете защищать ее – все умрете, отдадите добром – останетесь живы.

И это отнюдь не пустая угроза. Женщины Греты уже осаждают стены монастыря со штопальными иглами вместо крюков. Белкула на вершине утеса подносит ко рту сложенные ладони. И прежде чем Колпачок успевает ее остановить, она кричит...

О том, к чему приводит желание любой ценой соблюсти благопристойность

Каждый рассказ – как стеклянный колокольчик, оброненный на камни. Он заключает в себе целый мир, а что происходит снаружи – того мы не знаем. Планеты кружатся, истории начинаются и заканчиваются, но мы этого не замечаем; много чего происходит без нашего непосредственного участия, и если мы этого не видим – или не хотим видеть, – вовсе не значит, что этого не было или не будет. Так что давайте на время покинем Далборг, ибо мы с вами совсем забыли о людях, оставшихся дома.

Для Питера Сивухи и Освольта ван Тошнилы настали не лучшие времена, ибо слухи об их чудовищной сделке распространились по всей округе; жертвы безумства Безумной Греты из разоренных деревень и даже из самого Патерсхола идут решительным маршем на юг, дабы призвать виновных к ответу.

Питер Сивуха просыпается от громких криков. Он бросается к окну, даже не сняв ночной колпак. Дом сотрясается так, что со стен сыплется штукатурка. Пылинки пляшут в косых лучах солнца.

– Господи Боже, спаси меня!

Охваченный паникой, он лихорадочно роется в сундуке у себя в кабинете, но там нет ни оружия, ни денег на подкуп – только толстая пачка картинок весьма непотребного свойства. Даже не взглянув на прощание на изображения своей невесты (приобретенные у бродячих торговцев), он пихает их в печку. Так его и находят – с голым задом, склонившимся перед топкой, где еле тлеет огонь. Он брыкается и истошно вопит, но его хватают под белы ручки и выводят во двор.

А другая толпа, числом в несколько сотен, осаждают тем временем дом ван Тошнилы. Сразу же осознав всю серьезность своего незавидного положения, престарелый купец времени даром не тратит. Схватив золото и драгоценности, он поднимает ковер, под которым скрыт люк. Этот потайной ход открывается весьма хитроумным приспособлением: чтобы его открыть, надо дернуть за член мраморного херувима. Но едва он берется за эту штукину, толпа разъяренных мстителей врывается в комнату и застаёт почтенного торговца в такой интересной позе. Купец даже не успевает крикнуть. Но, вкусив первой крови, толпа жаждет еще: даже ни в чем не повинные поварята и слуги падают жертвами ее неумной ярости. Дом ван Тошнилы разграблен: не осталось ни золота, ни дорогой итальянской мебели, ни роскошных ковров – все забрали мятежники в качестве компенсации.

В доме Питера Сивухи пожить особенно нечем. Он жил экономно и скромно; из слуг была только кухарка – старая карга, которая умерла от испуга, прежде чем к ней подступились с намерениями позабавиться всласть. Так что ярость толпы переключилась на книги. Никчемные горы бумаги: бесценные рукописи просветительского содержания, первые издания с авторскими исправлениями, редкие книги из Константинополя – все было разорвано в клочья. Несколько книг толпа унесла с собой, решив, что им можно найти

применение. «Этика» Аристотеля, например, пошла на растопку, Эпикур пригодился, чтобы им подтираться, а Платон – яблоки заворачивать.

Я употребила здесь время прошедшее, потому что все быстро закончилось – буквально за считанные секунды Питера Сивуху и деда Белкулы выволокли на улицу и повесили на ветвях дуба. Так они и висели, стучаясь головами и таращась друг на друга мертвыми выпученными глазами. Потом налетел сильный ветер, и выпуклое брюхо Освольта врезалось во впалый живот Питера. Трупы как будто дрались, выясняя, кто виноват больше, а толпа, учинившая самосуд, замороженно наблюдала за ними.

Глава, в которой мы достигаем наивысшей точки, сиречь кульминации (не путать с оргазмом)

– Идите сюда! Я здесь!

Колпачок хватается Белкулу за ноги, уткнувшись лицом в землю, где бы он спрятался, если бы мог, в темноте – чтобы только не видеть такого безумного героизма. Белкула пытается прыгать на месте, привлекая внимание Безумной Греты. Она вся извивается, как червяк на крючке рыболова. Она трясет головой, распустив свои роскошные косы. И она добивается своего! Представьте стаю ворон, что слетелись попировать на костях. Бросьте им свежего мяса и посмотрите, что будет. Безумная Грета, охваченная жаждой денег, шипит, как змея, и взбирается на эскарп.

– Святой Боже, – молится Колпачок, – давай заключим сделку. Ты явишь чудо, а я поверю, что Ты существуешь.

Громовой голос Безумной Греты перекрывает истовые молитвы монашек:

– Развернуть сеть! Поймаем ее, как жаворонка, и уж подрежем ей крылышки.

Безумные бабы из войска Безумной Греты проворно разворачивают сеть, утяжеленную по краям грузилами. Они подступают к Белкуле. Бежать ей некуда. Ввиду грозящего плена она поднимает с земли Колпачка и целует его в быстро-быстро моргающие глаза. Ее дыхание – горячее, сладкое, чувственное. Потом она аккуратно кладет его на траву, нагибается и задирает юбку, явив врагу голую задницу, нежную, будто персик. Подобное оскорбление – тем более неожиданное, если учесть обстоятельства, – смущает Гретиных женщин, чей боевой дух как-то разом поник. И только страх перед яростью предводительницы подгоняет их вперед.

И вдруг – слишком проворно и быстро, чтобы кто-нибудь смог вмешаться, – Белкула оправляет юбку и бросается вниз со скалы. Она падает молча и, даже ударившись о поверхность воды, не издает ни звука. Молитвы монахинь обращаются скорбным воем, трижды по два десятка голосов надрываются от отчаяния.

Добыча вновь ускользает, и разъяренная Грета ничтоже сумняшеся шагает в пропасть. Она своего не упустит. Ее оголтелое воинство отправляется следом за ней: жалобно бляя и изрыгая проклятия, женщины бросаются вниз со скалы. Все как одна.

(Относительно данного феномена Аристотель писал в томе 12 своей «Истории животных», что кавказский волчий сурок – самый свирепый и самый жестокий из грызунов – в погоне за добычей может броситься сломя голову вниз с обрыва и разбиться о камни насмерть. Каждому ясно, что, подобно василискам и единорогам, кавказские волчьи сурки давно вымерли, пали жертвой своего безоглядного аппетита. То же самое верно и для Безумной Греты, дурная слава которой пережила ее самое. Мораль в данном случае очевидна.)

И что у нас остается, любезные господа? Колпачок, застывший на четвереньках у края обрыва. В скорби и восхищении глядит он на пену прибоя далеко-далеко внизу. Равнодушное море поглотило обильное угощение, оставаясь спокойным и безучастным. На поверхности плавают только несколько лоскутов материи да оловянное блюдо – вот все, что осталось от нашей Белкулы и ее рьяных преследовательниц.

Колпачок все еще смотрит на море, почти замороженный пережитым потрясением, когда аббатиса Хильдегард подходит к нему и тихонько садится рядом. Она кладет руку ему на плечо (сие утешение нужно не Колпачку, оно нужно самой аббатисе). И Колпачок наблюдает – равнодушный, как море, – за толчеей черно-белых монахинь, что читают молитвы над синей водой.

Как Колпачок вновь обретает мужскую силу

Будучи мужчиной, хоть и недееспособным по мужскому делу, а стало быть, номинально – персоной *pop grata*, Колпачок все-таки получает доступ – в порядке исключения – в Далборгское аббатство. Четыре крепкие монашки несут его на руках, ибо он обессилел от горя, и укладывают в постель в строгой белой келье. Ему приносят воды и открывают окно (редкая роскошь), чтобы впустить свежий воздух.

День клонится к вечеру. Колпачок лежит – одинокий, заброшенный и несчастный – в постели, глядя в белый потолок, и тут к нему в келью входит аббатиса. Погруженный в свою печаль, он не видит, что ее раздирают самые противоречивые чувства: основа для скорой метаморфозы.

– Расскажи мне, какая она была, – просит Хильдегард. – Она пожертвовала собой, чтобы спасти других. Должно быть, она святая.

Колпачок не находит в себе сил для ответа. Долго и пристально аббатиса глядит на его изможденное, осунувшееся лицо; но он как будто не чувствует ее взгляда.

– Завтра мы все помолимся за нее, – говорит она и тихонько выходит.

Чуть позже, где-то на крестном пути своего неизбежного горя, Колпачок вдруг замечает, что пространство вокруг наполняется неземным светом. Свет исходит не из окна (в окне по-прежнему – ночь и темень), не от лампы и не от свечи. Колпачок приподнимается, опираясь на локти, и видит – причем безо всякого удивления – в изножье кровати нагую Белкулу. Ее роскошное щедрое тело излучает сияние, подобное солнечной короне во время затмения. Колпачок смотрит на ее лицо, на котором читается неземное блаженство. Ее глаза, словно глубокие омуты, манят, не отпускают, затягивают. Колпачок смотрит, не в силах отвести взгляд. Смотрит ей прямо в глаза. Но при этом он чувствует ее тело: тяжелые груди, соски, что подобны бутонам роз, мягкий и теплый живот с его волнами и лабиринтами. Белкула опускает глаза, отпуская взгляд Колпачка. Теперь он может смотреть на нее на всю. С жадностью он пожирает глазами ее плодородные бедра, пышные заросли шелковистых волос внизу живота и влажные складки розовой плоти – средоточие ее женского естества. Белкула взбирается на постель и садится к Колпачку на колени. Безо всякого удивления (ибо во сне нет ничего невозможного) он ощущает, как кровь приливает к его детородному члену. Белкула берет его в руки и легонько дует на головку – и орган его восстает во всей мощи. Белкула ложится на Колпачка сверху, и они пылко целуются, смешивая слюну. Потом Белкула изящно приподнимается и садится на Колпачка верхом, запустив прохладные пальцы в седеющие завитки волос у него на груди. Он мнет и ласкает ей грудь. О! Какое у нее лицо! В ее взгляде – тревога и радость, ибо настал долгожданный миг. Они соединились в любовных объятиях. И оба после бесчисленных «Почти» обрели наконец Идеальную Пару. Кажется, их соитие длится вечно. Там, снаружи, сменяются времена года, проходят века и эпохи, но наши влюбленные заняты только друг другом, и вот наконец они оба и вместе достигают вершин наслаждения и извергаются, как два вулкана. Белкула слизывает слезы со щек Колпачка, и он просыпается.

Он лежит, сотрясаясь в ознобе, в пустой белой келье, а за окном уже брезжит рассвет. Он пытается успокоиться, привести в порядок смятенные мысли, и вдруг с изумлением видит большой возбужденный член. (Свой собственный, я имею в виду.) Вот злая ирония судьбы! Он вновь обретает мужскую силу, но почему так не вовремя?! Белкула – эта стихия плоти – мертва; весь Далборг в трауре; а у Колпачка после двадцати лет полного полового

бессилия случился могучий стояк. Радость борется в нем с тоской. И возбуждение никак не проходит. Он опускает член в чашу с водой, чтобы немного его остудить. Бесполезно. Он прижимает его к холодной металлической задвижке на двери, как это бывает, когда пытаешься унять зуд от блошиных укусов – если кто-то из вас, мужиков, это пробовал. Снаружи звонят монастырские колокола. Под окном раздаются шаги монашек. Не в силах противиться гласу природы, Нуллифидус (будем снова его называть этим именем, которое он выбрал сам) вылезает в окно и являет испуганной и потрясенной публике непогрешимое доказательство чуда.

Когда аббатиса подходит, чтобы узнать, в чем дело, вокруг Нуллифидуса уже собралась небольшая толпа. Всем интересно послушать его историю. О том, как Белкула, явившись ему в видении, вдохнула новую жизнь в его вялые чресла. Белкула Поднявшая Член, Белкула Дарящая Жизнь. Аббатиса Хильдегард – слегка ошалевшая после бессонной ночи, каковую она провела, разбираясь в себе и своей душе, – не стыдит обнажившегося бесстыдника за непотребное поведение. Напротив: то, что случилось с этим человеком, лишний раз подтверждает для Хильдегард, что ее дочь была щедрой и доброй натурой. Преображение завершается. Хильдегард рвет на себе целомудренное монашеское одеяние и подставляет голую грудь ветру.

Так начинается радикальное переустройство Далборгского монастыря, о котором я расскажу вам вкратце, если вам хватит терпения дослушать еще главу, теперь уже точно последнюю.

Глава последняя, завершающая. Об аббатстве Евдокия, его харизме и служении

Теперь монастырь называется Евдокия, что значит Благоволение: место, где каждый желающий обретет бесконечное удовольствие и встретит радушный прием.

Первым делом Хильдегард отменяет обет молчания. В результате чего монастырь заливают неудержимым потоком слов – чувств, мыслей и песен. Нуллифидус лишь диву дается: Белкула, которая за всю свою жизнь произнесла едва ли десяток слов, в смерти стала причиной такой необузданной болтовни. Вооружившись своим красноречием, далборгские миссионерки отправляются на большую землю. В ожидании их возвращения (в сопровождении новообращенных мужского пола) в кельях спешно прорубают окна. Монашки сносят глухую стену, окружавшую монастырь. Все часы отправляются на помойку, их тикающей тирании пришел конец; поскольку тело – само себе хронометр. Питание тоже подвергается самому радикальному пересмотру, и за основу берется следующий постулат: хорошая пища возбуждает аппетит. Что же касается мебелировки, евдокийки отнюдь не стремятся к роскошествам и излишества. Всякая вещь должна отвечать своему назначению, а человеку должно быть удобно – вот их девиз. И только постели в обители воистину роскошны: ароматное белье, хрустящие чистые простыни, мягкие пуховые подушки.

На протяжении долгих веков внутри этих стен не было ни единого зеркала, зато теперь все сверкает венецианским стеклом, а некоторые из монашек даже устроили у себя в кельях зеркальные потолки.

Свобода и вольность укореняются в монастыре. Монашки больше не ходят в унылых и строгих одеждах, они одеваются так, как им нравится – для своего удовольствия. Платы и власяницы сменяются шелковыми чулками, платьями из парчи и кружевными нижними юбками. На острове нет жестких утягивающих корсетов – тело должно дышать и развиваться, как щенок на лужайке.

Проходит две-три недели, и на острове появляются первые мужчины, которым не терпится вкушать радостей, обещанных новыми установлениями. На воротах обители видят они девиз:

FAY QUI VOULDRAS,

что значит: «Делай с кем хочешь». [27] Автор сей знаменательной фразы, Нуллифидус, представляет друг другу мужчин и женщин. Ни сам Нуллифидус, ни аббатиса никогда не бранят Сестер Бессрочной Готовности, не укоряют их и не лезут с советами – разве что иной раз поощряют их собственным пылким примером. Теперь в обители нет запретов. Запрещен только законный брак, ибо брак есть призыв к обузданию телесных желаний и отрицание беспорядочных связей. В языке Евдокии нет слов типа «необходимость» и «долг». Вожделение, в конце концов, не нуждается в оправданиях.

В память о Белкуле Нуллифидус разбивает в стенах обители сад наслаждений. При входе в сад стоит мраморная табличка с высеченной на ней надписью:

**Аббатство Евдокия.
Мы примем всех:
Великих и малых.
Здесь рады каждому гостю.
Проходи, путник,
И вкуси радость.**

Существует еще одна версия этой истории, в которой Безумная Грета все-таки добивается своего. И еще третья: в которой Белкула спасается во чреве китовом, и кит выплевывает ее у берегов Атлантиды. Но мы закончим на том же, на чем начинали – на том, как Хильдегард подставляет голую задницу (каковая за прошедшие годы весьма раздалась в ширину и малость подвяла) своему пылкому любовнику. Нуллифидус, пристраиваясь к возлюбленной, по-прежнему ни во что не верит; просто теперь он хранит это в секрете, дабы не навредить своему счастью.

На этом я завершаю бесстыдное житие Белкулы Болерхкс, и да благословит ее Господь.

Explicit liber impudicus

Пролог монашки

Какое-то время слушатели сидят молча, и только монашка, уже давно неспособная испытывать возбуждение определенного свойства, высказывает свое мнение.

Монашка: Ложь и выдумки! Это доказанный факт, что толстые женщины, предающиеся распутству, особо подвержены дурным болезням. А если кому-то и удастся избежать болезни, ее ждет судьба еще хуже: смерть от родов или вечный позор, каковой падает на блудодейку с ребенком без мужа.

Шут (*украдкой балуясь со своим игрунчиком*): Но, матушка, разве Невесты Христовы не практикуют бигамию ежедневно?

Монашка: Люди, которым неведомы страсти, избраны Господом, дабы пребывать в общении с Ним в глухие ночные часы. Жизнь без плотской любви – жизнь во всех отношениях достойная и желанная. Адам и Ева в саду Эдема не нуждались в подобных забавах.

²⁷ Аббатство Евдокия представляет собой пародию на Телемскую обитель из «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. Девиз этой обители был: FAY CE QUE VOULDRAS – «Делай что хочешь». – Примеч. пер.

(Певцы-горлопаны: *Человек ни печали, ни горя не знал/Пока Адам на Еву не упал!*)

Монашка: От страстей перегревается мозг, они также вредно влияют на тело; а то, что плохо для тела, плохо и для души. Отдайся похоти, и Смерть настигнет тебя в ночи – придет, сверкая очами.

Певцы-горлопаны: Рыча, аки пес.

Монах: Тявкая, аки лисица.

Пьяная баба: Если Смерть – безобразный урод, я убью себя раньше, чем он придет за мной. Я хочу, чтобы он был молодым и красивым, с горячими сильными руками.

Монашка: Вот так прямо возьмешь и убьешься?

Пьяная баба: И чтобы он обнял меня и держал бы в объятиях, пока я не умру в экстазе.

Монашка: Ты отдалась бы Жнецу, будь он хорош собой?

Пьяная баба: При условии, что у него все зубы на месте.

Монашка: Женщина, подумай о душе! Подумай серьезно. И пусть мой рассказ станет ответом на твой.

Рассказ монашки

Ранняя осень, пора сенокоса, год 1337-й от Рождества Христова. Если смотреть с самой вершины холма за деревней, то дома внизу так и искрятся на солнце, как глазурированные караваи. Крестьяне трудятся в поте лица на полях. Работают все, кроме больных и увечных: косят траву, собирают ее в скирды, грузят граблями на повозки. Ибо добрая мать-Природа пока еще радуется трудолюбивых детей своих наливными плодами, но уже скоро листья опадут с деревьев, и все, что растет на земле, увянет, и Зима явит миру свой вдовый лик.

И вот в какой-то из дней того года, о котором у нас идет речь, одна красивая полногрудая девушка отходит в сторонку от своих подруг. Ее имя – Агнесс. Прикрывая ладонью глаза, она смотрит на запад, где солнце клонится к закату. Каждый час прерывает она работу и смотрит вдаль, а Вильгельм, мельничий сын, украдкой поглядывает на нее, когда у него выдается такая возможность. Чего она ищет там пристальным взглядом, в далеких синих холмах? Может, мечту о Великой Любви и Возвышенном Приключении, которое перевернет ее жизнь? Мужчины и парни постарше подтрунивают над задумчивостью Вильгельма, и он краснеет, и трясет головой, отгоняя все лишние мысли, словно докучливых мух.

– Ты бы с ней объяснился, что ли, – говорит мельник. И вправду сына пора женить. – Тоскливыми взглядами-вздохами женщину не завоеешь, не важно, сколь глубоки твои чувства.

Понятно, что, будучи юным и пылким, Вильгельм так себя распалил, что его чувство к девице обернулось всепожирающей страстью, каковая сродни лихорадке. С каждым днем эта хворь, что поэты зовут Купидоновой отравой, становится только хуже, но парень по-прежнему не находит в себе решимости, чтобы открыться предмету своей любви. Она для него как святая, подступиться к которой – немыслимое святотатство. Он не надеется на исцеление.

Агнесс тоже снедает тоска; родные и близкие это видят и не на шутку тревожатся за девицу. Уже не один месяц она живет в своем воображаемом мире, а с родными общается лишь за столом и во время молитвы. Она выполняет работу по дому и в поле, но все валится у нее из рук. Ее мысли витают где-то далеко – словно перышко на ветру. Агнесс ничего вокруг не замечает. Деревенские парни – как облака в небе ее безучастных глаз.

Оба, Агнесс и Вильгельм, живут как во сне. И вот однажды под вечер, когда дым от горящих полей стоит над деревьями серым клубящимся маревом, они оба заходят в лес, и случайно встречаются, и в первый раз заговаривают друг с другом. Представьте себе, как обрадовался Вильгельм, когда Агнесс заговорила с ним (про погоду, про урожай) на человеческом языке, на самом обыкновенном немецком. Ему даже почудилось, что когда их взгляды встретились, она зарделась. Какой восторг: встретить богиню и вдруг понять, что

она доступна! Они прощаются на мосту, и Вильгельм желает Агнесс спокойной ночи. Теперь он твердо решил к ней посвататься.

Но осень проходит, приходит зима, и первый снег покрывает землю, а их отношения не продвигаются дальше неловкой и скованной дружбы.

– Не надо меня любить, – умоляет Агнесс. – Мы с тобой брат и сестра в устремлениях, но я не могу ответить взаимностью на твою любовь.

И вот однажды, морозным декабрьским утром, Агнесс исчезает. Вся деревня выходит на поиски, ибо положено так по людским законам: в тяжкие времена и лихую годину все помогают друг другу. Мужчины прочесывают рыболовной сетью ручей за деревней, частично скованный льдом, но ничего не находят. Они ищут в лесу, но тщетно. Вильгельм болен от страха. Каждую ночь ему снятся кошмары: от голодных волков до разбойников. Он убивается по Агнесс, словно был ей законным мужем. Горе его неизменно. Мельник смотрит на муки сына и сам безмерно страдает. Горе сковало сердца, словно лютый мороз; но оттепель все-таки наступает, она приходит внезапно и обдает жгучим жаром.

– Агнесс! Она жива! Это Агнесс!

Вильгельм просыпается, хватается за куртку и выбегает на улицу. Погожее ясное утро, воздух хрустит от мороза. Вся деревня собралась у дома Агнесс. Толпа колыхается, как молодые колосья под ветром: каждому хочется заглянуть в окно.

– Что там? – спрашивает Вильгельм. – Что случилось?

– Девушка вернулась, – отвечает кузнец. – Говорят, она бредит... одета по-летнему... в волосах – цветы.

Агнесс слышит голос Вильгельма и зовет его в дом. Толпа расступается, пропуская его к двери. Не толпа, а сплошные глаза. Вильгельм заходит в дом и видит родителей Агнесс, склонившихся над постелью дочери. Взгляд у Агнесс – жалобный и умоляющий, как у ребенка. Из-под лоскутного одеяла торчат ее голые ноги – обмороженные, распухшие, увитые увядшими маргаритками. В растрепанных волосах, разметавшихся по подушке, – россыпь засохших цветов. Розмарин, фиалки, анютины глазки.

– Милый друг, – говорит Агнесс. – Я вернулась из Лета обратно в Зиму. Где я была – что со мной приключилось, – наверное, ты не поверишь. Я шла вдоль ручья, хотела набрать рябины. Ты знаешь то место, где ее много. Я задумалась и сбилась с пути, а когда очнулась, вокруг был только дремучий лес. Уже вечерело. Я вдруг поняла, что ужасно замерзла, лицо щипало от холода, а платок порвался о колючки.

Я уже начала отчаиваться, но тут услышала, как скрипит снег под копытами, и предо мной предстал рыцарь, красивый и статный. Его доспехи из чистого серебра сверкали в снегу, словно лунный свет, а щит был весь белый. Он пришел, чтобы спасти меня.

Наверное, я заснула, потому что не помню, как он посадил меня на коня и привез к себе в замок. Я проснулась в большой каменной зале. В камине не было даже золы, как в разгар лета, но все равно было тепло.

Семь дней белый рыцарь за мной ухаживал. Он подарил мне красивое платье и принес эти цветы. Я пила нектар из *стеклянных* бокалов и думала, что останусь там навсегда. Да и с чего бы мне было стремиться уйти? Но сегодня, когда я проснулась... я вновь оказалась здесь... то есть там, у рябин, в лесу.

Разумеется, никто не поверил рассказу Агнесс. Люди, которые тяжким трудом добывают свой хлеб, не особенно жалуют праздных мечтателей. *Да она малахольная, заговорили в деревне. Девушка рассудком скорбна, юродивая, а то, может, и пьет втихомолку, вот ей и чудятся всякие давности.* Вильгельм ходит к Агнесс каждый день, но там его принимают отнюдь не радушно, а злословие селян обижает его и ранит. Словно червяк, поселившийся в яблоке, Вильгельма гложет любопытство, и вот терпеть больше невозможно: со всем слепым пылом страсти он решается восстановить доброе имя своей

возлюбленной.

Он идет в лес один, в самую чащу. Вырезает на стволах деревьев первую букву своего имени, надеясь потом отыскать обратную дорогу по этим меткам. Но сейчас его меньше всего заботит опасность заплутать. Ибо холод – суровый закон, и всякий должен ему покориться. Колючий снег бьет в лицо и слепит глаза. С деревьев свисают сосульки, острые, как иголки. Где-то во тьме слышится волчий вой. Но Вильгельм упрямо идет вперед. И мнится ему, будто в сумраке между стволами деревьев мелькает краешек юбки Агнесс, или ее босая нога, увитая гирляндой из живых цветов. Он предается мечтам: чувствует, как наяву, жаркое ее дыхание на своем заиндевавшем лице.

На третий день тщетных блужданий по мерзлому лесу, когда медный свет солнца пробивается сквозь сплетение голых ветвей, Вильгельм выбирается на поляну из колючих кустов ежевики, спотыкается о корягу и падает лицом в снег. Сперва он думает, будто нашел замок рыцаря. Но когда поднимает глаза, то видит не каменную цитадель, а всего-навсего хижину лесника, обветшалую развалюху. Вильгельм подходит к двери и стучится.

– Кто там? – не приветливо спрашивают его.

– Заблудившийся путник, – отвечает Вильгельм. – Хочу узнать, где я.

Изнутри доносится тяжкий вздох и шарканье ног по дощатому полу. Дверь приоткрывается, и в щелку высовывается копьё.

– Сейчас я скажу тебе, где ты, – говорит лесник. – Ты совсем не в том месте, где тебе следует быть, так что, мил-человек, уходи подобру-поздорову. Я знаю, что происходит в некоторых деревнях, знаю, что с ними будет.

Вильгельм отступает от двери, не желая связываться с сумасшедшим. Но уже у самых деревьев он оборачивается и все-таки спрашивает:

– А тут нет ли поблизости замка, где живет серебряный рыцарь с белым щитом? Такой большой каменный замок, где цветы цветут даже зимой?

– Только этого мне не хватало, – вздыхает лесник. – Ходят тут всякие полоумные.

Снег валит весь день напролет, беспросветно. Вильгельм весь дрожит. Насквозь промокшая куртка уже не греет. Тепла почти не осталось. Ни тепла, ни надежды. В лесу сгущаются сумерки. Вильгельм бредет по сугробам, понунив голову. Все его поиски были сплошным безрассудством: нет здесь никакого рыцаря, нет и никогда не было. Он погибнет зазя, заблудившись в этом запутанном лабиринте из колючих кустов и высоких стволов. Смерть совсем не пугает. Смерть – как сон, что несет избавление и покой. Как это будет приятно: просто лечь и уснуть в синих глубоких сугробах, рассыпаться снегом по белому полю сна. Вильгельм вздыхает и ложится на снег; он ждет смерти, как страстный любовник ждет возлюбленную на ложе.

Он приходит в себя оттого, что какой-то пес облизывает ему ухо. Он не кричит – лишь прикасается дрожащей рукой к холодной свалявшейся шерсти, к мокрому носу. Почувствовав внезапный прилив сил, Вильгельм встает и отряхнется от снега. Пес припадает к земле, словно зовет поиграть, громко лает и убегает куда-то в заросли. Вильгельм идет следом за ним, продираясь сквозь мертвые мерзлые ветки и увязая в сугробах. Но очень скоро сугробы кончаются, и он чувствует под ногами утоптаный снег – тропинку. Пес останавливается, оглядывается назад, словно проверяет, идет Вильгельм за ним или нет, и бежит дальше. Деревья неожиданно расступаются, как бы тают, растопленные надеждой. Вильгельм выходит из чащи на поле, за которым уже виднеется родная деревня.

В снегу на поле – проталины, как весной. С деревьев стекает вода, собираясь в лужицы у корней. Вильгельм дивится: откуда бы взяться внезапной оттепели, при таком-то морозе?! В деревне вообще нет снега, как будто сказочный великан согрел ее своим жарким дыханием.

– Чудо! – радостно восклицает Вильгельм и бежит что есть мочи в деревню, объятую чумовым мором.

Пришла беда. Самый страшный из всех кошмаров вырвался из мира снов и воплотился в яви. Вильгельм смотрит и не понимает, что происходит. Никто не пугает бродячих псов. Коровы и козы ходят по улицам без пригляда. Двери почти всех домов помечены белым крестом. На церковном дворе зияет глубокая яма, похожая на траншею.

– Сын мой, – шепчет местный священник, – уходи из деревни!

– Но я только вернулся.

– Господь наказал нас за наши грехи. Спасайся, ты должен спастись.

Опасаясь самого худшего, Вильгельм идет к дому Агнесс. Дверь заколочена досками, алый крест на двери – как приговор. Вильгельм стучит кулаками в забитую дверь, пока в окошке соседнего дома не появляется голова дряхлой старухи.

– Им уже оттуда не выйти, – говорит старуха. – Только девка сбежала.

– Сбежала?

– В лес. Вильгельм понуро бредет домой, но в сердце теплится надежда. Агнесс жива. Он это чувствует: она жива. Агнесс – его Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Мельник, отец Вильгельма, умер, и его уже похоронили. Дядя Вильгельма рыдает в дверях. Весь мокрый от пота и пьяный, он цепляется за племянника и не отпускает его от себя. Вильгельм, убитый горем, отталкивает его руки. Ему невыносимо слушать эту пьяную болтовню, ему хочется свернуть дяде шею, взять его голову и давить, пока она не треснет, как перезревшая тыква. Но он заботливо укладывает старика в постель и брызгает ему водой на лицо.

– Pest Jungfrau, Дева Чума, – хрипит дядя, – пришла Дева Чума, моровая язва. Солнце сияло на небе, весна настала посреди зимы, и мы так радовались неожиданному теплу. А потом появилась *она*. Прошла под окнами, размахивая алым платком. Мы не знали, кто она, мы пытались с ней заговорить. Но она смотрела куда-то мимо, как бы сквозь нас – как будто ей не было дело до тех, кого она походя убивала. Как будто она искала кого-то, искала и не находила.

Вильгельм слушает дядин бессвязный бред, но не верит ни единому слову. Все его мысли заняты только одним. Отец умер. Он остался один в целом мире. У него нет никого. Кроме Агнесс. Когда дядя наконец засыпает, Вильгельм выходит из дома. Если Агнесс жива, он знает, где ее искать. Ему нужно обратно в лес.

Агнесс сидит под рябиновыми деревьями, по грудь – в диких цветах.

– Не подходи!

Жемчужины у нее на щеках – это слезы.

– Не подходи ко мне, – просит она. – Потому что я проклята.

– Слава Богу, ты жива, – говорит Вильгельм, пробираясь к ней сквозь цветы. Он уже представляет, как заключит возлюбленную в объятиях, и их тела сольются, и превратятся в прозрачный ручей, и рассыплются каплями, и лягут росой на дрожащие лепестки. Но Агнесс в страхе пятится от него, как краб. Алая шаль падает с ее плеч; Агнесс подбирает ее и накрывает ею голову, пряча глаза.

– Не прикасайся ко мне! – кричит она.

Вильгельм испуганно замирает на месте. Потом делает шаг вперед, медленно и осторожно, как человек, который пытается подманить птицу.

– Вильгельм, я проклята, – говорит Агнесс, опуская шаль на плечи. – Мои родители, наши соседи... все, кто знал меня... все умерли.

– Я не верю, что ты можешь сделать мне что-то плохое. Ведь даже земля, по которой ты ступаешь, пробуждается к жизни, как от дыхания весны. Нет, ты не сделаешь мне ничего плохого. Если ты этого хочешь, я уйду. Но недалеко, только до края поляны. Там я останусь и буду на тебя смотреть.

Приходит ночь – теплая, как в разгар лета. Агнесс ложится спать под рябинами. Вильгельм сидит на опушке леса, и смотрит на спящую Агнесс, и не смыкает глаз до

рассвета.

Агнесс просыпается от звонкого щебета птиц, приподнимается на постели из душистых цветов и первое, что она видит – тоскующие глаза своего верного друга.

– Ты хорошо себя чувствуешь? – спрашивает она. – Голова не болит? Не чихаешь?

– Нет.

– Ни жажды, ни жара?

– Нет. – Вильгельм нерешительно умолкает, но потом все же спрашивает: – Что приключилось с тобой в лесу? Я хотел защитить твоё доброе имя. Пошел искать того рыцаря и его замок. Но ничего не нашел.

Агнесс задумчиво вертит в руках алый мак. Её лицо – как весенний луг после дождя.

– Я, как и ты, знаю, что такое любовь, – говорит она. – Любовь, ради которой пойдешь на все, даже на смерть, и смерть уже над тобой не властна – если ты готов умереть за любовь.

Прошлой весной я встретила у ручья солдата. Он шел на войну и прилег отдохнуть в теничке. Он был высоким и очень красивым, и глаза его были как утренняя заря. Они улыбались, его глаза, но за этой улыбкой скрывалась печаль. Печаль человека, у которого нет ничего в этой жизни – ни семьи, ни корней.

Я принесла ему хлеба и молока. Он рассказал мне о далеких краях, о полях и долинах за пределами нашей деревни. Он говорил, а я слушала. И любовь расцвела в моем сердце, как весенний цветок.

Но ему надо было идти на войну, мы расцеловались с ним на прощание и поклялись друг другу, что мы еще встретимся. Он сказал, что вернется за мной. Да и как же иначе? Я была его домом, а он моим – и куда бы ни шел человек, он все равно возвращается к дому. Всегда.

Он ушел в разгар лета, и яркий солнечный свет был как насмешка над моим горем. Вот ты думаешь, что ты меня любишь, а я *знаю*: я любила его. Ночью, когда я лежала одна в темноте, я представляла, как он целует меня и ласкает. Я ждала его, так ждала. Все глаза проглядела – высматривала, не идет ли. Он был со мной, у меня в сердце. По вечерам мы бродили вдвоем по округе, и так – до самой зимы. А потом, как я уже говорила, я пришла сюда, чтобы набрать рябины.

Воздух был чистым, прозрачным. Он как будто звенел. И лес был такой невозможно красивый. Не как летом, когда все сочное и зеленое, но все равно очень красивый. Такая застывшая тихая красота. Она манила меня, как песня. Я сама не заметила, как зашла в самую чащу, а когда я очнулась, то поняла, что заблудилась. Сначала мне не было страшно. Я испугалась, когда стало темнеть. Одна, в лесу, ночью... я бы замерзла насмерть. И вот тогда я встала на колени и стала молиться. Но я молилась не Богу. Я звала своего любимого, вновь и вновь повторяя его имя. Чтобы не чувствовать холода, я представляла себе *его* – его лицо, его тело. Я посадила его на белого коня и одела в сверкающие доспехи из чистого серебра.

Поверь мне, Вильгельм: хотя было уже темно, когда я увидела рыцаря за стволами деревьев, я знала, что конь его – белый как снег, а доспехи – серебряные. Он протянул мне руку в латной перчатке. Я слышала дыхание его коня. Я тоже протянула руку и закрыла глаза. Он взял меня за руку – поднял к себе в седло. Он спас меня. От верной смерти.

Всю ночь мы ехали с ним по лесу, а когда я проснулась, я была в замке. В каменной зале. Знаешь, Вильгельм, мне было так хорошо... так, как вообще не бывает. Постель была мягкой, как пух. Когда я проснулась, в зале играла музыка. И я пила чистый нектар из звящего хрусталя. И я отказалась от прежней жизни, забыла ее, как сон.

Мой радушный хозяин приходил ко мне каждый день. Он никогда не снимал доспеха. Даже шлема. Он как будто робел и старался не подходить ко мне слишком близко. И хотя лицо его было скрыто, я чувствовала, как он смотрит на меня. И я знала, что это он, мой Возлюбленный.

Однажды ночью я решила не спать. Я знала, что он придет. И вот дверь открылась. Я

тут же закрыла глаза и притворилась, что сплю. Я не слышала, как он вошел; я не слышала ни его шагов, ни дыхания, когда он встал на колени рядом с моей кроватью. Мне показалось, что он один раз прикоснулся рукой к моим волосам, хотя это мог быть просто ветер. Как мне хотелось открыть глаза, и увидеть его лицо, и прикоснуться ладонью к его щеке! Но мне не хватило решимости, а потом я заснула и проснулась уже под утро.

Я поднялась с постели и вышла из зала. Я искала его и нашла на опушке леса. Он смотрел туда – в зиму за пределами нашего сада. Я сказала ему: *Сними шлем*. Он послушался. Да, это был он. Мой возлюбленный. Точно такой же, каким я его помнила. Я сказала: *Ты совсем не изменился. Ты точно такой же, каким ты жил в моем сердце. Ты – как память о прошлом, воплотившаяся в настоящем*. Задыхаясь от радости, я расстегнула на нем его латы. Как мне хотелось прикоснуться к нему, к его голой коже! Под кольчугой была шерстяная рубаха. Сейчас, сейчас я к нему прикоснусь...

И вдруг – Святой Боже – луна скрылась за тучей. И глаза его вспыхнули в темноте белым холодным огнем. Я испугалась и схватила его за руку, ища утешения. Его рука была холодна, как замерзшая глина.

Сняв в руке мак, Агнесс горько плачет.

– Когда луна выбралась из-за тучи, я увидела, как цветы вокруг вянут буквально на глазах. И его, моего любимого, уже не было рядом. Он исчез без следа, только латы остались лежать на земле – они были испачканы гноем и *смердели чумой!* Агнесс впиается ногтями себе в глаза и кричит, и кровь течет по ее рукам.

Было никак невозможно успокоить ее на расстоянии. Вильгельма одолевали самые разные чувства, для которых не было даже названия. Он думал о смерти отца, и о дядином горе, и холод отчаяния пророс в его сердце кристаллами льда. Ему нужна была *жизнь* – и Агнесс была рядом, такая горячая и живая. Она тоже страдала и тоже любила, пусть даже это была выдуманная любовь.

Увидев, что Агнесс упала в изнеможении на ложе из цветов, он вскочил на ноги и ворвался в заколдованный круг. Цветы вздохнули и легли ему под ноги. Он бросился к Агнесс, лежащей без чувств, схватил ее и прижал к себе. Ее волосы были словно песок, утекающий сквозь пальцы. Вильгельм промокнул ее раны ее алой шалью. И Агнесс, совсем обессиленная от голода, страха и горя, сама подставила юноше губы для поцелуя.

Explicit liber Pest Jungfrau

Пролог раскаявшегося пропойцы

Воцаряется тягостная тишина. Рассказ монашки вызывает всеобщее неодобрение. Монах сосредоточенно ковыряет в носу и жует вынутые козявки, шут старательно скалит зубы. Однако певцы-горлопаны и пьяная баба даже не пытаются скрыть недовольство: они сидят, сморщив носы, словно на них пахнуло кошмарной вонью.

Как ни странно, но первым молчание нарушает раскаявшийся пропойца.

Раскаявшийся пропойца: Ваш рассказ, матушка, он о людском легковерии и о том, как в минуту опасности мы прибегаем к красивому самообману. Я тут подумал, а насколько вы сами сведущи в любви?

Монашка: Разумеется, ни насколько.

Раскаявшийся пропойца: Но вы говорили со знанием дела.

Монашка: Это всего лишь легенда, которую я слышала в молодости.

Раскаявшийся пропойца: Но легенда, рассказанная человеком с богатым воображением.

Монашка: Она основана на реальных фактах. Хорошо всем известных. Которые можно проверить.

Раскаявшийся пропойца: Меня волнуют не *факты*. Я говорю о той Правде, что

обитают на холме крутом, куда подняться – труд великий есть. [28]

(Пьяная баба: Уж лучше бы он продолжал блевать.)

Раскаившийся пропойца, истинный джентльмен в душе, галантно блюет за борт, дабы угодить даме, и продолжает как ни в чем не бывало.

Раскаившийся пропойца: Для познания мира мы прибегаем к Истории и Мифу. Миф, безусловно, больше заслуживает доверия. Вымысел по своей сути, он не претендует на истину и не является чем-то помимо того, чем является...

Певцы-горлопаны: Тысяча чертей!

Раскаившийся пропойца: Да, мне тоже есть что рассказать. Это чистая правда. Но что есть Правда? Я столько лет провел в пьяном дурмане, что ни в чем уже не уверен. Впрочем, сдается мне, я уже говорю загадками, хотя я еще даже и не приступал к рассказу.

Рассказ раскаившегося пропойцы

Как и многие юноши скромного происхождения, но преисполненные честолюбивых замыслов и возвышенных устремлений, я с детства хотел попасть в Башню. Ни один другой орден – ни древние храмовники, ни апостолы Господа нашего – не был столь засекречен, как братство Башни, и столь же закрыт для мира. О них почти ничего не знали. Знали только, что количество братьев всегда ограничено числом семь; что принятым в Братство уже нет дороги назад, и лишь смерть освобождает их от принятых обетов, и что они проводят жизнь в уединении, отгородившись от мира глухими стенами Башни, внутри которой, по слухам, были устроены сложные лабиринты. Даже священники в церкви – каковые не терпят соперничества в степени уважения и почета, ибо привыкли к почтительному к себе отношению, – робели перед братьями Башни, и говорили о них как-то нервно, стараясь скорее замять разговор. Ибо служение и долг церковника – вести свою паству путями, заповеданными в Писании. Он – всего лишь хранитель Закона Божьего. Призвание же семерых братьев Башни было несоизмеримо выше: ученые-изобретатели, они в меру своих скромных сил пополняли самую кладовую Творения.

Будучи юным и рьяным и чувствуя явное расположение и склонность к тому, чтобы добиться величия в жизни, я мечтал лишь об одном: быть допущенным в Башню. Дома я только об этом и говорил. Батюшка мой (мудрейший из всех людей, как я теперь понимаю, но – увы – слишком поздно) говорил мне, что жизнь Избранников, при всем почете, жизнь унылая и одинокая, ибо это есть жизнь без любви. Он говорил, что Господь наделил каждого человека энергией, и большинство из нас тратит эту энергию в тяжком труде и воспроизведении потомства, дабы их род не прервался. Батюшка так и не смог решить, кем были братья из Башни: нечестивцами, преступившими Божий Закон, или же теми немногими благословенными из людей, над кем этот закон не властен. Но в любом случае им приходилось жертвовать слишком многим. Ибо ничто не дается нам просто так. Но тогда я не слушал мудрых отцовских слов. Тот, кем я был раньше, каким я себя помню – теперь как пустая и гулкая зала, где звучит только эхо мертвых голосов. Иной раз мне кажется, что это мой собственный голос, а не отцовский, и что я под воздействием винных паров путаю себя теперешнего с отцом тогдашним. Потому что когда мне в конце концов удастся изгнать его голос, как изгоняют докучливых духов, я тут же слышу свой собственный голос, и он

²⁸ Здесь аллюзия на стихотворение Джона Донна «Сатира III. О Религии».

Жилище Правды – на холме крутом,
Куда не торным следуют путем,
А по тропе взбираются извивной,
Преграды побеждая непрерывно.

(перевод Ю. Корнеева). – Примеч. пер.

заклинает меня – но опять же, увы, слишком поздно – отказаться от праздных амбиций и избрать жизнь земную, пусть избитую, но безопасную и надежную.

Никто не знает историю Башни. Сложенная из кирпича и битума, без единого окна, она как будто явилась из далеко прошлого или непроницаемого будущего. Быстрым шагом ее можно обойти по кругу за час. Вершины Башни с земли не видно – она теряется в необозримых высотах. Даже в самые жаркие дни в ее тени всегда было зябко. Но мы не роптали, о нет. Ибо только безумец бранится на неприступную гору, люди же мудрые и рассудительные усиленно трудятся, если так нужно, в холодных долинах.

Неприступная Башня не была все же полностью недосыгаемой. Каждый год на Троицын день соискатели из молодых дарований сходились к Восточным вратам и приносили с собой свои изобретения или тащили их волоком по земле. Еще ребенком я каждый год приходил посмотреть, не улыбнется ли счастье кому-то из этих прыщавых юнцов-претендентов. Врата открывались с натужным скрипом, чтобы впустить их всех. Врата закрывались все с тем же натужным скрипом перед носом растерянных соискателей. За все эти годы никто не остался в Башне. Горе несчастных отвергнутых было поистине беспредельным; я же часами просиживал у Восточных врат, изучал анатомию забракованных изобретений, всех этих часов и музыкальных шкатулок. Скрупулезно и вдумчиво, до последнего винтика. Все эти устройства без исключения являли собой вариации уже существующих механизмов. Боязливые и застенчивые их творцы по большей части только припаивали лишние зубчики на колесики или прокладывали бороздки, совершенно не нужные с точки зрения полезности. С такой работой справился бы и самый неумелый лудильщик.

Мое собственное изобретение – когда мне исполнилось восемнадцать, я наконец-то решился, – выгодно отличалось, без ложной скромности, своеобразием и самобытностью. Взбивалка для яиц, ножная, педальная. Я нисколько не сомневался, что это будет моим триумфом. Ее полезность в хозяйстве неоспорима: проблему количества можно решить, приложив лишь немного смекалки. Мне представлялись всякие ужасы – что мое изобретение украдут, или сломают из зависти, или кто-нибудь ушлый по-быстрому слепит какой-нибудь плагиат, – так что, стоя в очереди, я прятал взбивалку под плащом. И даже когда Восточные врата открылись передо мной, я больше боялся того, что снаружи, а не того, что внутри, и с облегчением переступил порог, оставив своих безымянных соперников позади.

Но едва я вошел в Башню, как тут же забыл обо всем. Уже потом мне доводилось бывать в больших соборах, в великих соборах, но по сравнению с Башней их высокие гулкие залы – просто жалкие хижинки. Как описать ее величину? С чем соизмерить безмерность? Как будто идешь по широкой равнине под звездным небом. Ощущение пространства: безбрежного пространства, которое может существовать лишь под открытым небом. И все же это пространство было обнесено стеной, а небо скрывал каменный потолок.

Я обернулся на скрип. Врата закрывались за мной. Дневной свет превратился в узкую щелку и исчез совсем. Стало темно – хоть глаз выколи, – и тут в темноте раздался шаг. Я весь съежился от страха. А потом я увидел свет. Как блуждающий огонек на болоте. Он приближался ко мне, мерцая. И вот в этой тьме первозданного Хаоса я разглядел фигуру в сером монашеском одеянии, омытую кобальтовым свечением. Синевато-серые искры стекали с факела у нее в руке, словно то был не огонь, а вода. Человек обратился ко мне и велел подойти ближе. Я робко шагнул вперед. Чтобы как-то справиться с волнением, я полностью сосредоточился на человеке с факелом. Было трудно соизмерять расстояние и время, но, похоже, я шел к нему около двух минут. Когда я приблизился, то увидел, что он стоит возле каменного колодца. Проследив за моим взглядом, он поднял факел над головой, и я увидел толстую цепь из металла, уходящую вверх, в непроглядную тьму.

– Подъем до лебедки занимает больше пяти часов, – сказал он. – Я брат Нестор. Сейчас ты пойдешь со мной и покажешь свое изобретение. После этого, вероятнее всего, ты уйдешь восвояси.

Прежде чем я успел ответить, брат Нестор нырнул в темноту, как в море. Я пошел

следом за ним, вернее, за светом его факела: водяной пар клубился в его синем сиянии, густой, как пыль. Влажный воздух пах древностью. Он подрагивал и колыхался, пронизанный холодными и теплыми течениями. Мне было страшно. Он был как живой, этот воздух – изменчивая, неземная стихия, может быть, населенная призрачными фантомами, каковые уже рисовались мне в воображении. Мы шли в полном молчании, и по прошествии долгих минут темнота впереди изменила текстуру и уплотнилась в кирпич и известь. Это была внутренняя стена Башни. Она манила к себе, соблазняла, звала – и нельзя было противиться этому зову.

Наконец мы подошли к массивной двери, черной, как антрацит. Брат Нестор провел рукой по рукоятке факела, сбоку, и синее пламя потухло. Все опять погрузилось во тьму, а брат Нестор стукнул три раза по окаменевшему дереву. Задвижка с той стороны открылась, и дверь распахнулась. Внутри горел свет, хоть приглушенный и искусственный, в ту минуту он был для меня как неожиданный солнечный день посреди хмурой зимы.

– Входи, не стой, – сказал брат Нестор, – нам еще долго идти.

Когда я вошел, мне послышалось чье-то дыхание за дверью. Я весь обмер от страха и не стал задавать вопросов. Стараясь не отставать ни на шаг, я шел следом за братом Нестором по запутанным коридорам. Их освещали лампы, подвешенные на стенах, и каменный пол под ногами блестел в их синеватом свете, который был полусветом-полутенью. Мысли у меня путались. Если вот *это* Башня, то что было раньше? Вроде как внутренний двор? Может быть, изнутри Башня полая, наподобие древнего дуба, чья сердцевина давно сгнила, и живая кора не содержит в себе ничего, лишь одну пустоту?

Мы остановились у двери, ничем не отличной от всех остальных, которые мы проходили прежде – все из того же загадочного материала, напоминавшего окаменелое дерево. Эту дверь мой проводник открыл сам и провел меня в узкую комнату – библиотеку. Я в жизни не видел, чтобы столько книг было собрано в одном месте. Брат Нестор уселся за стол и открыл толстую книгу учета, заложившую закладкой.

– Приступай, – сказал он.

Я кивнул и извлек из-под плаща свое устройство; выбил в миску яйцо, которое также принес с собой завернутым в вату, и запустил механизм. В ходе всей демонстрации взгляд брата Нестора оставался спокойным и безучастным. Периодически он наклонялся над своей книгой и что-то быстро писал. Белок взбился в пену за считанные секунды. Я предложил брату Нестору попробовать, дабы оценить консистенцию готового продукта, но тот отказался.

– Ты где это взял? – спросил он серьезно.

– Миску?

– Не миску. Взбивалку. Где ты ее нашел?

– Я сам ее сделал.

– По чьим чертежам?

– По своим собственным.

– Плечевая распорка? Поясные ремни?

– Да.

– Двухстержневый стабилизатор? Спиральная ось вращения, чтобы уменьшить трение?

– Да, я сам все придумал.

Брат Нестор смотрел на меня так пристально, словно у меня на лбу были написаны древние руны, содержащие тайные знания. Потом он встал, извинился и скрылся за потайной дверью, замаскированной под книжную полку.

Я остался совсем один в этой заплесневелой комнате. Мне вдруг стало так себя жалко! Я так боялся провала, что едва не расплакался. Мой взгляд случайно наткнулся на книгу брата Нестора, которую тот оставил на столе. Резонно решив, что терять мне нечего, я поддался любопытству и открыл заложившую страницу. Не решившись перевернуть книгу к себе, я читал, что написано, вверх ногами. Не сказать, чтобы это мне очень мешало, ибо почерк у брата Нестора был нечитабельным при любом ракурсе. Буквы судорожно

дергались, и наползали друг на друга, и больше всего походили на раздавленных между страницами черных клещей, разве что расположившихся аккуратными рядами. Через неравные интервалы записи прерывались какими-то непонятными кляксами – должно быть, набросками чертежей.

Приближающиеся голоса раздались так внезапно, что у меня уже не было времени закрыть книгу. Я метнулся обратно к своему табурету. Шестеро мужчин – все одетые в серое, как брат Нестор, – протиснулись в библиотеку через узкую щелку между проемом в стене и отодвинутой книжной полкой. Я понял, что эти шестеро – братья Башни, и они все смотрели на меня, и их лица сливались в сплошное пятно. И я преисполнился самых мрачных предчувствий.

– Как твое имя? – спросил брат Нестор.

Я назвал себя. За сим последовало молчаливое обсуждение, в том смысле, что братья не произнесли ни слова, но зато обменялись взглядами и покивали задумчиво головами, поглаживая подбородки.

– Это брат Людвиг, – произнес наконец брат Нестор. – А это брат Эридус. Брат Эп и брат Грета – они всегда неразлучны. Это брат Кай, он покажет тебе твою спальню.

Я онемел от изумления.

Я даже не сразу сообразил, что происходит.

Брат Нестор закрыл свою книгу и продолжил:

– Завтра встретимся на Теории в зале собраний, где ты примешь Обет Призвания. Твой аппарат я оставлю пока у себя, с твоего позволения. Добро пожаловать в Башню, ученик.

Это был мой триумф, но меня раздирали самые противоречивые чувства, и радость моя омрачалась смутным беспокойством, а в мыслях царила полная неразбериха, иными словами, я был смущен и растерян. Да, я прошел испытание, которое до меня провалили сотни. Сбылась мечта всей моей жизни. Меня приняли в Башню, но у меня как-то не было ощущения, что меня приняли, – мне все представлялось иначе, – я вообще ничего не понимал, но не решился пристать с расспросами к брату Каю, когда он провожал меня в мою спальню. Невысказанные вопросы застряли в горле, как кость. Мы прошли по извилистым коридорам и поднялись по гулкой холодной лестнице.

– Совокупная протяженность всех лестниц в Башне исчисляется сотнями миль. С годами ты их запомнишь. Не все, конечно, но многие. – Сухопарый, нескладный, юношески угловатый мужчина, брат Кай являл собой воплощение невозмутимого спокойствия. Его тихий, но твердый голос звучал очень ровно и дружелюбно, но меня это не утешало. – Каждый новичок в Башне, он как исследователь неведомых земель, – продолжал брат. – В Башне легко заблудиться, но ты постепенно научишься без труда находить верный путь. Это непросто, но прелести нашей жизни – образно выражаясь – значительно превосходят ее же невзгоды.

И вот наконец, слегка запыхавшись, мы добрались до места. Брат Кай провел меня в просторную длинную комнату с высоким сводчатым потолком, размером и формой напоминавшую перевернутый галеон. Ряды узких железных коек вели к умывальне, что возвышалась наподобие алтаря в дальнем конце комнаты. Все койки были застелены свежим бельем. Судя по всему, все они были незаняты.

– Завтра, – сказал брат Кай, повернувшись, чтобы уйти, – ты начнешь понимать.

Я остался один в оглушительной тишине. Меня бил озноб – то ли от страха, то ли от усталости, то ли от волнений прошедшего дня. Мне в жизни не было так одиноко. «Тоска по дому» – эта фраза и близко не передает мои тогдашние переживания. Представьте себе, что вас поместили в приют для больных, что вы лежите на койке – на которой лежало до вас уже столько народу, и умирало, и умерло, – вы лежите и смотрите в незнакомый потолок. Сосредоточьтесь на этих трещинах, на этих покореженных досках и непонятных подтеках: это последнее, что вы видите в жизни, – и каждая клеточка вашего тела об этом знает. Вот так я провел свою первую ночь в Башне. Мне было страшно. Мне казалось, что я умираю, или уже умер, и я горько плакал в непроницаемой темноте. Я представлял себе батюшку с

матушкой: гордые и огорченные, теперь они будут жить без меня. Все будет, как раньше, только с ними не будет меня. Я представлял себе свой родной дом, каждый его уголок, как будто я мог вернуться туда одним только усилием мысли. И вот наконец в эту невыносимую ночь я вступил в лабиринты сна. Мне снились кошмары, будто я попадаю в ловушку и не могу выбраться, или что меня душат. Особенно ярко мне запомнился сон, где я застрял в узкой норе под землей и рыл землю руками, пытаюсь освободиться, и стер руки до крови.

Я все еще барахтался в пыли, когда меня разбудил колокольный звон.

Хотя дневной свет в Башню не проникал, под стропилами были лампы искусственного освещения, к моей несказанной радости. Я встал и оделся. Склонившись над умывальником, я увидел, что ночью кто-то подлил в таз воды.

Я все еще ломал голову над этой загадкой, и тут пришел брат Кай и принес мне сандалии и белый плащ.

– Одевание Соискателя, – сказал он. – Иди за мной. Пора.

Мы молча отправились в зал собраний. Каждый раз, когда мы входили в комнату или зал, я весь обмирал в предвкушении. Но те комнаты были пусты, и путь нам еще предстоял неблизкий. Внутри Башня была как мозаика из множества зданий, соединенных друг с другом лестницами и переходами – словно город, сжатый в пространстве и втиснутый в сотни ячеек, примыкавших друг к другу, так что окна строений открывались не во внешний мир, а внутрь других зданий, и там, где кончался один лестничный пролет, сразу же начинался другой. Мне не хватило решимости или, может быть, наглости расспросить брата Кая о подробностях церемонии посвящения; как я понял, меня специально держали в неведении – таков был обычай.

– Вот мы и пришли, – объявил брат Кай, вырвав меня из задумчивости. Он поднял посох и стукнул три раза в массивную черную дверь. Внутри трижды пробил звучный гонг, и дверь отрылась.

Когда мы вошли в зал собраний, братья уже нас ждали. Все они были одеты в серое, у всех были очень серьезные лица, все сидели надутые от сознания собственной важности. Я смиренно поклонился каждому по отдельности: мне показалось, что так будет правильно.

Первым поднялся и заговорил брат Эридус, смуглый мужчина с черной, как смоль, бородой.

– Добро пожаловать в Башню. Наш Мастер, Владыка... – он на секунду запнулся и обвел многозначительным взглядом остальных членов Братства, – ...Гербош фон Окба... избрал тебя учеником. Ты будешь учиться у нас у всех, перенимать у нас опыт, пока не определишь свой собственный путь. Самобытность, новаторство и специализация – вот наш девиз. *Per ardua ad astro*. [29] За века своего существования эта Башня породила немало великих умов...

– И мы не являемся исключением, – как бы между прочим заметили братья Греда и Эп.

– Обряд Вступления подобен помазанию на царство. Теперь у тебя будет особое место в мире, особое положение в глазах Господа, ибо суетность бренного мира больше тебя не касается. Ты станешь выше мирской суеты. Ты *pueris rationalis* сарах [30]. Иными словами, ты – Избранный.

Брат Эридус говорил неспешно, с расстановкой, чтобы звучало весомо и важно, при этом он то и дело облизывал губы, явно смакуя каждое свое слово.

– Сейчас ты отдашь нам свою мирскую одежду. Ее сожгут, а пепел вернут тебе. Это называется Очищение. Потом брат Кай проведет церемонию Облачения Соискателя, или, Облачения Идеи, называемый так потому...

– ...что пока что ты только понятие, – перебил брат Нестор.

29 Под градом ударов – к звездам (лат.). – Примеч. пер.

30 Человек разума (лат.). – Примеч. пер.

– ...в голове нашего Мастера.

Брат Нестор поднялся и вышел вперед, оттеснив брата Эридуса. Тот попытался вернуть главенствующее положение, но брат Нестор все-таки одержал верх исключительно за счет грубой силы и превосходства в весе.

– Облачение в плащ Соискателя, – объявил он, – называется Наставление. Ибо пройдет несколько лет, и ты будешь допущен в...

– ...бах-бах-Башню Мысли. – Это вступил брат Людвиг. – И мы бу-бу-будем твоим огнивом...

– ...дабы пламя трудов твоих осветило мир...

– ...погрязший во мры-мры-мраке невежества.

За сим последовала краткая потасовка, когда все три брата попытались сойти с кафедры одновременно. Братья Греда и Эп, которые были, как я теперь выяснил, музыкантами, грянули что-то бравурно веселое на своих волынках, но тут же осознали ошибку и, хлопнув себя по лбу, перестроились на торжественный гимн. Брат Кай потянул меня за рубаху.

– Быстрее, – сказал он.

Я поспешно разделся, сбросив одежду на пол.

Не хочу утомлять вас подробностями церемонии, каковая прошла весьма бурно, братья только и делали, что огрызались друг на друга, и не подрались исключительно чудом. Меня кое-как обрядили в белое одеяние Соискателя, при этом братья Эридус, Нестор и Людвиг постоянно перебивали друг друга, так и не сумев договориться, кто проведет церемонию. Они говорили на нескольких языках, из которых я узнал только два (латынь и греческий). Львиная доля этих непонятных речей пришлась на какую-то гортанную тарабарщину, которую невозможно было произнести иначе, как напрягая горло и обильно брызжа слюной. Под конец меня торжественно окропили каким-то прогорклым маслом и вручили мне урну с пеплом моего сожженного мирского платья.

Потом мы перешли в соседнюю залу, где все было сервировано для праздничного банкета. Я пребывал в полном оцепенении, так что меня не смутила буроватая масса, предложенная в качестве угощения. Длинный стол, отполированный до зеркального блеска, искрился, как тихое озеро под луной, и я видел свое отражение в столешнице. Я смотрел на себя и уже не узнавал. Мое лицо под белым капюшоном – это было чужое лицо: лицо преждевременного повзрослевшего колдуна, серьезное не по годам. Избранники, должен заметить, не умели вести себя за столом: они жевали с открытым ртом, громко чавкали и выковыривали ногтями застрявшие между зубами кусочки пищи или пытались достать их языком, ни капельки не стеснясь сидящих рядом. Уже за десертом, каковой представлял собой что-то похожее на пареный чернослив со сметаной, мои сотрапезники пустились в жаркий интеллектуальный спор, но я так и не понял о чем. Как я уже говорил, я пребывал в полном оцепенении, и только потом, уже вечером, до меня дошло, что на пиру не было нашего Мастера.

Я быстро привык к Утреннему Созыву. Поскольку у нас не было ни луны, ни солнца, Время в Башне являло собой умозрительную конструкцию и отмерялось колокольным звоном, причем для каждого часа братья Греда и Эп играли свою собственную мелодию.

Сейчас я вам опишу наш день.

Утренний Созыв призывал Избранных в Трапезную на завтрак. Когда мы туда приходили, стол был уже накрыт, и мне было до ужаса любопытно узнать, как действует здешняя система обслуживания. Кто готовит еду? Кто меняет белье у меня на постели? Кто следит за тем, чтобы Башня*работала*? Я спрашивал, я тянул братьев за рукава. Я был очень настырным. Но, увы. Хотя разговоры за завтраком не запрещались, братья, как правило, не общались друг с другом. Каждый был занят своими собственными проблемами, и как настойчиво я ни допытывался ответов – ничего не добился.

(С вашего позволения, я скажу пару слов о кушаньях. Было никак невозможно понять, что именно это было. Какая-то мокрая, темная и комковатая масса. Грибы подавались

исключительно в виде супа или пюре; мясо неизвестного происхождения было как будто резиновым; овощи как таковые отсутствовали вообще, а были какие-то тонкие нити зеленого цвета с запахом болотного мха. Но братья всегда ели жадно и дули на ложки, чтобы скорее остудить еду, и дыхание их отдавало прогорклым грибком.)

После завтрака звучал Созыв к Прилежанию, и братья, сытые и довольные, расходились по своим мастерским. Первый рабочий час посвящался Теории, второй – Компоновке и Усовершенствованию. Третий и четвертый – Воплощению и Реализации.

Призыв к обеду звучал, как орган: одна долгая нота в низком регистре, вторая – высокая, звонкая. Этот звук неизменно воодушевлял Избранников, ломавших головы над загадками мироздания. Они сразу бросали свои труды и бежали в Трапезную чуть ли не вприпрыжку, а при встрече почти улыбались друг другу. Обед в отличие от завтрака проходил оживленно и шумно, в жарких дебатах и обсуждениях: все говорили наперебой, но умолкали буквально на полуслове при звуках Созыва к Возобновлению Изысканий. Склонив головы с выбритыми тонзурами, братья вновь расходились по своим мастерским.

Время послеобеденных изысканий распределялось следующим образом: сначала – Творческий Прогресс, потом – Полное Недоумение и в конце – Яростное Разрывание Бумаг. После того как все ненужные записи и мертворожденные идеи отправлялись в мусорную корзину, Избранникам позволялась и даже вменялось в обязанность вздремнуть – ровно двадцать минут, до ужина.

Ужин разительно отличался от полуденной трапезы. По будням он проходил в Красной Комнате; по субботам – в Алой Палате; по воскресеньям – в Зале Торжеств. Согласно обычаю, во время ужина один из шести братьев читал избранные отрывки из Книги Наставлений.

Доступ к этой священной книге, также известной как Руководство, или Путеводитель, или Книга Проектов, имели лишь полноправные члены Братства, иными словами, мне в руки ее не давали. Я приобщался к ней только посредством ежевечерних слушаний (тут я замечу, что книга была толстенная, при желании такой книженцией можно и лошадь убить, если как следует стукнуть по голове) и не понимал вообще ничего из того, что слышал. Ибо Книга Наставлений была написана на неведомом мне языке: это был некий гортанный шифр, вокализация в чистом виде, не соотнесенная ни с «понятиями», ни с «предметами». Но иногда, когда внимание у меня рассеивалось, я улавливал в этом потоке звуков что-то смутно знакомое. Как это бывает, когда какой-нибудь запах вдруг напомнит тебе про детство. Заинтригованный, я попросил братьев научить этому языку. Но они отказались, намекнув, что всему свое время: когда будет нужно, я сам все пойму. Я умолял брата Эридуса, башенного полиглота, перевести мне хоть что-нибудь, но он неизменно ссылаясь на колики и удалялся к себе в мастерскую. Надпись на его двери – *Salus extra arduam non est* [31] – недвусмысленно отсылала меня работать, и мое любопытство так и не получило удовлетворения.

Предполагалось, что мне надлежало учиться, дабы поднатореть в науках, но и тут тоже ждало меня разочарование. Хотя я посвящал все свое время учению и посещал по расписанию каждую мастерскую, братья не слишком охотно делились со мною своей премудростью. Если я что и узнал, то лишь самые элементарные принципы всех дисциплин, изучаемых в Башне. Я утешал себя тем, что безразличие братьев, может быть, объясняется тем, что они полностью поглощены работой, и им недосуг заниматься моим образованием. Может, они специально держат меня в неведении, но не для того, чтобы укрыть от меня свои знания – а у меня иной раз возникала такая мысль, – а потому, что хотят научить меня мыслить самостоятельно и доходить до всего своим умом? Может, они проверяют, насколько я любознателен и смышлен? Поскольку большинство Великих Открытий случалось именно в ходе преодоления преград и помех, может быть, от меня ждали, чтобы я

31 «Благо дается трудом», «Без труда нет и блага» (лат.). То есть «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». – Примеч. пер.

проявил инициативу и овладел знаниями посредством хитростей и уловок: подсмотрел что-то в записях своего наставника, когда тот повернется ко мне спиной, заглянул украдкой под полотно, прикрывающее опытный образец? Сформулировав для себя эту теорию, я успокоился. Башня загадала мне первую из своих загадок, и я должен ее разгадать.

И какие науки, спросите вы, изучали в Башне? Что творили Творцы в своих захламленных пыльных мастерских?

Начну с самого старшего из шести братьев. Брат Людвиг – благообразный опрятный дедулька невысокого роста, с глазами жесткими и блестящими, как у черного дрозда, изучал Математику, Логику и Геометрию. Надпись на двери его мастерской повторяла знаменитую надпись на двери Платона: **«Не введи сюда тот, кто не знает геометрии»**. Если бы я тогда разумел по-гречески, запрет относился бы и ко мне тоже. Но в ту пору я греческого не знал и спокойно входил к брату Людвигу.

Вся его мастерская была завалена бумагами. На всех горизонтальных поверхностях громоздились пергаменты в столбцах цифр и кляксах. Были там и принадлежности для геометрических измерений, но для меня так и осталось загадкой, как ими пользоваться. Вскоре я понял (не без облегчения, должен признаться), что брат Людвиг не собирается посвящать меня в оккультное знание о фигурах на плоскости и в пространстве: у него были другие заботы – поважнее, чем возиться с каким-то не-не-невежественным мальчишкой в моем лице. Его заикание, как вы, наверное, уже догадались, не было проявлением робкого дружелюбия. Брат Людвиг был преисполнен обжигающего отвращения ко всем и вся. За работой он хмурился и сердито пыхтел. Он записывал на доске сложные длинные уравнения, так что мел крошился у него в руке, а сам он буквально искрился от наэлектризованной ненависти к миру физических тел с его трением. Ибо рука его не поспевала за мыслью, и цифры и символы на доске наезжали друг на друга, и его это страшно бесило.

– Черт бы побрал эту доску! – восклицал он всякий раз, когда очередной кусок мела ломался у него в руке. Все вокруг – и особенно невежественные мальчишки – отвлекало его от чистого мира цифр. Для него я был просто досадной помехой, еще одним проявлением материального мира, вторгшимся в его абстракции, и все время пока я был рядом, он сердито ворчал и кривился. И все же мне нравилось наблюдать за его яростными вычислениями. Когда уравнение не решалось, он плевался и ругался по матушке, и при этом, что удивительно, не заикался; когда у него все сходилось, он вознаграждал себя «вкусеньким» – горстью каких-то мокрых, похожих на тину водорослей, которые он любовно выращивал в кувшине на льду.

* * *

Но мне больше нравилось приходить на занятия к брату Эридусу. Полностью поглощенный работой над трудом всей своей жизни – «Полный и всеобъемлющий лексикон всего сущего как сие выражается во всех языках мира, с комментариями, примечаниями и приложениями» – он замечал меня далеко не сразу, его задумчивый взгляд скользил поверх моей головы, прозревая неведомые мне дали.

Хотя я так и не смог вытащить из него ничего вразумительного насчет Книги Наставлений, он пусть не часто, но все-таки снисходил до того, чтобы прочесть мне пространную лекцию о лексических странностях и ухищрениях. Он рассказал мне о том, что в языке у лапландцев существует множество слов для обозначения снега, и о том, что исландцы ревностно хранят чистоту своего языка, и все новые тамошние слова образуются

на основе старых, уже существующих. Он рассказал мне о марийском и мордовском языках, на которых говорят на Волге; об удмуртском и коми-зырянском языках, распространенных в арктических областях Московии; о языках остяков и вогулов, населяющих Обскую долину в северной Сибири. Он рассказал мне о летописях династии Шан-Инь, вырезанных на коровьих рогах и черепаших панцирях; и о китайском ребусе, когда иероглифы-пиктограммы, обозначающие конкретные вещи, используются для выражения абстрактных понятий – так вот, в этом ребусе личные местоимения, из-за похожего произношения, обозначались иероглифом с прямым значением «совок для мусора», но со временем «*совок для мусора*» утратил значение «совок для мусора», и бескорыстное слово лишилось иероглифа. Голосом, звенящим от умственного напряжения, брат Эридус объяснял мне, что язык – субстанция текучая и подвижная: слова появляются и исчезают, сливаются друг с другом и распадаются на Фрагменты, как ртуть, пролитая на наклонную плоскость. Он рассказывал мне о наречиях и говорах, существующих только в устной традиции; о диалектах столь редких, что даже ближайшие соседи не понимают друг друга, поскольку у каждой семьи свой «язык»; о словах-паразитах, что меняют свое значение, прилепившись к какому-то другому слову. – Их так много, слов, – сокрушался он. – Как мне управиться с таким множеством?!

Должен признаться, обширные познания брата Эридуса пробуждали во мне что-то близкое к благоговейному трепету. Мне не терпелось наброситься на его книжные полки и погрузиться в сие Вавилонское столпотворение. И я бы не преминул это сделать (двадцатиминутный Сон перед ужином предоставлял теоретическую возможность), если бы не предельная бдительность башенного филолога. Мне было категорически запрещено – категорически, понимаешь? – прикасаться даже к *корешкам* его книг, не спросив предварительно разрешения.

Разрешения я спрашивал. И не раз. Но всякий раз получал отказ.

Братья Греда и Эп, сия неразлучная парочка, были более приветливыми и отзывчивыми – хотя бы из-за того упорства, которое я проявлял, выказывая притворную увлеченность их дисциплиной. После того как они однажды застали меня, когда я рассеянно перебирал струны расстроенной мандоры [32], они, похоже, ко мне прониклись. Я, безусловно, был рад вниманию, хотя их последняя композиция не произвела на меня впечатления. Иными словами, мне она не понравилась.

– Это новое направление в музыке, – заявил как-то брат Эп, метнувшись к позитиву. [33] – Мир еще не готов к такой музыке, и не будет готов еще несколько десятилетий.

– Веков, – поправил брат Греда, пытаясь изобразить что-то похожее на мелодичные звуки на ручных мехах.

– Называется додекафония [34]! – Брат Эп принялся молотить по клавишам чуть ли не кулаками, объявив в самом начале, что сие есть «Органная пьеса додекафонического образца»

– Тебе мозги разорвет! – «утешил» меня брат Греда.

Музыка, надо сказать, была жутковатой: гнетущие и заунывные звуки, какие-то промозглые, пробирающие до костей – хотелось сразу сбежать подальше, зажав уши руками. В этой отвесной и неприступной стене из звука не было ни единой трещинки, ни единого

³² Мандора (мандола, пандура) – итальянский струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни; известна с XII–XIII вв. – Примеч. пер.

³³ Позитив, в данном случае – тип органа. – Примеч. пер.

³⁴ Музыка, основанная на равенстве двенадцати тонов хроматической гаммы; двенадцатитоновая система музыкальной композиции. – Примеч. пер.

обнажения породы, которое было бы пусть отдаленно, но все же знакомо.

– Ну, разве не красота?! – периодически восклицал брат Греда, и его волосы разлетались под ветром из органных труб. Когда пришло время обеда, братья закончили исполнение. Я с облегчением отправился в трапезную. Но за обедом – в тот день нам подали по обыкновению что-то похожее на мульчу, сиречь перегнившую солому, – я понял, что мне хочется еще раз послушать этот так называемый музыкальный опус. Меня беспокоило, что Избранники тратили время на сочинение такой низкопробной музыки – тут поневоле задашься вопросом, а действительно ли наши занятия представляют какую-то высшую ценность, – и мне хотелось убедиться, что музыка и вправду никуда не годная. Братья Греда и Эп несказанно обрадовались тому, что я проявил интерес к их работе, и на протяжении почти недели ежедневно терзали меня «Органной пьесой», пока я не начал понимать – скорее на интуитивном уровне – ее новый язык и больше уже не кривился при этих звуках, а слушал серьезно, пусть даже слегка в растерянности, проникаясь ее аскетической красотой.

В мастерской брата Кая тоже была красота, но иного рода. Это была строгая красота оружия для Покорения и Убеждения, усовершенствованию которого брат Кай себя и посвятил. Он, единственный из всех Избранных, содержал свою мастерскую в относительном порядке и украшал ее плодами трудов своих. Вместо трофеев в виде оленьих рогов стены его мастерской были увешаны алебардами и аркебузами, составными частями доспехов, стрелами и арбалетами. Только самый искусный рисовальщик, обладающий к тому же нечеловеческим терпением, мог бы изобразить на бумаге оружие из арсенала, которым владел брат Кай: горы пушечных ядер, наподобие гигантских гроздей винограда; паутины из перекрещенных копий вокруг щитов; Колеса Фортуны, выложенные из клинков. Касаясь кончиком языка своих острых резцов, брат Кай радушно со мной здоровался и вообще держался открыто и дружелюбно, что меня удивляло, поскольку сперва он подобного добродушия не проявлял. Оружейное дело, по убеждению брата Кая, было самой что ни на есть благоприятной областью для приложения изобретательного ума. Скучный и неинтересный в общении повседневном, у себя в мастерской брат Кай буквально преображался. Он мог говорить о своей работе часами, причем с таким воодушевлением и красноречием, которого я от него ну никак не ожидал:

– Поэты твердят, что Любовь – это главная тема жизни. Но мимолетные спазмы удовлетворения и муки Любви отвергнутой – что это для Человека?! Ничто. Война. Вот великая тема жизни. Война. Если ты посвятил столько лет техническим проблемам военного дела, ты понимаешь, что жизнь по сути своей стремится к конфликту, к войне; что главное человеческое устремление – к тишине после боя на поле брани, когда воронье слетается поживиться падалью.

Один из первых уроков, каковой должен усвоить любой ученик в любом деле, – это уважение к старшим. Брат Нестор, который, как выяснилось, был самым младшим из шести братьев, занимался разработкой и производством Домашней Утвари, или Хозяйственных Принадлежностей, в самом широком смысле слова «хозяйство», от кулинарии до садоводства, с особым упором на личную гигиену.

– Как избавиться от продуктов человеческой жизнедеятельности, – говорил он в те редкие минуты, когда вообще снисходил до разговоров со мной, – вот величайшая из проблем, что стоит перед человечеством. – Но несмотря на столь громкое заявление, он, похоже, не слишком горел желанием этот вызов принять. Он вообще проявлял поразительную безучастность к своей работе. Его взгляд постоянно блуждал где-то в туманной дали; он сидел, сгорбившись, и зевал, или шлепал губами, и слюна текла у него по подбородку. Один раз, когда я попытался его растормошить и легонько пихнул локтем, чтобы вывести из этого столбняка, он вдруг захныкал, тонко и жалобно, как зверюшка, попавшаяся в капкан.

Пока брат Нестор витал мыслями где-то в неведомых мне пространствах, я спокойно

обшаривал мастерскую. Я обнаружил машины для стрижки газона, стеклянные ящики для рассады, лопатки с шипами и тяпки с коловратными ручками. Резки для овощей и терки для моркови, зубастые щипцы для измельчения чеснока и имбирного корня, автоматизированные устройства для сбора мандрагоры, предназначенные для суеверных мракобесов, гранитные ступки с пестиками, приводимые в движение гидроэнергией. На многочисленных полках обнаружились склянки с птичьим клеем, приманки в виде жуков, пропитанных отравой, соли для уничтожения слизняков и всевозможные яды для мух. В самом дальнем углу я нашел оборудование для купален и умывальных: краны, откуда била струя воды, подставки под тазики с подогревом, вертящиеся барабаны для полотенец и кашеобразные мыла с запахом дегтя и серой амбры.

Однажды, кажется, это было во время Полного Недоумения, я отважился заглянуть под чертежный стол брата Нестора, где давно уже заприметил какие-то штуки, прикрытые парусиной. Поглядывая с опаской на брата Нестора – у которого как раз случился очередной столбняк, – я сначала ощупал предмет под холстом. Подозрительно знакомые формы. Приподняв покрывало, я обнаружил под ним... *свою взбивалку*. Да нет, сказал я себе, никто из Избранников не присвоит себе чужие изобретения, им это незачем, у них своих изобретений полно, и вообще они выше этого. Но, рассмотрев повнимательнее сие педальное устройство, я увидел, что это не моя взбивалка: это была просто копия, причем достаточно грубая, моего оригинала, сиречь первообраза, иными словами, жалкая подделка под мой образец. Мне с трудом верилось в очевидное, но я держал в руках вещественное доказательство.

Брат Нестор был плагиатором.

Удивительно, правда, как изменяется восприятие в соответствии с нашими ожиданиями. Если раньше я вполне сознательно закрывал глаза на странности чудаковатых братьев, то после этого удручающего открытия насчет брата Нестора я уже не мог думать ни о чем другом. Украденная взбивалка стала для меня как ящик Пандоры, из которого высыпались тысячи подозрений. Что собой представляет Башня? Как она функционирует? Кто за этим следит. И где Гербош фон Окба? Я терялся в догадках. Я много думал, но безрезультатно. Все вокруг изменилось, изменилось внутри – как это бывает осенью, когда соки растений уходят в корни, и каждый лист несет в себе неотвратимое увядание. В положенные часы я приходил в мастерские к братьям, взыскую знаний, которые мне приходилось выманивать у наставников лестью или же хитростью. По ночам я боролся со сном, чтобы застать человека, подливавшего мне воду в умывальный таз. Но борьба была явно неравной. Я так уставал за день, что после ужина мне едва хватало сил доползти до кровати. Я клал голову на соломенную подушку и тут же проваливался в глубокий сон, как камень, брошенный в воду, тут же идет ко дну. Просыпался я только утром, и лица братьев были все теми же мертвенно-бледными масками, какие бывают у тех, кто не видит снов.

Первым, с кем я решил побеседовать, был брат Людвиг. Зная, как его раздражает мое присутствие, я сел так, чтобы он мог меня видеть от своей доски, и всю Теорию и Компоновку просидел с глупым видом и молча. Тактика, надо сказать, утомительная и скучная, но она принесла плоды, причем очень скоро. Брат Людвиг так упорно старался не замечать, как я маячу на периферии его поля зрения, что уже через пару часов у него развился местный астигматизм. [35] Ему приходилось щуриться левым глазом, от чего у него начались судороги в щеке. В конце концов он откусил кусок мела и выплюнул пыль мне в лицо.

– Чего тебе надо?

³⁵ Астигматизм (в переводе с латинского – отсутствие фокусной точки) – недостаток зрения, когда в одном глазу сочетаются неодинаковые преломляющие свойства оптической системы глаза. – Примеч. пер.

– А мне что-то надо, брат Людвиг?
– Ты тут сидишь и та-та-гаращишься на меня, как сын. Невозможно *работать* в таких условиях...

– А давно вы работаете над своей теоремой, брат Людвиг?

Вопрос застал брата Людвига врасплох. Он прищурился с подозрением:

– А почему ты вдруг спрашиваешь?

– Давно собирался спросить.

– И ты поэтому меня ды-ды-донимал весь ды-ды-день?

– А я разве вас донимал, брат Людвиг?

Математик ущипнул себя за щеку всей пятерней и тихо выругался себе под нос.

– Если я тебе отвечу, ты уйдешь с гы-гы-глаз моих? Обещаешь?

Я шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы, старательно изображая обиду.

– Обещаю, да.

Брат Людвиг кивнул, растирая сведенную судорогой щеку.

– Впервые я сформулировал свою теорему... сейчас, погоди... ага... сорок два года назад.

– *Сорок два года?*

– И три месяца.

– А вы сами как думаете, закончите вы ее или нет?

– Не де-де-дерзи.

То есть можно было с уверенностью предположить, что он посвятил всю свою жизнь разрешению проблемы, по сути своей неразрешимой. Верный своему слову, я вскочил с табурета и направился к двери. И тут мне пришла одна мысль.

– Брат Людвиг?

– Чего еще?!

– А что это за теорема, вы можете мне сказать?

– Не говори глупостей, мальчик, по прошествии стольких лет, когда я уже близок к решению, неужели я помню, что это за теорема?!

Пальцы у брата Эридуса были вымазаны чернилами, а глаза покраснели и слезились, как будто он резал лук. Я принялся без всякого интереса рассматривать его коллекцию азиатских ножей для бумаги, пытаюсь понять, в каком он настроении, и наконец полюбопытствовал, как продвигается его «Полный и всеобъемлющий лексикон всего сущего».

– Как будто пытаешься вычерпать море ложкой, – ответил он.

Был час Полного Недоумения, до вечернего Вздоха перед ужином оставалось не так уж и много времени, и можно было надеяться, что бдительность брата Эридуса не выдержит длительной осады. Я избрал жесткую и беспощадную тактику, хотя начал достаточно мягко, а именно с лести. У меня просто не было слов, чтобы выразить свое восхищение его поразительной самоотверженностью. Отдавая все свои силы столь титаническому труду, пренебрегая сном ради занятий, разве он не подобен Атланту, держащему на своих плечах небесный свод Знания и Мысли, сказал я ему. Зачем ему сон?! Сон – утешение смертных. Сон – тихая гавань для потрепанных бурей судов. Сладкие объятия Морфея. Укрепляющий сон, восстанавливающий силы и дающий поддержку.

Минут через пять он уже храпел у себя за столом, уронив голову на руки. Я потыкал его пальцем в плечо, чтобы удостовериться, что он и вправду заснул, и он лишь издал какое-то нечленораздельное мычание. Тогда я медленно подошел к запретным полкам. Книги в кожаных переплетах с застежками из свинца или в тончайшей оплетке серебряной филигрании издали напоминали чешуйчатую кожу змей или ящериц. У меня дрожала рука, когда я прикоснулся к изумительному по своей красоте изданию «De modis significandi» Дунса Скота. Но когда я попытался взять книгу с полки, она начала дымиться. По крайней мере мне так показалось вначале. Я поспешно захлопнул книгу и звонко чихнул в буране

бумажной пыли. Потом обернулся в испуге, но брат Эридус даже не пошевелился во сне. Когда пурга разложившихся слов слегка поулеглась, я вернул пустую обложку на полку. Состояние других книг, выбранных наугад, было немногим лучше. «Doctrinale puerorum» – вся ее мудрость досталась прожорливым книжным червям – взорвалась, точно гриб-дождевик, выбросив облако черных спор. «Decretatorium neologium» Ианотуса де Брагмардо вся провоняла грибом. Из «Palabras muertas de la Mancha» посыпались рыжие паучки.

Я собрал пыль в кучку носком сандалии. Голова у меня кружилась. У Брата Эридуса не было никаких книг! Получается, он работал по памяти?! Только теперь до меня дошло, что я не видел ни строчки из написанного братом Эридусом. Позабыв про страх разоблачения, я принялся рыться в бумагах у него на столе – в этих бесконечных заметках и примечаниях к «Полному и всеобъемлющему лексикону». Хотя я далеко не лингвист, мне все же пришлось поверить собственным глазам. Записи брата Эридуса представляли собой длинные списки имен существительных и глаголов, причем явно выдуманных. Изобретательный брат Эридус придумал систему спряжения глаголов, фантазмагорическую грамматику, этимологию и лексику. Все это было составлено со скрупулезной дотошностью и большим прилежанием и с точки зрения полезности не представляло вообще никакой ценности.

Брат Эридус зашевелился во сне, ресницы его задрожали. Когда он выпрямился на стуле, я уже был за дверью.

Словно гордые родители новорожденного младенца, братья Греда и Эп предъявили мне свое новое детище – какую-то медную загогулину в форме латинской «L». Держа ее на свету, они вертели ее и так, и сяк у меня перед носом, дабы я восхитился сим дивным творением. Да, сказал я, замечательная штукавина – а она для чего? Воркуя, как два голубка, они прикрепили свою загогулину к колесу шарманки. Рукоятка (ибо это была рукоятка) сломалась при первом же повороте.

– Разумеется, – хором проговорили братья, глядя на медную «I», – это всего лишь прототип.

Быстро оправившись от конфуза, они набросились на орган и занялись полировкой труб, и без того начищенных до зеркального блеска. Потом брат Греда принялся насвистывать их любимый мотивчик, а брат Эп прищелкнул пальцами и уселся за регистр. Брат Греда взялся за мехи.

– Потрясающе! – завопил он с воодушевлением. – Импровизированный концерт!

Все, как всегда: они делали вид, что играют в спонтанном порыве, я делал вид, что мне нравится, и изображал благодарного слушателя. Доиграв «органную пьесу» до конца, братья Греда и Эп повернулись ко мне в ожидании бурных аплодисментов, каковые, понятное дело, не замедлили последовать.

– Берет за душу, правда? – спросил брат Эп. – Я видел в зеркале, как ты морщился, пытаясь сдерживать слезы. – С каждым разом выходит все лучше и лучше, – ответил я. – У вас есть ноты? Мне бы хотелось их изучить.

– Что?

– Ноты.

Брат Эп побледнел. Брат Греда вспыхнул, как маков цвет.

– Нотная запись.

– Нотная запись, – тупо повторил брат Эп.

– Ну да, чтобы записывать музыку. Вы ведь записываете свою музыку? Которую сочиняете?

– Ну, мы держим все в голове... чтобы тренировать... мышечную память... Это Мастер так... ой! .. Сейчас мы начнем... ой-ой!..

Они вовсе не сочиняли новую джигу: просто брат Греда пинал брата Эпа ногой по голени.

– Вы что же, не знаете нотной грамоты?

– А где написано, что обязательно знать *эту самую* грамоту? Гению не нужна никакая

грамота, – заявил брат Греда.

– Но как вы тогда запоминаете те мелодии, которые сочинили прежде? – спросил я.

– Музыка, – отозвался брат Эп, – есть подвижный процесс.

– Ага, – сказал я и вышел, оставив их разбираться со своими хитроумными приспособлениями.

Брат Кай, оружейник, единственный из шести братьев Башни избежал моих подозрений. Должно быть, почувствовав, в каком я настроении, он возился со мной все утро, просвещая меня в оружейной премудрости. Он объяснил мне устройство осадных машин, продемонстрировал действие анемометра, сиречь прибора для измерения силы ветра, и пропел дифирамбы греческому огню, желатиновой зажигательной смеси, каковая использовалась в битвах древних до того, как изобретение пороха лишило войну поэтичности. Тогда-то я понял, что сдержанность и спокойствие брата Кая были, с одной стороны, необходимым условием, а с другой – прямым следствием его технического мастерства. Ибо, как отмечал сам брат Кай, для того, чтобы рассчитать форму клинка или собрать взрывное устройство, необходима предельная сосредоточенность и аккуратность. Брат Кай также продемонстрировал мне – на мышах в запечатанной клетке – действие газообразного хлора и фосгена. Когда мыши в клетке прекратили пищать и корчиться, он огласил свои выводы.

– Разумеется, – сказал он, – направление и сила ветра могут сбить все расчеты. Так что ты понимаешь, для чего нужен анемометр. Я также экспериментирую с пальмитиновой кислотой. Как и греческий огонь, она обладает *неослабевающим* действием.

Это была непреложная истина: брат Кай был влюблен в свое дело.

И так – день за днем. Все то же самое, ничего нового. Правда, чем дальше, тем труднее становилось братьям скрывать свою неприязнь друг к другу. Люди ученые и культурные, они не опускались до грубых стычек, хотя споры и ссоры случались уже повсеместно. Политическая атмосфера в Башне, пронизанная взаимной враждой, была столь же зыбкой и нестабильной, как токи воздуха в центральном колодце. Каждый день возникали новые альянсы, которые распадались буквально на завтра, и вчерашние союзники становились соперниками и врагами. В Красной Комнате, в Алой Палате, но чаще и яростнее всего – в трапезной, братья боролись за первенство. Однажды утром, спустившись к завтраку, я обнаружил, что трапезная пуста. Стол был накрыт; нетронутая еда на тарелках уже начала заветриваться. Я уселся за стол, не зная, что делать еще, как вдруг из-за красных шпалер послышались голоса. Собравшись с духом, я подошел ближе и заглянул сквозь прореху в поблекшей от старости ткани. За занавеской скрывалась дверь в потайную комнату. Дверь была приоткрыта. Я раздвинул портьеру и заглянул в щелку. В комнате с дубовыми панелями на стенах не было никакой мебели, кроме большого резного кресла, похожего на трон. Вокруг этого одинокого кресла стояли шестеро Избранных.

Брат Эридус распинался – попеременно на нескольких языках – на тему водительства и руководства. При этом он незаметно перемещался поближе к «тронному» креслу. Брат Нестор тоже потихонечку приближался к креслу с другой стороны, даже немного опережая своего соперника и периодически прерывая поток его красноречия презрительными междометиями. Брат Людвиг – он стоял слева – шипел от ярости и дергал себя за волосы. Братья Греда и Эп – они были справа – беспокойно топтались на месте и морщились, словно захваченные песчаной бурей. Один только брат Кай сохранял спокойствие; не принимая участия в перепалке, он стоял чуть в стороне, неподвижный и невозмутимый, как рыцарь, собранный из пустых доспехов.

– ...вот почему, – заключил брат Эридус, проворно взгромоздившись на трон, – я могу с полной ответственностью заявить, *in sacer verbo dotis*, что по праву преемственности избрать надо меня, и сие даже не подлежит обсуждению.

– На каком основании? – взорвался брат Нестор.

- Non est discipulus super magistrum.
- Ты мне не учитель, Эридус.
- Ego sum quis sum: dominum in divino veritas.

Разъяренный брат Нестор обратился к присутствующим, ища в них союзников против лексиколога:

– Его претензии безосновательны: он пытается заговорить нам зубы своими нескладными виршами!

На что брат Эридус ответил:

– Antipericatametanaparbeugedamphicibrationesmerdicantium!

Сие впечатляющее извержение послало дискуссию в свободный полет, вернее – в свободное падение. Брат Эридус, от натуги весь красный, взобрался на кресло с ногами и принялся выкрикивать сверху:

– Chaultcouillonss! Pantofla merdorum! Scheisskopf!

В ответ брат Нестор сбросил воображаемых блох со своих гениталий.

– Furfuris! – надрывался брат Эридус. – Simium! Improbe mendax!

Братья Греда и Эп, ухмыляясь, наблюдали за перепалкой с жадным вниманием вуайеристов. Брат Людвиг, не имея способностей к изобретению собственных латинизмов, создавал шумовой фон для звучащих скабрезностей:

– Пы-пы-пы-пы-пы-пы...

И вдруг среди всего этого гвалта я уловил тихий шелест: ускользящее дыхание, приглушенное покашливание. Где-то рядом. Братья тоже его услышали, и все разом умолкли. Что-то привлекло их внимание – что-то в комнате, с той стороны двери, за которой был я. Некое существо: исполнительный и незаметный слуга, появившийся словно из ниоткуда. Следуя скрытому указующему жесту, шесть пар глаз обратились ко мне.

Я поступил, исходя из детской логики: просто закрыл дверь.

Когда по прошествии какого-то времени Избранные вернулись в трапезную, я сидел за столом, делая вид, что полностью поглощен едой. Виноватое смущение ощущалось так явственно, словно кто-то испортил воздух. Братья расселись по своим местам и тоже сделали вид, что у них разыгрался аппетит – все, кроме брата Нестора. Тот не скрывал своей ярости. Сперва он еще как-то сдерживался, лишь раздраженно болтал ложкой у себя в тарелке, но потом все же не выдержал: тяжело вздохнул, набрал полную ложку тинообразного варева и – с поразительной, надо заметить, меткостью – метнул этот снаряд в лысину брата Эридуса. Вязкая масса попала в цель с оскорбительным мокрым *плюх!* Потрясенный до глубины души, я ждал, что будет дальше: перестрелка едой или смертоубийство. Но ничего не случилось. Брат Эридус продолжал громко чавкать, как ни в чем не бывало. Его соседи по столу согнулись над мисками в притворном безразличии, но у них побелели костяшки пальцев – с такой силой сжимали они свои ложки.

Показное спокойствие брата Эридуса окончательно вывело из себя брата Нестора. Он закричал:

– Вы все *ослы!* – Ослы напряженно уставились в стол. – Мы же здесь заостенели уже. Нам нужна новая кровь. Приток свежей энергии. Немного *дурачества*, черт возьми! Вот что нам нужно, да!

– Nihil... ante... discipulis, – ухмыльнулся брат Эридус. Брат Нестор аж запыхтел от возмущения и упал на стул, обессиленный своей вспышкой. Скорее бы уже был Созыв к Прилежанию! Нам всем не терпелось побыстрее разойтись по своим комнатам. Когда же гонг наконец прозвучал, братья буквально сорвались с мест.

Рассудив, что момент подходящий, я, аки волк за добычей, устремился вдогонку за братом Нестором. Сейчас, когда он унизился перед нами своей несдержанностью, он вряд ли найдет в себе силы опровергнуть мои обвинения. В общем, я бросился следом за ним. Однако, когда мы пришли к нему в мастерскую, я не обнаружил своего главного доказательства – взбивалки. Должно быть, брат Нестор припрятал ее подальше – среди аппаратов, накрытых рогожкой. Под этими бурыми шкурами, с деталями, выпирающими, как

рога, изобретения брата Нестора были похожи на печальных коров, пасущихся в пыли. Я заметил, как бы между прочим, что у него тут жуткий беспорядок.

– Это моя мастерская, – огрызнулся он. – Как мне удобно, так я тут все и устроил!

– Может быть, все это можно куда-нибудь переставить? Ну, чтобы место не занимало.

Брат Нестор ходил взад-вперед, как разъяренный медведь в клетке.

– Нельзя переставить, – пробормотал он себе под нос.

– Почему?

– Верхние ярусы.

– Какие Верхние ярусы?

– Ну, он собирался складировать там этот хлам.

– Кто?

– Мастер.

– И почему он его не забирает?

– Что?

– Почему Мастер не забирает весь этот хлам наверх?

Я испугался, что брат Нестор снова впадает в прострацию: у него отвисла челюсть, голова упала на грудь, глаза закатились. Но на этот раз ему не удалось уйти от ответа, прибегнув к убедительному спасительному беспамятству.

– Э... а тебе разве не говорили?

– Не говорили – чего?

– Я думал, ты знаешь.

– *Что* знаю?

– Гербош фон Окба мертв.

Когда я в ту ночь ворочался у себя в постели (в ожидании сна, который утянет меня в глубину, как акула), я бродил мыслями в запутанных лабиринтах Башни. Вверх по крутым винтовым лестницам, по тихим пустым коридорам, из мастерской в мастерскую, из покоя в покой; подобно крошечной мошке, я забирался в уши храпящих братьев и проникал им в мозги; там я блуждал по болотистым вязким тоннелям серого вещества, и выбирался наружу, и погружался в алый поток в их венах.

Кто-то тихонечко постучал ко мне в дверь. Это был брат Нестор, весь возбужденный и потный.

– То, что я тебе рассказал, – прошептал он с порога, – ну, ты сам знаешь, о ком. Лучше, чтобы никто не знал, что ты знаешь. Но самое главное, чтобы никто не узнал, что это я тебе рассказал. Что он того... *бджжж*. Ну, ты понимаешь: *пиши*. Понимаешь?

Дыхание брата Нестора отдавало обидой и крепкой брагой. Я смотрел на его губы в пузырьках слюны, на его клочковатую бороду. Я заверил его, что я все понимаю и ничего никому не скажу.

– Спасибо, – выдохнул он. – Большое спасибо. – Пятясь задом, он вышел в коридор, по-прежнему не отпуская моей руки. Ладонь у него была липкой от пота.

– Скажите мне только одно, – сказал я. – Мастер... а как он... как вы это назвали, *бджжж*!

Брат Нестор поджал губы.

– Это был гений, знаешь ли. Великий человек. Но он был *вор*. Да – он воровал у меня идеи. Едва я заканчивал опытный образец, как он объявлял, что у него уже есть рабочая модель.

– Он крал ваши идеи?

– Из зависти. Его бесило, что кто-то может составить ему конкуренцию. И тем более – я, «мальчишка».

– А как он умер?

– Сердечный приступ. Нашли его в ванной. Лежал весь синий. А вода в ванной была черная.

– И когда это случилось?

Брат Нестор украдкой взглянул в темноту у себя за спиной.

– За восемь дней до того, как ты здесь появился. Похоронили его очень быстро – таков обычай. Мертвое тело может остаться в Башне не более суток, а потом его навсегда отправляют в Склепы. – В Склепы?

– Здешнее кладбище.

– А где этот Склеп?

– Склепы.

– Где эти Склепы?

– Он – в Девятом. Слушай, мне надо идти. Пока нас никто не заметил.

Я с радостью отпустил его руку, и он исчез в темноте коридора.

Верный своему слову, я никому не сказал о том, что брат Нестор проговорился мне насчет Мастера. Братья тоже ничем не показывали, что им это известно (а это стало известно почти мгновенно). Но за обедом я то и дело ловил на себе любопытные, настороженные взгляды – так смотрит собака на вроде бы безобидную гусеницу, которая неожиданно перевернулась на спину, демонстрируя ядовитые усики. А незадолго до ужина моя комната превратилась в открытую исповедальню: мои наставники, которые прежде всячески избегали общения, теперь шли ко мне сами, горя желанием поведать мне правду о смерти Мастера.

Брат Эридус даже принес мне гостинец: яблоко, настоящее яблоко – я съел его целиком, вместе с косточками.

– Уж не знаю, что он там тебе наговорил, – начал он без всяких преамбул, – но все это – злобная клевета. Брат Нестор страдает разлитием желчи от ненасытного честолюбия.

Я молчал, только пускал белую яблочную слюну.

– Смерть Мастера – большая потеря для всех для нас. Но это был просто несчастный случай, злым умыслом там и не пахло.

– Что за несчастный случай? – спросил я с набитым ртом.

– Мы нашли его в Бархатной комнате. Он лежал на полу, прижимая к груди «Псевдоэпиграфу» Гитлодия. Вне всяких сомнений, он полез на стремянку, чтобы дотянуться до книги, и оступился. Сломал себе шею. Так нелепо и так ужасно.

Сняв с себя этот груз, брат Эридус принялся бормотать что-то невразумительное («...превосходная книга, без всякой зауми, простой, ясный стиль изложения...»), но вскоре иссяк и ушел восвояси – я откровенно зевал во весь рот, и он наконец понял намек.

Буквально пару минут спустя меня посетил брат Людвиг. Он предложил мне пластинку сливочной помадки собственного изготовления, каковую я храбро съел. С его стороны это была мудрая тактика.

– Когда я впервые тебя увидел, я сразу понял: это хы-хы-хы-хороший человек. Умный, внимательный, вдумчивый, его так легко не возьмешь на дешевую пы-пы-пропаганду. Уверяю тебя, Гербош фон Окба не принимал никаких радикальных мер. Он был оптимистом, как... как... – Брат Людвиг зачем-то ущипнул себя за шею. – К тому же на уровне философском он этого не одобрял.

Я хотел было его прервать, но не смог выговорить ни слова: от вязкой помадки у меня слиплись зубы.

– Бедный Гербош. Ды-ды-ды-добрый друг и коллега. Мы нашли его мертвым в его постели. Лежал такой безмятежный, такой спокойный... как будто он просто спал. Я прикоснулся к его ногам. Они были такие холодные, как... как... ну, в общем, холодные.

Я с трудом проглотил липкий ком:

– А от чего он умер?

– Непроходимость кишечника.

Сгорбившись в изножье моей кровати, брат Людвиг смотрел на меня светлым и чистым взглядом:

– Поскольку я самый старший из всех теперешних братьев, пост Мастера мой по праву. Мой – по закону. Мы с Гербошем были, как... – Не найдя нужного слова, он сложил два

пальца крестом. – Вот *так*. Но эти двое, Эридус и Нестор, пытаются встать у меня на пути. – Его голос внезапно смягчился, как размягчается муха, попавшая в кислоту. – Мальчик. Честный, хороший мальчик. Мне нужны твои ноги. – Серая старческая рука метнулась к моему колену. – Ты должен подняться на Верхние ярусы. Я сам не могу. Пы-пы-пы-подагра. Фы-фы-фиброзное перерождение. Тебе надо попасть в Библиотеку Мастера. Там есть су-су-сундук, в котором лежит ку-ку-ку... Ку-ку-кус... Ку-кус-Конституция! – Брат Людвиг перевел дух. – Дык-дык-документ, подтверждающий мое право на эту до-до-должность.

Я проглотил оставшуюся помадку.

– На Верхние ярусы, брат Людвиг? Но как я?.. Где мне?..

– Завтра. Всё завтра. Утро вечера мудренее. – Старик поднялся и направился к выходу, притворившись, что у него острый приступ старческой глухоты и он не слышит моих призывов.

На следующий день, в трапезной, я встретил братьев Греда и Эпа любезной улыбкой. Неразлучная парочка была явно в приподнятом настроении, что вообще для них не характерно. Они налили мне воды из кувшина (редкая обходительность) и жадно следили за тем, как я пью. Когда я, уже потом, заглянул к ним в мастерскую, они возились с вентилями органа. Я наблюдал за ними безо всякого интереса. А потом на меня напал приступ сильного кашля (почти сразу же после завтрака у меня разболелось горло: оно горело огнем), и братья Греда и Эп обернулись ко мне с выражением искренней озабоченности.

– Плохо дело, – сказал брат Греда. У меня жутко слезились глаза, но я видел, как братья подвинулись ближе друг к другу. – Это может быть лихорадка.

– Башенная лихорадка.

– Надо его лечить.

– А то все может закончиться очень плачевно.

Встревоженный, я хотел было заговорить, но боль в горле была такая, что я не сумел выдать ни слова.

– Есть только одно лекарство.

– Ортодоксальный сироп Мемлинга.

– Но, Эп – у нас разве есть Ортодоксальный сироп Мемлинга?

– Нет, Греда – у нас нет Ортодоксального сиропа Мемлинга. Но я знаю, где его можно достать.

– Ну, так говори, не тяни!

– На Верхних ярусах.

– Ну, конечно! На Верхних ярусах.

– И, может быть, наш юный друг, раз уж ему все равно подниматься...

– ...захватит для нас книги Мастера по композиции...

– ...по нотации...

– ...по мелодике...

– ...раз уж ему все равно по пути.

Они вручили мне пухлую карту, сложенную в несколько раз. Горло у меня горело огнем, руки тряслись. Братья Греда и Эп вывели меня в коридор. При этом они на два голоса предавались ностальгическим воспоминаниям о покойном: Мастер был для них другом и критиком, заявили они и еще раз напомнили, чтобы я не забыл захватить его книги. Мне все-таки удалось выдать из себя вопрос:

– А как он умер?

Греда:

– Удар.

Эп:

– Спазм кишечника. (*Пинок.*)

Греда:

– Спазм кишечника.

Эп:
– Удар. (*Пинок.*)
Греда и Эп в один голос:
– Ветры.

Во время обеда я почувствовал себя совсем плохо и ушел к себе, чтобы лечь. Братья, похоже, этого и не заметили. Но едва я улегся в постель, разлепив свежие накрахмаленные простыни, как ко мне тут же явилась целая делегация соболезнующих с гостинцами: фруктами и помадкой. То есть они приходили по очереди, не все сразу, но мне было так плохо, что все лица сливались в одно, и мне казалось, что все они говорят со мной одновременно.

– Из всех научных дисциплин, – говорит брат Эридус, – моя была ближе всех сердцу Мастера. Техника – слишком ребяческая; музыка – слишком неопределенная; математика – слишком абстрактная и далекая от человечности. В то время как первое, что поручил Бог Адаму в Эдеме – дать имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. (Будь здоров.) Столько лет мы с Мастером работали вместе: укрепляли корни, убирали застывшую смолу, устраняли наросты, всеми силами препятствовали паразитизации. (Дать тебе носовой платок?) Я ведь вижу, что ты лингвофил, правда? (Ты его выжми получше; видишь, совсем сухой.) Может, когда тебе станет лучше, ты поднимешься на Верхние ярусы? Понимаешь, какое дело: у меня что-то никак не идут балтийские языки. Очень трудно работать в условиях, далеких от совершенных. Список книг я составил. Какой славный мальчик! Я не забуду твою доброту и отплачу тебе тем же, когда буду в силе. – Я погружаюсь под черную зыбкую пленку. – Вот, прими в зы-зы-зы-знак признательности. Только не ешь все сразу. – Лицо брата Людвига наклоняется надо мной. – Я знаю, что они тебе наговорили... Эридус, эти музыкальные обезьяны, мы-мы-мы-маразматик Нестор... все это ложь. – Мокрая ладонь ложится на лоб; присасывается, как пиявка. – Башня слушает. По ночам она заглядывает в себя. Она ищет меня. Необъятная утроба из кирпича. – Сухие пальцы раздвигают мне губы и кладут на язык какой-то безвкусный шарик. Я глотаю, и меня обдает жарким дыханием брата Людвига в спиртных парах. – Золото и драгоценные камни – сколько захочешь, и больше. Только найди документ. – Рот, как луна на ущербе. Надо мной нависает тень. Моргают яркие голубые глаза. Слепящий факел в руках брата Нестора мешает мне видеть его лицо. – Мои изобретения, – шипит он. – Они украдены. Все украдено. А потом появился ты. На кого ты работаешь? На Людвига? На мертвеца? На *кого*?

Лихорадка рассеялась, как туман. Боль в горле прошла, насморк – тоже. Я лежал с широко распахнутыми глазами, глядя в темноту. Мой разум был чистым, как камень, омытый водой.

Что-то сдвинулось в темноте. Я затаил дыхание. Ничего. А потом снова: плеск воды, хлюпающей в ведре. Тонкая струйка воды льется в каменную умывальню. Я осторожно свесил похолодевшую руку с кровати и пошарил по полу в поисках кремня и кресала. Тихий, едва различимый шелест – как землеройка проводит лапкой по бумаге, – что-то зашевелилось. Я почувствовал на себе взгляд. Холодный взгляд. Быстрое, судорожное дыхание. Как у крысы. Страх придал мне живости: я ударил кремнем о кресало над фитильком масляной лампы, и зажегшийся свет ослепил меня самого. Глиняная плошка упала на пол. Какая-то скрюченная фигурка метнулась из круга света. Я не сумел разглядеть, что это было – перед глазами плясали синие искры.

– Стой! – закричал я, и сам поразился тому, каким испуганным был мой голос.

Искры перед глазами наконец потухли, и я сумел кое-как разглядеть непонятное существо. Это был никакой не урод, как мне показалось вначале. И не чудовище из ночных кошмаров. Больше всего это создание было похоже на голенького недокормленного ребенка. Шея у него была очень короткой, даже можно сказать, недоразвитой, и голова – лысая, как у неоперившегося птенца, – казалось, лежит прямо на непропорционально широких плечах.

Ребра выпирали так, как будто они сейчас порвут кожу.

– Пожалуйста, не убегай, – прохрипел я. – Я тебе ничего не сделаю.

Но ребенок меня не слушал. Он схватился за ручку двери, уже готовый выскочить в коридор. Я бросился следом за ним, но, поднимаясь с кровати, так резко сбросил с себя одеяло, что лампа потухла. Пока я возился с кремнем, странное существо растворилось в густой темноте дремучих артерий Башни.

Кровь стучала у меня в висках; сердце билось, как загнанный зверь. У меня было странное ощущение, что все вокруг мне враждебно. Чтобы как-то унять свой страх, я принялся размышлять о событиях последних дней. Что мне было известно? Что каждый из соперников в этой неведомой мне игре выбрал меня своей пешкой; своим мальчиком на посылках. То есть я пешка, но я же – и шахматная доска, на которой ведется сражение: так могучие державы, опасаясь друг друга, ведут свои войны на территории вассальных земель. У меня в голове разыгрывалось представление театра масок: я представлял себе братьев – одного за другим. Эридус, фальсификатор и выдумщик. Честолюбивый Людвиг и его нерешаемое уравнение. Греда и Эп, композиторы, не владеющие нотной грамотой. Нестор, с его мастерской, захламленной бесчисленными изобретениями сомнительного авторства. До какой низости смогут дойти эти люди ради достижения собственных целей? Я лежал в темноте, вспоминал бурные споры Избранников и пытался представить те смерти, которыми умер Гербош фон Окба.

* * *

Я подошел к вешалке и рывком сдернул с нее рубаху. На ладонь выпал сложенный листок. Я развернул карту, которую мне дали Греда и Эп, разложил ее на полу, придавив заворачивающиеся края ножками соседних кроватей, и принялся изучать ее при свете лампы.

Внешняя стена Башни, как я уже знал, была абсолютно глухая. Может, когда-то – много веков назад – в ней были окна, но потом их заложили, запечатав Башню внутри самой себя. За этой твердыней я с удивлением обнаружил несколько обширных зон, о существовании которых даже не подозревал, – на карте они были отмечены изумительными иллюстрациями. *Крипто-Зоологический кабинет (не существует)*, где когда-то хранились рога единорогов, образцы меха сфинксов, пыль от разбившихся големов, окаменевшие испражнения грифонов и чучело яйцекладущего грызуна с утиным клювом, каковое животное скептик-картограф объявил выдумкой изобретательного таксидермиста... *Песчаная комната*, оборудованная прохладными оазисами и периодическими миражами... *Купальни горячих источников*, давно охлажденных Временем... залы собраний наподобие гигантских пещер, где давно провалились полы и обрушились потолки... храмы, кухни и нужники, где теперь обитают лишь слизи и другие ползучие твари, которым для жизни не нужен свет. Часть Башни, которую братья использовали для жилья и работы, казалась крошечной по сравнению с этими необитаемыми областями; если принять всю Башню за человеческое тело, то обжитая ее зона была по размерам не больше печени. Я провел пальцем по черной линии на карте (братья Греда и Эп начертили ее углем), которой мне надо держаться, чтобы попасть на Верхние ярусы.

Я подрезал фитиль запасной масляной лампы, перелил масло в стеклянный тигель и зажег этот импровизированный фонарь. Потом оторвал кусок пергамента от свитка, куда я записывал результаты своих любительских изысканий, и скопировал ту часть карты, где пролегал мой маршрут.

Я приоткрыл дверь спальни и выглянул в коридор. На какой-то безумный миг мне показалось, что я стою на краю пропасти, и стоит сделать лишь шаг вперед, как я упаду к неминуемой гибели.

– Вздор, – произнес я вслух. Мой голос прокатился эхом по коридору: как мне хотелось поймать его и засунуть обратно в глотку. Но, похоже, никто меня не услышал, во всяком

случае, я очень на это надеялся, и эхо рассеялось в тишине – в гулкой, пронзительной тишине, от которой мороз по коже и сводит скулы. Дважды перекрестившись, я шагнул в темноту. В лабиринт.

На что оно было похоже, это запретное, тайное путешествие? Я бы сравнил его с приемом пищи. Подобно тому, как проглоченная еда проходит по пищеводу, так и я проходил в темноте, что как будто сжималась у меня за спиной, как сжимается при сокращении мышца, и раскрывалась передо мной. Звук моего собственного дыхания казался мне громче, чем звук шагов. Я знал, что ноги несут меня вперед, но я их не чувствовал. Проходя мимо Купален, я услышал, как журчит вода в насосе. Я прошел мимо спален Эридуса и Нестора, не решившись остановиться, чтобы прислушаться к звукам за закрытыми дверями. Потом – мимо уборных, где каменные сиденья, и холодный сквозняк обдувает седалище, и испражнения падают в яму с приглушенным плеском. Я поднялся по узкой лестнице. Мимо Алой Палаты и кельи брата Людвига с дверной щеколдой, утыканной лезвиями от бритвы. Еще одна лестница вверх. Винтовая спираль в темноту. На третьем и четвертом этажах располагались мастерские и кельи наших музыкантов и брата Кая. Я остановился в конце коридора и еще раз внимательно изучил карту, впрочем, ноги несли меня сами – как будто тело было умнее разума. Неопытный, слабый Тезей, у которого не было Ариадны, чтобы дать ему путеводную нить, я ставил крест белым мелом у каждого поворота, чтобы потом отыскать путь назад.

Никогда прежде я не поднимался на пятый этаж. Стены тоннеля тускло мерцали при свете моего фонаря; их поверхность была неровной, местами – ребристой, как небо. Пол был выложен каменной плиткой, которая влажно потрескивала под ногами. Наконец я добрался до последней лестницы. Мне показалось, что далеко-далеко вверху я разглядел пятно бледного синеватого света. Схватившись свободной рукой за перила, я заглянул в пустые глазницы черепа. Не настоящего черепа, быстро сказал я себе, а скульптурного изображения из окислившейся меди, в обрамлении больших берцовых костей, и надписью: IX. Requiescat in Pace [36], – что выползала, подобно извивающемуся угрю, из пустой глазницы. Медный череп украшал массивную дверь. Я нашел место последнего упокоения Гербоша фон Окбы. Но я не испытывал никакой радости. Мне еще предстояло подняться на Верхние ярусы – по гулкой и влажной лестнице.

Подъем занял значительно больше времени, чем я рассчитывал. Пол блестел у меня под ногами, как черное зеркало; я как будто парил на границе между воздухом и эфиром. Я приостановился – ноги болели, дух утомился, – не доходя до вершины, и теперь уже ясно разглядел вверху пятно света. Я хотел свериться с картой и полез было в карман, но потом вспомнил, что выронил ее в самом начале подъема.

– Не беспокойся – ты уже на месте.

Можно представить, как я испугался, услышав этот бесплотный голос. Фонарь выпал у меня из рук и разбился о каменные ступени. Прожорливая темнота поглотила меня целиком.

– Ты не упал? – спросил голос. – Сейчас я спущу тебе факел.

Весь в холодном поту, я стоял и смотрел, как синий огонь опускается ко мне на конце веревки. Мысли мои разбегались, как шарики пролитой ртути. Забрав факел, я первым делом подумал о бегстве.

– Не уходи, – сказал голос, – раз уж ты здесь, поднимайся ко мне.

Я подчинился, утратив всякую волю к сопротивлению. Последние ярды подъема были как муки Сизифа. Наверху меня встретил брат Кай. Второй факел висел у него на поясе; я помню, как подумал, что это опасно. Под факелом тускло блестели ножны с клинком – во всяком случае, больше всего это напоминало ножны.

– Я, должно быть, тебя напугал, – тихо проговорил брат Кай.

Я взглянул на вход в Верхние ярусы у него за спиной. Высокая – высотой двадцать

36 Покойся в мире (лат.). – Примеч. пер.

футов, а в ширину еще больше – дверь, вытесанная из дерева, черного, словно уголь, и забранная решетчатыми перекладинами. На перемычке из цельного мрамора виднелись древние непонятные письмена. Брат Кай встал между мной и дверью – целью моего похода, – словно заботливый отец, ограждающий своего ребенка от неприятного зрелища.

– У вас есть ключ? – спросил я.

– Ключ здесь не нужен. – Он положил руку мне на плечо. – Ты, наверное, устал после такого похода. Я провожу тебя до твоей комнаты – тебе надо поспать. И мы никому не расскажем о нашей встрече, когда мы друг другу приснились.

Брат Кай повел меня обратно. По дороге он разъяснил, что он, как сова, лучше чувствует себя по ночам, именно в те часы, когда большинство людей спят. Он рассказал мне о своих последних изысканиях. Спросил, знаю ли я про фосген? Про священные яды, которые убивают неверных мавров и не действуют на христиан. Про отравляющие вещества, которые растворяются в воде и никак себя не проявляют, но воздействуют на зародыш в материнской утробе, и тогда у врагов рождаются уроды.

– Разумеется, – сказал он, – яды – повсюду вокруг. Все живое, когда умирает и начинает гнить, обращается в яд. И чтобы познать его силу и подчинить ее себе, всего-то и нужно, что щетка для сбора, пузырек для хранения, крепкий дух и луженый желудок.

Мы спустились уже по третьей лестнице, а брат Кай все говорил и говорил, не давая мне вставить ни слова. Что-то в голосе брата Кая, в его преувеличенном дружелюбии, насторожило меня, и я стал внимательнее прислушиваться к его словам.

– В последние годы правления династии Тан, – говорил он, – жил один мастер по ядам. Звали его Лу Жун. И был он старшим евнухом при красавице Цзян-Цзы, честолюбивой сестре Императора.

У императора Гуань-Иня не было ни жены, ни детей, так что единственным его наследником был его племянник, сын Цзян-Цзы. И вот на девятый день рождения вероятного наследника лакированный алый дворец вдруг наполнился криками и стенаниями. Слуги замерли, кто где стоял, закусив щеки. Все опасались самого худшего. Но императора Гуань-Иня не задушили в постели, он не пал от мечей заговорщиков. Император кричал, ибо с утра прорицатель предрек ему скорую смерть. Делай что хочешь, сказал прорицатель, но враги плетут сети заговора, и тебе не дожить до конца года.

Император собрал вокруг самых верных придворных, а принца Чу с его матерью спешно ушли в самую дальнюю из провинций. Запершись в своей Цитадели, под охраной двух сотен отборных воинов, Гуань-Инь забросил свою Империю. Пираты бесчинствовали на Желтой реке и реке Хуанхэ; кочевники захватили соляные колодцы Сычуаня; рисовые поля погибали в небрежении. И чем больше отгораживался император от мира, тем сильнее боялся он за свою жизнь. Повара должны были лично пробовать приготовленные ими блюда, министры превратились в кухонных инспекторов, а сам Гуань-Инь похудел, ибо почти ничего не ел и изводил себя подозрениями.

Но от Судьбы не уйдешь. Однажды вечером император удалился к себе в покой. Его нашли на рассвете, и был он жестким и твердым, как терракотовая статуя. Сублимат – то есть ртутный хлорид – вызывает воспаление сердца, не дает выйти моче, блокирует все отверстия. Император умер от медленной имплозии. Это был как бы взрыв организма, но направленный внутрь. Никто из придворных так и не понял, что послужило причиной смерти. Любимый катамит императора – с которым он уединился в тот вечер в спальне, – бесследно исчез. Его так и не нашли: ни живым, ни мертвым.

Вот так получилось, что юный принц Чу сделался императором, его мать – Вдовствующей Императрицей, а Лу Жун – самым богатым из простолюдинов в Кайфыне. Вдовствующая Императрица Цзян-Цзы, сосредоточившая в своих руках всю власть в Империи, отомстила за убийство брата, распорядившись казнить всех его Приближенных. Ее сын, новый Император, смотрел на трупы, что качались на шелковых вервях, словно тушки ворон.

И ты мог бы подумать, что настала эпоха всеобщего процветания. Но честолюбие Цзян-

Цзы не знало пределов. Она жаждала единоличной власти. По городу поползли слухи, что во Дворец проник демон, алчущий смерти юного Императора. Вдовствующая Императрица, как и всякая мать, что печется о благополучии своего ребенка, отправила сына в пагоду, ради его безопасности. Она окружила его стражей, которая не допускала к мальчику никого – даже его любимого учителя, верного Лу Жуна. Лишенный нормального человеческого общения, мальчик играл со своей собакой: гладил ее жесткую шерсть, прятал лицо в складках морщинистой морды. Собаке в отличие от мальчика-Императора не запрещалось выходить из пагоды. Когда собака возвращалась из Дворца, мальчик ловил в ее шерсти запретные запахи своего дома.

Закрывшись в своих роскошных покоях, Лу Жун приготовил самый изысканный яд. Ему нужно было изобрести снадобье без запаха, способное сохранять свои свойства достаточно долго, но действующее мгновенно. В городских трущобах случалось немало странных смертей, прежде чем Лу Жун добился того результата, который был нужен его хозяйке.

Однажды утром в Нефритовом Саду Лу Жун увидел собаку юного Императора, которая самозабвенно выдергивала из земли орхидею. Отравитель достал из кармана блюдце и пузырек со специально обработанным молоком. (Лактоза, видишь ли, остается в слюне.) Собака отведала угощение и побежала домой, а Лу Жун вымыл блюдце в фонтане.

Ты только не думай, пожалуйста, что ребенок страдал. Сок растения *Potamensis* вызывает божественные видения – в этих видениях сбываются все желания и мечты. Император Чу, представляя себя крылатым драконом, шагнул в пустоту с крыши пагоды и так нашел безвременную смерть, оставив свободным трон – для своей безутешной матери.

Брат Кай так упорно смотрел на мой профиль, что мне пришлось повернуться к нему и заглянуть в его черные сверкающие глаза.

– Я работаю в том же направлении, – сказал он. – Из травы *Achaemenis* я могу сделать вытяжку меланхолии; из белладонны – немыслимые галлюцинации. Моя любимая сурьма не имеет ни вкуса, ни запаха. Вытяжки весом с горошину хватит, чтобы убить человека; стручок убьет шестерых. Противоядие, кстати, получают из корней *Enula satrapa* – но она не растет в наших краях.

Он дал мне время вникнуть в его слова, дал время угрозе укорениться. Я чувствовал, как ее семя прорастает у меня в животе. Я лихорадочно соображал, что сказать, потому что мне было необходимо сказать хоть что-то: молчание само по себе было как медленный яд, и единственное спасение – притвориться веселым и беззаботным.

– А что случилось в итоге с Вдовствующей Императрицей? – выдавил я.

– Добившись единоличной власти, она стала подозревать всех и вся. И она приказала своей верной страже убить всех слуг во Дворце, а потом отравила запасы соли. Сама Цзян-Цзы умерла три месяца спустя от пролежней и голода, ибо некому было за ней ухаживать. – Лицо брата Кая было таким спокойным и безмятежным, как будто он говорил о погоде. – Но не волнуйся: Лу Жун уцелел. Таланты великих людей нужны всегда и везде, где идет битва за власть.

Мы дошли до дверей моей спальни. Брат Кай выжидающе остановился в дверях, как будто мы только-только вернулись домой после бурной ночи в городе, и нам не терпелось скорее лечь спать. Изображая сонливость, я направился к своей кровати. Брат Кай коротко попрощался со мной и ушел, а я остался один на один со своим страхом.

Завтрак. Избранные сидят над своими дымящимися мисками. Я наблюдаю за тем, как они жуют, медленно двигая челюстями. Брат Кай уткнулся в книгу; Грета и Эп парили мыслями где-то в заоблачных высях; старый Людвиг рассматривал свои ногти. Брат Эрикус подталкивал ложкой к краю миски утонувшего долгоносика. Брат Нестор пристально изучал разводы на деревянной столешнице. Я решил проверить, насколько они погружены в себя, и нарочно перевернул солонку. Но никто не выговорил мне за это – даже брат Людвиг, помешанный на экономии соли. Я сделал вид, что полностью занят своей овсянкой. Когда я

поднял глаза, взгляды метнулись в разные стороны, как стайка испуганных рыбок. Стало быть, братья за мной наблюдали. Можно было представить, что будет, когда прозвучит Созыв к Прилежанию: меня будут всячески обхаживать, и просить об услуге, и класть руки мне на колено.

При одной только мысли об этом мне стало дурно. Я оттолкнул свою миску на середину стола. Братья замерли в ожидании. Я взмахнул ложкой, и липкие комья овсянки распластались по циновке на полу.

– Это помои, а не еда, – объявил я, пытаюсь унять дрожь. – От нее пахнет. Этой гадостью только свиней кормить. – Я швырнул ложку в стену. Она со звоном упала на пол. Но братья были глухи, как камни. Я чувствовал запах интриг и страха, накопившийся здесь за долгие годы, – невыносимое зловоние их преступлений.

Я больше не мог там оставаться. В этой душной, давящей атмосфере, пропитанной неприязнью и подозрительностью.

Я поднялся из-за стола и вышел из трапезной, пробормотав извинения. Едва выйдя за дверь, я побежал. Никто меня не преследовал. Никто и не стал бы меня преследовать: погрязшие в своей ежедневной рутине, после завтрака они разойдутся, сердитые и раздраженные, по своим мастерским, и каждый из них будет уверен, что я сейчас с кем-то из его соперников.

Из мастерской Нестора я украл долото и деревянный молоток.

Терзаясь сомнениями, я поднялся на пятый этаж, ориентируясь по своим меловым отметкам. Я прекрасно осознавал опасность этого предприятия, и поэтому старался ни о чем не думать: чтобы не остановиться на полпути. Я добрался до конца самого дальнего коридора на пятом этаже и остановился, тяжело дыша, перед дверью с черепом.

Замочная скважина напоминала разверстый рот, а внутри, надо думать, был сложный запирающий механизм. Сама защелка, металлический язычок толщиной в один дюйм, казалась совершенно неодолимой. Я приставил к ней долото и со всей силы ударил молотком. Защелка устояла, но замок вылетел из рамы. Дверь распахнулась. Петли выгнулись от натяжения. На мгновение дверь замерла, словно в раздумьях. А потом петли не выдержали и – *бабах!* – дверь упала, словно костяшка домино. Пыль поднялась, как дым. Обожгла мне горло. Я снял факел с ржавой подставки на стене и вошел в Девятый Склеп.

Склеп напоминал пещеру. Уже потом мне довелось побывать в пещерах, в Альпах, на входе в подземный лабиринт, где с невидимого потолка свисали сталактиты, тонкие, как соломка; и их там было больше, чем щетинок у кита в пищеводе. В этой природной пещере свет от факела у меня в руках доходил до скошенной дальней стены, и таким образом, ощущение конечного, замкнутого пространства все же присутствовало. Но там, в Башне, в Девятом Склепе, свет от факела как бы тонул в бесконечной тьме. Я стоял в окружении каменных саркофагов. Многие камни давно поистерлись от времени. Надгробия были разные: и совсем простые – как ванны, накрытые ровными плитами, – и украшенные скульптурными изображениями. Стопа одного мудреца, который в своем вечном сне прижимал к груди компас и скипетр, рассыпалась в пыль, когда я дотронулся до нее рукой. Я смотрел на этого деревянного мага, изъеденного червями, и дивился тому, с каким мастерством скульптор изобразил морщинки у него на лбу, опущенные уголки губ, закрытые веки в прожилках вен, пышные локоны, что стекали подобно двум симметричным ручьям в кудрявую реку его бороды. Я посветил факелом на бока саркофага в надежде найти там табличку. Но когда я ее нашел, моя радость тут же сменилась немым потрясением – холодным ознобом пророческого открытия.

**Hi c depositum est Corpus
GERBOS VON OKBA
Hujus Turris Magistri.**

**Obiit 23 Die Mensis Maius
AD 14 – Anno AEtatis 66.**

Я придвинулся ближе к табличке с эпитафией Мастера. Из-под каменной дощечки, подобно ножкам раздавленного насекомого, торчали обрывки другой, более древней надписи: изгибы и петли неведомого алфавита. Я провел пальцами вдоль крышки и нащупал свежие сколы. То есть крышку недавно вскрывали. Скульптуру древнего мудреца прикрепили на место известковым раствором. Я закрепил факел на полу и попробовал сдвинуть крышку саркофага, преодолевая страх, как школьник, который сам себя берет на «слабо». Крышка сдвинулась, но буквально на волосок. Я поднялся на ноги и подналег посильнее – крышка сдвинулась еще чуть-чуть, ломая скрепляющий раствор. Самые упрямые блямбы затвердевшей известки пришлось отбивать долотом. Используя долото как рычаг, я расширил зазор между деревом и камнем. Поскольку мой факел стоял на полу, я не видел, что там внутри, в саркофаге. Да, я не видел, но зато чувствовал запах. Я оторвал кусок ткани от рукава и соорудил импровизированную маску на нос и рот. Я весь дрожал, кожу щипало от пыли. Я толкнул крышку так сильно, что не устоял на ногах: хорошо, я успел ухватиться за край саркофага, иначе бы точно попал рукой в раздутый живот мертвого Мастера.

Представьте себе мое ликование: я нашел подтверждение своим догадкам. Невзирая на страх и на позывы на рвоту, я все же пролил свет на Правду. В буквальном смысле. Скрюченные пальцы трупа напоминали сухие веточки, ногти отрасли длинные-длинные. Большие пальцы на босых ногах, что торчали из-под белого савана, загибались вперед и вверх, как носки туфель турецких султанов. В отличие от своего предшественника, чье скульптурное изображение было на крышке, Гербош фон Окба был чисто выбрит – то есть он *был* чисто выбрит, когда его клали в гроб. Сейчас его крапчатый череп украшали сухие пучки трупных волос, похожих на птичий пух. Лицо кривилось, как будто он был не в духе.

Я сидел в пыли под выбитой дверной перемычкой и прислушивался к шагам братьев. Я смотрел на вершину лестницы, освещенной тусклыми факелами на стенах. И вот они появились. С такого расстояния было трудно понять, где кто; отличить одну тонзуру от другой. Когда они подошли ближе, неразличимая масса распалась на отдельные составляющие, и я увидел, что первым идет брат Кай. Эридус и Нестор пихались локтями, стараясь обогнать друг друга хоть на шаг, а брат Людвиг (чудесным образом излечившийся от подагры) пинался ногами так, будто хотел сбросить с себя сандалии вместе со стопами. Гред и Эп замыкали шествие, наступая всем на пятки.

Мне было совсем не страшно. Я поднялся им навстречу, и они резко остановились – их импульс к движению разбился о мою неподвижность.

– Что ты наделал? – выдохнул Эридус, хватаясь за бок.

– Свы-свы-святотатство!

– Наказать его! – прокашлял Нестор. – Содрать кожу с подмышек!

Вход в Склеп у меня за спиной зиял, словно черная пасть. Братья сгрудились у проема, стараясь заглянуть внутрь. Я скрестил свои инструменты, прикрывая живот.

– И что ты скажешь в свою защиту? – спросил брат Кай, спокойно выдержав мой обвиняющий взгляд. – Осквернение могилы – самое тяжкое преступление против Закона.

– Понятно, – ответил я, – а перерезать Мастеру горло – просто мелкий проступок?

Брат Кай слегка приоткрыл сжатые губы.

– Злобная клевета! – взвился Эридус. – Пусть он замолчит!

– Я не понимаю, – растерянно пробормотал Эп. – Он о чем говорит?

– Вздор он несет! – сказал Людвиг.

Я указал на него долотом:

– Брат Людвиг, напомните мне: от чего умер Гербош фон Окба?

– Я же тебе говорил: непроходимость жул-жул...

– Желудка, да. Брат Эридус, вы говорили, что Мастер сломал себе шею, правильно? Когда упал, потянувшись за книгой?

Эридус моргнул.

– Э... да. За «Псевдоэпиграфой».

– Брат Нестор, как вы считаете, стоит ли брать с собой в ванну древние манускрипты? Всякое может случиться. И не обязательно – сердечный приступ.

Нестор даже бровью не повел, но его лоб покрылся испариной.

– И насколько я знаю, – обратился я к братьям Эпу и. Греде, – еще никто не *доперделся* до смерти.

Братья принялись бурно возмущаться, выгораживая себя и обдавая меня дурным запахом изо рта. Только брат Кай сохранял спокойствие.

– Если ты собираешься обвинить нас в злодеянии похуже, чем украшательство правды вымыслом, – сказал он, – тебе вряд ли представится более подходящий случай.

Я смотрел на их лица, мрачные и угрюмые, и чувствовал силу их ненависти.

– Мне бы хотелось, чтобы вы прежде всего задались вопросом: почему я на это пошел? – сказал я. – Почему открыл усыпальницу Мастера и подверг себя опасности? Я мог бы забыть о своих подозрениях. Так мне было бы спокойнее. В конце концов я ведь добился, чего хотел. Сбылась мечта детства: я здесь, в Башне, меня приняли в круг Избранных.

– Еще нет, – вставил Эридус. – Ты *пока что* не Избранный.

– Любопытство, – продолжил я. – Мною двигало любопытство, без которого нет познания. От брата Нестора я узнал, что Мастер умер. Рассказы других оказались настолько противоречивы, что тут хочешь не хочешь, а заподозришь неладное. В течение многих недель вы держали меня в неведении. Никто из вас не потрудился перевести мне Книгу Наставлений, а теперь вы меня обвиняете в том, что я нарушил закон. И что мне еще оставалось?! Только вскрыть эту могилу в поисках Правды. Это должно было произойти, рано или поздно... Сперва мне было непонятно, как убийца Мастера сумел избежать разоблачения. Вы все присутствовали на похоронах. Вы не могли не заметить глубокую рану на шее – она и сейчас еще различима, хотя прошло уже столько недель. То есть вы все ее видели.

– И кто же из нас убийца? – спросил брат Эридус.

– Брат Эридус, вы часто оставались наедине с Гербошем фон Окбой, так?

– Да. Я же тебе говорил, мы с ним вместе работали.

– Над вашим шедевром, как я понимаю. – Я хорошо рассчитал этот удар. – Я видел, в каком состоянии ваша библиотека. Без книг вы – как без рук, так что вы целиком и полностью зависели от Мастера. Вас это бесило. Вот почему вы желали ему смерти.

Лицо у Эридуса стало пепельно-серым.

– Ты прикасался к моим книгам?

– Да, брат Эридус, у вас были причины его убить, и у вас был подходящий случай перерезать ему горло. Эти ножи для бумаг у вас в кабинете... они какие-то уж слишком острые для того, чтобы резать бумагу, вам так не кажется?

Греда уставился на Эридуса во все глаза:

– То есть Мастера убил брат Эридус?

– Вздор! – закричал Эридус.

– Вздор, – согласился я. – У брата Людвига был более явный мотив. Как у старейшего после Окбы у него было приоритетное право занять место Мастера. Но время шло, он старел, а Мастер как-то не спешил умирать своей смертью. Ему самому давно стало ясно, что труд всей его жизни – эта недоказанная теорема – так никогда и не будет завершен. Со смертью Мастера он ничего не терял, зато приобретал очень многое.

– Я? Ты посмотри на меня: кожа да кости! Да я физически не сы-сы-способен ник-ник-никого убить!

– Если вы можете одолеть пять лестничных пролетов и не свалиться при этом без сил, – сказал я, – стало быть, вам хватит сил и на то, чтобы перерезать горло старому человеку. Тем

более что всем известно, какой вы вспыльчивый, вы не раз демонстрировали свой взрывной нрав.

– Все это очень забавно, – сказал брат Кай, – но где доказательства?

– Прежде всего мотив. Брат Людвиг просил меня принести ему с Верхних ярусов Конституцию, которая подтвердила бы его право на титул Мастера. Он пытался меня подкупить, обещал золото и драгоценные камни – сверкающие побрякушки, которые, как ему хорошо известно, в Башне не стоят вообще ничего.

Нестор вдруг встрепенулся. К всеобщему изумлению, он набросился на брата Людвиг, схватил его за горло и начал душить, приподняв на дюйм над полом. Брат Людвиг хрипел и дергал ногами, но никто из его коллег не спешил на выручку.

– Сожми еще чуточку крепче, – сказал наконец брат Кай, – и ты *станешь* убийцей, Нестор.

Нестор выпустил свою жертву. Брат Людвиг осел на пол, жадно хватая ртом воздух – как камбала, выброшенная на сушу.

– Да, – усмехнулся я. – Это было бы очень *кстати*, брат Нестор. Прикончи подозреваемого в убийстве, якобы в праведном гневе, и у тебя будет труп, на который можно свалить все грехи.

– Замолчи, – угрожающе проговорил брат Нестор.

– Понятно, что в отношении грубой силы – а чтобы разрезать хрящи, нужна сила, – брат Нестор превосходит вас всех вместе взятых. Вы все знакомы с его работой по уничтожению паразитов. Этот остекленевший взгляд, когда он потрошит какого-нибудь беспомощного грызуна... может быть, это было последнее, что видел в жизни фон Окба, когда задыхался, захлебываясь собственной кровью?

– Мотив? – требовательно произнес брат Кай.

– Брат Нестор считал себя обманутой жертвой. Он говорил мне, что Мастер крал его изобретения. Почему? Потому что брат Нестор – непризнанный гений Башни. А когда тебя так обижают, причем постоянно, тут поневоле возникнет желание убить обидчика.

– Я никого не убивал! – закричал Нестор. – Но Мастер действительно крал у меня идеи!

– Нет, – сказал я. – Может быть, вы в это верите, может быть, вы убедили себя, что все так и есть, только это все выдумки и измышления. Видите ли, брат Нестор... я знаю про взбивалку.

– Про какую взбивалку?

– Взбивалку для яиц.

– Что еще за взбивалка для яиц?

– *Моя* взбивалка для яиц. Изобретение, из-за которого меня взяли в Башню. Еще в нашу первую встречу вы прибрали ее себе. Вам было невыносимо смириться с мыслью, что у *меня* есть талант, и вы взялись за переделку моего устройства, чтобы потом выдать его за свое.

Брат Нестор покачал головой:

– Это неправда...

– Я видел модель у вас в мастерской! Вашу копию *моего* оригинала!

– Итак, заговор множится, – проговорил брат Кай. Мне показалось, что в его неприязненном взгляде мелькнуло тайное сочувствие и понимание. – И кто же из нас убийца исходя из твоей Грандиозной Теории?

– Я еще не дошел до наших друзей-музыкантов, братьев Эпа и Греды.

– Это неправда! – завопил Эп. – Никто ему горло не перерезал, он умер от спазмов кишечника!

Брат Греда бережно обвил руками грудь брата Эпа, словно успокаивая разбуянившегося ребенка.

– Брат Греда, – продолжил я, – вы признаете, что вы были готовы меня отравить, и почти отравили – чтобы достичь своих целей?

Но Греда как будто меня и не слышал; он поглаживал шею Эпа большим пальцем

левой руки.

– Вы мне признались, что не умеете ни записывать музыку, ни читать ноты. Все это делал Гербош фон Окба. То есть вы оба зависели от него целиком и полностью, как и брат Эридус. А зависимость порождает обиду. Я сам пострадал от вашей злобы. Вы подсыпали мне какое-то снадобье, потом сказали, что это была Башенная лихорадка – вы меня обманули, чтобы заставить сделать, что нужно вам.

– Да, – сказал брат Грета. – Но это *не мы* придумали...

И снова вмешался брат Кай:

– У меня вопрос. Если кто-то из моих коллег совершил это низкое, подлое преступление (назовем это так), почему же он не поднялся на Верхние ярусы и не забрал то, ради чего пошел на смертоубийство? Тот, кто убил человека, вряд ли станет терзаться сомнениями насчет кражи. – Глаза брата Кая светились от удовольствия. Он бросил мне вызов, который я должен был принять.

– Всеобщее недоверие, – сказал я. – Я подслушал ваш спор, кому быть Мастером. Где-то там наверху лежит что-то такое, что исполнит все ваши честолюбивые замыслы. И вы слетелись к нему, словно галки к колодцу: сами не пьете, но и другим не даете напиться.

– И разрешить эту проблему, – сказал брат Кай, – можно было единственным способом: послать наверх *тебя*?

– Вот именно. Я был как бы общий множитель в их планах.

– В *наших* планах?! – протестующе воскликнул брат Эридус. – Ты о чем говоришь?

– Но это же очевидно. Рана на шее Гербоша фон Окбы слишком широкая и глубокая. Такой разрез ну никак не получится с одного удара. И зачем было резать от уха до уха, когда достаточно просто перерубить яремную вену?

Я видел, как они задрожали. Я был как мрамор рядом с их плотью: Правосудие Башни.

– Мастер умер не от одного клинка. Вы все сговорились, объединенные общей ненавистью – и в своей неистовой злобе прикончили старого человека.

На мгновение все замерло. Я был как скульптурный Давид, увековеченный в камне в миг своего триумфа. Но Время – нетерпимое к человеческой жизни, ибо жизнь искажает время, – стерло усмешку у меня с лица. Я был в смертельной опасности.

– Кошмарно! Чудовищно! Зверство какое! – Братья завопили все разом. Уже потом мне довелось немало поездить по миру, и однажды я видел свирепую драку бесхвостых макак. Точно так же и братья дрожали от негодования, хватали ртом воздух и обнажали розовые десны. Я попятился к лестнице. И тут они все разом бросились на меня. Я взмахнул долотом. Раздался звук, как будто резко порвался шов, и брат Эп упал, прижимая ладони к лицу. Пронзительный и по-детски обиженный крик резанул мне по ушам. Я принялся колотить молотком по взбудораженной массе лиц. Ломались кости – каждый удар отдавался мне в зубы. Отступать было некуда. Разве что вверх по лестнице. Времени на раздумья не оставалось. Я развернулся и побежал, перепрыгивая через несколько ступенек разом.

Я не помню, как поднялся наверх. Ярость, что преследовала и гнала меня всю дорогу, – скорее всего я придумал ее потом, чтобы заполнить пробелы, куда не решается заглянуть Память. Одно я помню отчетливо: как поскользнулся на верхней ступени и упал, обдирая руки о зазубренные железяки. На этой темной, неведомой мне территории бежать было некуда – только ко входу на Верхние ярусы. Я рванулся к двери с надеждой, что она откроется. Я с разбегу ударился о деревянные балки. Нашупал рукой железное кольцо, вцепился в него – и дверь приоткрылась.

Я бросился внутрь, едва успев оглянуться через плечо. Братья, похожие в темноте на собрание вопящих ведьм, были уже совсем близко. Я поспешил закрыть дверь и задвинуть засов. Потом я еще постоял пару минут у двери, слушая вопли моих врагов, бесновавшихся с той стороны в бессильной ярости. Наконец крики стихли; больше никто не стучал кулаками в дверь, не пинал ее ногами – Братья поняли, что им до меня не добраться, и, похоже, ушли восвояси.

Я, однако, не сразу сдвинулся с места и еще долго стоял обдирая содранную кожу с

разбитых костяшек. Я вполне отдышался, но все равно медленно сосчитал до десяти, чтобы успокоиться окончательно.

Потом я обернулся.

У меня за спиной возвышалась летящая арка – побольше, чем в самом огромном соборе, – запечатанный вход на Верхние ярусы. Я оказался запертым на пяточке размером не больше кладовки. Впереди был сплошной кирпич. Однако слева я скорее почувствовал, чем разглядел в полумраке, неровность в каменной кладке. Я подошел и осторожно провел рукой по стене. Разбитый камень, расщепленное дерево. А чуть выше – трещина, словно шов темноты. Пустота. Проходя вдоль стены, я случайно задел ногой стопку бумаг, листы разлетелись, как стая испуганных голубей. Еще через пару шагов я споткнулся о какую-то низкую выпуклость и упал. Сущность бумаги в определенных пределах изменчива и многогранна: бумага – это отчасти Воздух (легкость ее составных элементов), отчасти Вода (ее обращение с примесями и инородными телами), отчасти – удушающая Земля. Впереди, насколько хватал глаз, простирались бумажные горы, сплошь отвесные склоны и глубокие карьеры. Я пересек этот бумажный завал на четвереньках. Листы из верхнего слоя скользили у меня под руками; то и дело я замирал на месте из страха, что меня снесет бумажным потоком. Уже очень скоро я понял, что никуда не продвигаюсь, потому что на каждый дюйм продвижения вперед приходится по три-четыре дюйма скольжения назад. Не знаю, что мною двигало: отчаяние или отвага, – но я начал рыть ход в бумагах, разгребая их прямо руками, как кролик роет нору в прелых листьях. А потом меня как будто схватила невидимая рука и выдернула из бумажного холма наружу, в вихре разлетевшихся листов. Я себя чувствовал, как лосось, выпрыгнувший из ревущего водопада в тихую заводь. Я оглянулся и увидел, что вывалился в соседнюю комнату сквозь пролом в стене, в который все еще сыпались листы бумаги. Судя по неровным краям и свежераскрошенному кирпичу, этот пролом прорубали здесь наспех, и он явно не предполагался в изначальном проекте.

Передо мной простирался длинный и темный коридор, сужающийся в перспективе. Но, как оказалось, это была всего лишь картинка, ложный образ – не прошел я и пары метров, как налетел лбом на разрисованную стену. Ударился я неслабо и даже тихо ругнулся себе под нос; в этом безлюдном месте мой голос был словно заблудший и чужеродный звук. Что мне делать? Куда идти? Это было похоже на бессвязный бредовый сон, который вдруг воплотился в реальность. С досады я пнул по резному плинтусу.

Плинтус сдвинулся с места.

Должно быть, я привел в действие какой-то потайной механизм. С натужным скрипом в стене приоткрылась дверь. Низкая, не больше двадцати дюймов в высоту, деревянная дверь, на которой еще сохранились следы былой лакировки. Дверь, вполне подходящая для кукольного дворца или для детского домика. Я невольно рассмеялся, опустил на колени и повернул крошечную медную ручку.

Дверь открылась в короткий проход: унылый, сырой и промозглый, с неровными, даже как будто ребристыми стенами. Присев на корточки, я заглянул туда и обнаружил, что коридорчик ведет в библиотеку; я в жизни не видел такой огромной библиотеки. Как мне хотелось туда – к этим заставленным книгами полкам, к этим толстым томам! Но было очень непросто протиснуться сквозь тесный проход. Куски битого кирпича впивались в ладони и в колени. Я ободрал лоб, и кровь заливала глаза, мешаясь с потом; во рту был устойчивый привкус соли и меди. Уже у самого выхода коридорчик сузился так, что я совсем было отчаялся пролезть. С тех пор как Платон описал своего Возничего, Человек продолжает оплакивать в себе Зверя. [37] Но в тот день мне бы точно пришел конец, если бы я полагался

³⁷ Во многих своих сочинениях Платон уподобляет душу возничему и двум крылатым коням, запряженным в колесницу. Колесница – это тело человека в его земной жизни. Возничий символизирует разумную часть души. Конь – неразумную. Один конь – хорош, он «друг истинного мнения, его не надо погонять бичом». Другой конь – плох, он «друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам» («Федр»). Первый конь – это «яростный дух»; а второй – «вожделение» («Государство»). – Примеч. пер.

на один только Разум. Меня спасла злость, телесная ярость против которой ничто не устоит – напряжение накапливалось во мне, пока я весь не превратился в крик, в первый вопль новорожденного младенца. Как пробка из бутылки, вылетел я во внутреннюю область Башни.

Библиотека представляла собой круглый зал, огромное «О». Повсюду – книги, в таком избытке, что их с лихвой бы хватило, чтобы повергнуть в священный страх самого Мафусала. [38] Семь винтовых лестниц расходились из центра круга и поднимались до самого потолка, к верхним полкам. Потолок был украшен мозаикой в виде небесного свода, когда-то яркой, а теперь поблекшей. Мне показалось, что я разглядел Плеяды и планеты на коленчатом вале Бога. Мне захотелось подняться повыше, чтобы все рассмотреть. Но я побоялся. Лестницы были какие-то хлипкие: они опасно зашатались, когда я попробовал их потрясти. Так что я стал рассматривать нижние полки. Начав с «Гадеса», я вытащил наугад с полки «Гематологию», «Агаду» и «Жития святых»; на «Хайку» (ярдов через тридцать) я сдался. Надо добавить, что книги не только стояли на полках, но и лежали стопками на полу, причем в совершеннейшем беспорядке, то есть не по алфавиту. Я смотрел на эти залежи знания и думал, что их, может быть, принесли сюда из каких-то других помещений на Верхних ярусах. Спасли от забвения и небрежения... но как? Стащили их вниз по предательским шатким лестницам... кто-то ведь потрудился, но кто?

Я все же решился: выбрал самую крепкую с виду лестницу и полез наверх. Книги смыкались вокруг меня все теснее, и вот сомкнулись совсем. Очередной тупик. Но я был смышленным юношей и уже понял, что надо делать: я принялся надавливать на корешки – просто так, наугад, – и уже очень скоро нашёл потайной рычаг, книгу, которая чуть выдавалась из общего ряда. Я надавил на «Hortus Paradisus Terrestris», и у меня над головой открылся проход: книжная полка отъехала в сторону с тихим стоном.

Мне опять пришлось лезть по тесному, узкому коридору, который привел меня во вторую библиотеку, точно такую же, как и первая. Там тоже было прибежище для бездомных книг. И те же самые семь лестниц расходились из центра зала: вернее, три лестницы еще стояли, а остальные четыре давно обрушились. Книги на полках начинались с «Parloir aux Pitres» и заканчивались «Перпендикулярным узором», что непременно повергло бы меня в уныние, если бы я не отвлекся на размышления об изобретениях брата Нестора. Ибо в этой второй библиотеке я обнаружил его работы: они занимали почти всё свободное место на полу – запыленные и никому не нужные. Я приподнял пару ближайших холстов: рычаги, рукоятки, шпиндели. Но больше всего меня заинтересовали царапины на полу. Судя по этим глубоким шрамам в мраморе, здесь явно передвигали какие-то тяжелые приспособления. Разумеется, проследить, куда или откуда они ведут, не составляло труда. Они упирались в глухую стену. Никаких проблем: я принялся нажимать на все книги подряд, и в конце концов дверь открылась. За ней обнаружился крутой спуск в виде желоба, прямой откос в никуда. Я мог только догадываться о том, что находится там – внизу. Шарнирные кости забракованных образцов, кладбище изобретений.

Наверху что-то скрипнуло, как будто дерево застонало. Я запрокинул голову, так что кожа на горле натянулась почти до предела. Одна из панелей на потолке, до этого плотно закрытая, теперь открылась. Меня как будто парализовало: я не мог отвернуться, не мог отвести глаз, хотя именно этого мне и хотелось. Там была голова. Она показалась всего на мгновение, но и этого было достаточно. Голова была маленькая, даже с учетом расстояния, и какая-то дефективная, как у карлика; замотанная бирюзовой шалью. Глаза – большие и красные, как у альбиноса (собственно, это и был альбинос); и еще я заметил толстые кожаные перчатки, отчего руки этого существа походили на медвежьи лапы. Я крикнул:

– Стой! – и существо тут же исчезло. Панель в потолке закрылась.

Что мне еще оставалось, кроме как броситься в погоню? Лестница тряслась и дрожала подо мной. Но все-таки выдержала. Добравшись до самого верха, я принялся лихорадочно ощупывать книги на ближайшей полке в поисках отпирающего механизма. Я даже не помню названия книги, которая открыла проход: я вообще не читал названия, я просто давил на корешки, и все. Я протиснулся в узкий лаз, оцарапав при этом шею.

В третьей библиотеке не обнаружилось никаких следов карлика. Но здесь зато не было лестниц, так что мой страх перед бесконечными повторениями стал потихонечку отступать. Я не сумел прочитать названия книг на полках, потому что не знал этого алфавита: сплошь узелки и петельки. Но самое главное отличие этого зала от двух предыдущих заключалось в том, что здесь пол был голым. Было приятно на это смотреть: никаких книжных завалов, никаких заброшенных изобретений. Идеальный порядок. А потом свет погас, и все погрузилось во тьму.

Это была абсолютная тьма, непроницаемая и сплошная – безо всякого рассеянного сумеречного свечения, которое позволяет глазам постепенно привыкнуть к сумраку. Как будто глубокие, первозданные воды хлынули в некую брешь в Пространстве. Отгородившаяся от Природы, замкнутая на себе, Башня была самой тьмой. Тьма... тьма, которую не прогонишь: она ждала, она ждет, когда Вселенная сама устремится к ней. Конец Творения, предельный итог – мир без света. Когда звезды, и луны, и бесконечные огоньки созвездий, и все, что было, и есть, и будет, всосется в некую крошечную частицу, что меньше пылинки, и все опять погрузится в Хаос.

Я как будто парил в пустоте. Не знаю, сколько прошло времени. Самое странное: я был совершенно спокоен. Безразличный и безучастный. Да, я мог бы остаться там навсегда – в этом подвешенном состоянии, в блаженном забвении, – если бы Башня сжалась надо мной. Но она меня не пощадила. Луч света вспорол темноту. Белый, пронзительный свет, он исходил откуда-то из-под пола. Один луч. Потом – второй. Третий. Станный, сгущенный свет; в том смысле, что лучи прорезали тьму, как клинки, и свечение не распространялось за их пределы. Их было все больше и больше, этих лучей. Как будто я сидел в темной коробке, а кто-то снаружи протыкал ее булавкой. Белые лучи перекрещивались в пространстве, как паутина из переплетенных нитей у вирд, этих богинь судьбы у викингов, которые прядут нить человеческой жизни и обрывают ее по своему усмотрению.

Мне показалось, что ближайший ко мне луч тихонько гудит – нет, не гудит, а поет, как поет хрустальный бокал, если провести по нему мокрым пальцем. Я осторожно протянул левую руку и провел в воздухе поперек луча. Ничего. Ни малейшего жжения. Я повертел рукой в полосе света, рассматривая ее со всех сторон. И вдруг увидел у себя на ладони – в случайном сплетении теней и линий – лицо брата Эридуса, Его голова по размерам была не больше, чем шиллинг; он смотрел на меня с моей левой ладони и скалил зубы. На зубах у него была кровь. Он слизнул ее языком. Потом осторожно ощупал руками свое лицо. Наверное, я должен был испугаться. Но мне вдруг стало смешно. Подобно какому-то нелепому божеству, я держал в руке человеческую душу.

И тут я понял, что каждый луч был как бы смотровым отверстием, позволяющим видеть, что происходит в других частях Башни. Я видел знакомые комнаты и коридоры, и совсем незнакомые мне места – я видел их глазами горшков и кастрюль, сквозь зеркала и маятники часов, сквозь канделябр над столом в трапезной. В данном случае мои руки действовали как холщовые экраны, на которые проецировались картинки, и я наблюдал за потайной жизнью Башни, оставаясь незамеченным для объектов моих наблюдений, если таковые объекты присутствовали. Большинство комнат были пусты, большинство дверных проемов, пусть даже и хорошо освещенных, вмещали в себя лишь туманную дымку – я так и не понял, были это затененные стекла, или в комнатах и вправду клубился туман, и это были помехи при передаче изображения. Но зато мне очень ясно показали мою спальню, где вовсю шла уборка. Все уборщики были очень похожи на того слугу, которого я вспугнул в ночь, когда меня лихорадило. Мне приходилось напрягать глаза (фигурки были не больше личинок у меня на ладони). Я видел, как эти несчастные детишки снимают белье и матрас у

меня с постели. Я закричал, чтобы они прекратили, но они меня не услышали. После уборки они, похоже, принялись за дезинфекцию. Окурив спальню какими-то лампами с горящими благовониями, они стерли последние следы моего пребывания в той комнате. Как будто я был какой-то опасной инфекцией. Но мне было уже все равно. Они лишь подтвердили то, что я уже знал и так. Что этот этап моей жизни закончился.

И все же эта моя бесполезная, в сущности, власть приводила меня в восторг: вуайерист во мне ликовал, неожиданно обретя этот всевидящий глаз. Вот, например, брат Людвиг втирает какую-то мазь в лодыжку. Вот брат Нестор, голый до пояса, умерщвляет плоть, бичуя себя молотильным цепом. А вот, посмотрите на это: лежит старый Эп, а над ним суетится брат Греда. Греда снимает глазную повязку. Из глаз брата Эпа сочится тягучая жидкость, похожая на яичный белок.

Я в ужасе отвернулся и случайно влез правым ухом в луч света. И сквозь этот вощенный канал – задев барабанную перепонку, которая ударяет по молоточку, который бьет по наковальне, которая стучит по стремячку, которое щекочет улитку, которая раздражает стенки лабиринта, который передает вибрацию нервам, которые питают мозг, так что он работает без остановки, – прошел разоблачительный звук.

– Как я буду теперь играть? – причитает брат Эп. – Как я буду играть?

Но Греда не утешает его. У него вырывается долгий, протяжный, печальный стон.

Я отшатнулся, зажав ухо рукой.

– Я увидел достаточно! – закричал я в темноту. – А сейчас мне бы хотелось уйти, если никто не против!

К кому я обращался? Уж конечно, не к Богу. Если бы мне пришлось выбирать между жестоким и непостижимым Наличием и жестоким и непостижимым Отсутствием, я бы выбрал второе.

Впереди – если здесь можно было говорить о каком-то направлении – показалась прожилка цвета, прореха в сплошной темноте. Узкая полоса постепенно раздвинулась в прямоугольник, а потом – в квадрат оранжевого свечения. Когда мои глаза, уже привыкшие к темноте, вновь обрели способность видеть, я понял, что это лаз. А потом я увидел книги. Целую стену книг. Нет, только не это! Я буквально прирос к полу. И лишь появление карлика (сначала – шаль, потом – призрачно красные глаза) вывело меня из этой самоубийственной прострации. Если б не он – если б не карлик, – клянусь, я бы не сдвинулся с места, а потом кто-нибудь подобрал бы мои истлевшие кости.

– Кто ты? – спросил я. – Чего тебе от меня надо?

На этот раз карлик не убежал. Он подошел к самому краю лаза, так что он меня видел, а я его – нет. Мне это вовсе не нравилось, о чем я ему и сказал, в выражениях крепких и сочных. Карлик ответил мне – то есть, наверное, он мне ответил, – на каком-то невразумительном жаргоне. Я высунул язык и изобразил неприличный звук, как будто кто-то испортил воздух. Карлик меня передразнил. Я сделал рукой неприличный жест.

И снова зажегся свет.

Проход в новую библиотеку был не таким низким и узким, как все предыдущие, и я пролез в него без труда. Пол покрывал толстый ковер. Такой мягкий! Я смотрел на него и не верил своим глазам. В Башне не было ни одного ковра, и я уже стал забывать это приятное ощущение мягкости под ногами. Карлик снова заговорил – я не знал этого языка, но он показался мне смутно знакомым: такое бывает, когда ты пытаешься что-то вспомнить, и вот оно вертится в голове, но все равно никак не вспоминается. Я украдкой поглядывал на него, дивясь на его уродство. Он развел руками, указывая на стены, где были не только книги, но и орудия и инструменты всех известных наук. Многогранник, представляющий геометрию; механические приспособления для использования в домашнем хозяйстве; столярные и плотницкие инструменты; весы; колокольчик; магический квадрат на шестнадцать полей с числами, сумма которых в каждой строке, в каждом столбце и на главных диагоналях равнялась тридцати четырем. Была там и пустая шкатулка со стеклянной передней стенкой. Когда я сполна удовлетворил свое любопытство, карлик сделал мне знак, чтобы я подошел к

письменному столу. Я послушно подошел к столу и уселся – какие удобства! – в мягкое кресло. [39]

– Это Библиотека Мастера! – воскликнул я, и карлик согласно кивнул. – А это дверь. Прямо передо мной. Самая обыкновенная дверь, широкая и по росту! Что еще человеку нужно?! (На самом деле я человек скромный, и запросы у меня тоже скромные.) Я потер руки хозяйским жестом и опустил их на стол, задев пальцами свиток, запечатанный восковой печатью. Я смотрел на свиток. Карлик смотрел на меня. Я взял свиток в руки. Рядом с печатью было написано одно слово, простое слово: *Novicius* – новичию, или «новичку».

– Нет, это не мне, – тупо проговорил я. – Не может быть, чтобы мне. – Но альбинос уже выскользнул в приоткрытую дверь, и как я ни возмущался, он не вернулся обратно. Я пожал плечами и сломал восковую печать. С тех пор прошло много лет, но когда я вспоминаю об этом мгновении, мне представляются саркофаги: как я сдвигаю тяжелые крышки и вдыхаю прах мертвых Мастеров. У одних тел еще различимы порезы поверх запястий, где ритуальный нож проложил свои смертоносные борозды; у других между глазниц есть еще одна дырка со сколотыми краями.

Это было письмо Гербоша фон Окбы. Предсмертная записка самоубийцы.

Если ты читаешь сейчас эти строки, значит, меня уже нет. Наконец. Это мои последние Слова. Их было так много, слов – многие миллионы, –но что значат Слова и Рукописи, похороненные в Склепах, где их никто никогда не прочтёт? Какой смысл в Красоте Водопада, если никто его не увидит? Лишь в твоём Разуме я могу продлить жизнь свою –еще на краткий Миг.

Насколько я знаю братьев, они не расскажут тебе всей Правды о том, как обрел я Смерть. Этого и следовало ожидать. Там, снаружи, мое тело предали бы земле на Перекрестке дорог, ибо уж так Человек устроен: какой бы кошмарной и жалкой ни была его Жизнь, им движет животный Инстинкт к выживанию, и Самоубийство пугает его Глубиной своего Низвержения; вот почему самоубийц хоронят в неосвященной Земле – с глаз долой.

Ты уже встретился с Мешехом. Его Народ –Слуги Башни, они говорят на Языке Книги. За тысячу лет без Света их Кожа утратила всякую пигментацию; их Скелет деформировался и сократился в размерах; их глаза, приспособленные к Полумраку, не выносят Дневного Света. Они суть кровавые тельца Башни, а мы, Избранники, приходящие Извне, суть ее кислород. Мешех пережил меня, как всякий Слуга переживает своего Хозяина-Мастера, пока усопшему не найдут замену; как только в Башне появится новый Мастер, новый Слуга, выдвинутый из Тьмы согласно древним Критериям, займет место старого. Я наказал Мешеху дожидаться тебя; показать тебе внутреннее устройство Верхних ярусов, в том числе комнату Видения, а потом провести тебя к этой Исповеди. Хотя я и мертв, то, что ты сейчас здесь, –это устроил я. Я привел тебя сюда: я направил тебя на Путь, я оставил тебе Подсказки. Ты есть Доказательство, пусть и непризнанное остальными братьями, проклятия Башни.

Когда умирает один из Избранных, в Башню берут Новичка, дабы наше число оставалось равно Семи. По обычаю Новичка выбирают, исходя из его Соискательской Работы, каковая должна отличаться изобретательностью и новизной. Я, однако же, внес изменение в Правило и дал очень чёткое Указание: чтобы конкретно твоя Соискательская Работа представляла собой устройство, **уже существующее** : чтобы ты сам, независимо от Башни, изобрел механизм, идентичный одному из тех, что уже создали твои Наставники. Я даже не сомневаюсь, что брат Нестор сильно обидится на тебя за этот воображаемый плагиат. Но все, что он создал с таким трудом, у меня уже есть: пылитесь где-то на

39 В своей «Памятке переводчику» Грегори Норминтон отмечает, что инструменты и вещи в кабинете Мастера «списаны» с гравюры Дюрера «Меланхолия». – Примеч. пер.

верхних ярусах. Ибо Башня содержит в себе всю Премудрость: это великое Море, из которого небрежный Рыбак, Человечество, неосознанно извлекает свои Познания, свое Искусство и Музыку. Лишь Божья Воля не дала нам приблизиться к Абсолютному Знанию. Многие ярусы обвалились, так что их Библиотеки уже недоступны; обширные области Башни закрыты для доступа. Сотни слуг живут и умирают на Верхних ярусах, и их единственное Занятие –спасать материалы из аварийных участков, дабы они не пропали навсегда.И всё же масштаб этого Вырождения не может скрыть горькую Правду. То, что Учёные и Мыслители называют прогрессом, есть всего-навсего Краткое Повторение. Вточности, как с твоим Изобретением – созданным независимо от Башни, –которое было одновременно новаторским и заимствованным, одновременно подлинником и копией, то же самое происходит со всеми творениями Избранных: в лучшем случае нам позволяют заново совершить повторное Открытие –наткнуться на что-то такое, что изначально принадлежало нам. Воображение не свободно. Ибо нельзя совершить Открытие вне пределов Творения: всё, что мы создаем, уже существует в Божественном Разуме.

Годами мне удавалось не думать об этом: я занимался Работой и выдумывал Ритуалы для этой Работы, поддерживая Иллюзию, что в этом есть Смысл и Цель. В чем Цель и Смысл Ритуала? В Повторении. В Неизменности и Постоянстве. Башня это не более, чем Повторение, неизменное и постоянное. Это движение, но движение Бесцельное –ценой неизмеримой Жертвы.

Но вот пришло Время, когда я понял, что не могу больше терпеть. Наверное, ты уже знаешь неловкую Правду о «**Полном и всеобъемлющем лексиконе** всего сущего» брата Эридуса; а именно, что наш учёный Друг просто**придумывает** Язык. Но не суди его слишком поспешно. В библиотеках на Верхних ярусах есть сотни книг на придуманных и мертворожденных языках; и словари этих языков – будь то языки, на которых говорят до сих пор, или от которых отказались совсем недавно, или говорили в глубокой древности, а сейчас уже не говорят, – давно составлены. Но брат Эрикус об этом не знает. Этот подлог, этот вымысел – это просто стремление выйти из Затруднительного положения, в которое я поставил его, не снабдив необходимым Филологическим Материалом. Признаюсь, я и вправду мешал ему в его Работе.

С братом Нестором – который считает меня вором и плагиатором –я пошутил точно так же.

С музыкантами, Эпом и Гредой – тоже.

С братом Людвигом –которому я предложил некорректную Теорему – тоже.

С братом Каем – если бы его Мастерство вдруг дало сбой, и его Гений его подвел – я поступил бы так же.

Ты, наверное, понимаешь, в чем вся Ирония; мне же потребовалось много лет, чтобы это понять. Башня меня перехитрила. Подобно коварному Левиафану, она существует и управляет своим бытием, превращая Врагов своих в своих Слуг. И вот я решил, познав Крушение Иллюзий, отравить ее изнутри, создать помехи в её Жизнедеятельности, закупорить её Артерии посредством негодного, путаного Управления. Однако я просчитался: я дал Братьям малого Врага для борьбы и тем самым отвлек их от Настоящей Работы. Желая разрушить Башню –а я нисколько не сомневаюсь, что и Предшественники мои имели те же намерения, –я невольно ее укрепил.

То есть решение покончить с Жизнью было признанием собственной Слабости. Пятьдесят лет в Заключении всё-таки перекроили меня по-своему, и я не тот Человек, который покончит с Башней. Может, тебе хватит Силы? Может быть, ты сумеешь свершить этот ужасный, но необходимый Поступок? Умираю с Надеждой на это. Что когда-нибудь в Башню придёт Человек – в Башню, которая поглотила миллионы Душ, безо всякого смысла и цели, только чтобы продлить свое Существование, –и прозрит сквозь крепкие стены её пустое нутро, и закончит начатое Богом.

*За сим остаюсь по ту сторону Смерти,
Ваш покорный слуга,*

Гербош фон Окба

Я дочитал исповедь Мастера до конца, потом вернулся к началу и перечитал еще раз. Потом – еще. Как после обильной тяжелой трапезы, я сидел, переваривая прочитанное. У меня в голове не укладывалось, как братья могли обманываться столько лет?! Тут же повсюду подсказки – надо лишь захотеть их увидеть. Взять, к примеру, ту рукопись, которую фон Окба забрал с собой в ванную в тот роковой день. «Псевдоэпиграфа» – теологическое исследование «Апокалипсиса Шинар», апокрифического текста о падении Вавилонской Башни. «Апокалипсис» противоречит библейской Книге Бытия в одном важном вопросе. Да, Вавилонская Башня пала, но ее нижние этажи устояли. Гитлодий (автор «Псевдоэпиграфы») приписывает авторство «Апокалипсиса» ветхозаветным пророкам. Но имя Гитлодий, или Гитлодеус – лингвист, без сомнения, известный Эриду, – переводится с греческого как, «тот, кто управляет бессмыслицей»; а *псевдоэпиграфы* – как «ложные письмены». Нигде за пределами Башни (поверьте мне, я проверил все библиотеки в христианском мире) не встретил я упоминания об «Апокалипсисе Шинар». Стало быть, эта книга – *придуманный* вымысел; измышление самого Гитлодия. Но кто этот Гитлодий? Не кто иной, как сам Гербош фон Окба! Он придумал «Апокалипсис Шинар» с единственной целью – изучить его, обеспечить себя работой! Вода в ванной, где нашли его тело, была не красной, а черной. Не только кровь, стало быть, но и чернила тоже. Чернила, смытые со страниц «Псевдоэпиграфы». Может, он взял с собой книгу, чтобы скрыть свой подлог? Или это была подсказка для проницательного ума, ключ ко всем ухищрениям?

Я был так взволнован своим открытием, что не заметил, как дверь у меня за спиной приоткрылась. И только когда взгляд брата Кая обжег мне затылок, я обернулся к нему.

Он стоял там, в дверях, но не в обычной своей серой хламиде, а в черной сутане. Он сделал рукой успокаивающий жест, давая понять, что не будет ко мне приближаться, потом оглядел комнату: брошенные инструменты и приспособления, осиротевшие книги, колокольчик и песочные часы. Пока брат Кай обозревал кабинет, я настороженно наблюдал за ним, вывернув шею под углом девяносто градусов, весь напряженный, как натянутая струна. Он достал с полки книгу в черном кожаном переплете, сдул с нее пыль и раскрыл на фронтисписе. Тонкая прокладочная бумага прилипла к гравюре; брат Кай попробовал аккуратно ее отодрать, но она не поддалась.

– Это альбумин, – сказал он, извлекая из-под своей сутаны тонкий нож. Потом осторожно просунул нож под бумагу на клею. Я смотрел на блестящее лезвие, которое так умело взрезало бумажный слой. Потом поднял глаза – которые часто меня предавали по собственному капризу – и взглянул на лицо брата Кая. Он смотрел на меня. – Протеин, – сказал он. – Часто используется при изготовлении пергамента. В природе содержится в яичном белке. И в плазме крови.

Он провел большим пальцем по лезвию, словно проверяя, не затупился ли нож. Во рту у меня пересохло, язык как будто прилип к нёбу. Я попробовал накачать слюны, но мышцы были какие-то вялые и непослушные – словно чужие.

– По-моему, не стоит и говорить, что все остальные требуют тебя наказать. – Он закрыл книгу с резким хлопком и поставил ее на место. – Ты сбежал без труда.

– Вход был не заперт.

– Естественно. Когда есть обычай и страх, никакие замки не нужны. Мои уважаемые коллеги соблюдают Закон. Вот почему мы с тобой здесь, а они – в своих кельях, зализывают раны.

Брат Кай отошел к дальней стене. Мне пришлось развернуться, чтобы он был у меня на глазах. Он провел пальцем по книжной полке, проверяя, не слишком ли она пыльная, а потом прислонился к ней спиной. Нож он так и не убрал.

– Это Библиотека Мастера, – сказал я.

– Да.

– А как вы вошли?

– Здесь много входов и выходов. Я прошел там, где проще. В отличие от тебя. – Тут лицо брата Кая просияло, как будто он только что вспомнил что-то приятное. – Ты знаешь, что сегодня за день?

Я не знал.

– Сегодня я принимаю бразды правления. Я – новый Мастер. Все, что здесь есть, – все моё.

Медленно, чтобы посмаковать удовольствие, я выложил свою козырную карту, опровержение тщеславия брата Кая: завешание Гербоша фон Окбы. Когда я развернул свиток двумя руками, брат Кай подошел ближе, чтобы взглянуть, что это такое.

– Красивый почерк, – заметил он.

– Наверное, вам стоит это прочесть.

– Я уже это читал. – Брат Кай пробежал пальцами по лезвию ножа, как флейтист, играющий гамму. – Под конец Мастер сильно болел и в своей хвори утратил разум. У него были галлюцинации: зрительные, слуховые и обонятельные. Я диагностировал острый психоз. И эти великие откровения, – он указал на свиток, – стоят меньше, чем лист пергамента, на котором они написаны.

– Почему я должен вам верить?

Брат Кай одарил меня испепеляющим взглядом.

– Теория Архетипов? Истощение Знания? На *этой* инфантильной планете? – Он хлопнул рукой по столу. Я успел убрать свиток, вовремя сообразив, что брат Кай собирается вырвать его у меня из рук. – Гербош фон Окба строил из себя мученика от науки. На самом же деле все было не так. Он утаивал эти книги из политических соображений, потому что ему это было выгодно. Ему нужна была уверенность в нашей лояльности. Видишь ли, структура власти здесь, в Башне, строится по принципу центрифуги. Все вращается вокруг Мастера. Верность Мастеру так глубоко укоренилась в сознании Избранных, что стала уже безотчетной. Очень немногие осознают, что происходит. Я – из этих немногих, а стало быть, править здесь должен я. Других вариантов нет.

– В таком случае, – резко проговорил я, – отчего фон Окба сошел с ума? Какая причина?

– Старческое слабоумие. Дурная наследственность. Длительная изоляция.

Я помахал свитком. Рука у меня дрожала, и я разозлился на себя.

– То есть вы утверждаете, что он все это придумал? Вопреки всем доказательствам?

Брат Кай развернулся кругом, снял с полки песочные часы, перевернул их и уставился на тонкую струйку песка.

– Реальность – тяжелая ноша. Кто бы ни победил, он должен об этом помнить и быть всегда настороже.

– Чтобы держать в руках остальных?

– Таков порядок вещей. Украсть у слепого – не составляет труда.

Я уже понял, к чему все идет. Я медленно заговорил, не сводя с него глаз, чтобы он не заметил, как я украдкой прячу свиток под рубашкой.

– Я понимаю. Но какова *цель* вашей власти?

– Власть.

– Но для чего?

– Власть ради власти. – Брат Кай не сдержал улыбку. Он придвинулся ближе и снисходительно потрепал меня по бедру. – Цари вообще не задаются таким вопросом. Они просто знают – как знают волки, которые вожаки стаи. Власти не нужна цель, она – цель сама по себе.

Не отважившись сбросить его руку, я выразил свое недовольство молчанием.

– А мораль, – заключил брат Кай, – есть утешение для побежденных.

На этом наш разговор завершился. Брат Кай заставил меня встать с кресла, приставив нож к горлу. Я подчинился, а когда он убрал нож, тут же бросился к двери. Он попытался меня удержать. Мы молча боролись, как два актера в пантомиме. Наконец он крепко обхватил меня за талию, подтащил к двери и принялся шарить рукой в поисках задвижки. Чуть правее, сказал я. Его пальцы сдвинулись – метнулись, словно паук к своей жертве, – и дверь распахнулась.

Мы вывалились в длинный сумрачный коридор. Откуда-то шел сквозняк, но непонятно откуда. Мы прошли ярдов десять– пятнадцать – брат Кай прижимался ко мне сзади всем своим костлявым телом и пихал меня коленями под колени – и обнаружили, откуда дуло: из ниши в стене слева. Там в полу зияла дыра. Вогнутый желоб резко уходил вниз, в темноту. Что-то подобное я уже видел. Ну да: мусоропровод во второй библиотеке. Из мрака выступила приземистая фигура, вооруженная кривой турецкой саблей. Это был карлик, Мешех. То есть это я так решил, что Мешех, пока он не зажег фонарь, в свете которого я разглядел лицо, еще более уродливое, чем у моего знакомого, под таким же бирюзовым платком.

Все это я разглядел буквально в единый миг, как только зажегся фонарь. Мои глаза быстрее приспособились к свету, чем глаза моих палачей. Карлик совершил ошибку, взглянув прямо на свет: ему пришлось тут же зажмурить глаза, подобные красным полипам, прячущимся в свои панцири. Я понял, что другого шанса у меня не будет, и это придало мне сил: я схватил брата Кая за запястье и – отбросив руку с ножом от своего горла – врезал ему правым локтем по ребрам. Он отлетел и упал где-то там, у меня за спиной. Карлик, все еще жмурясь, нанес свой удар вслепую. Я не думал – я просто действовал. Выхватив у него фонарь, я бросился в нишу, и пол разверзся у меня под ногами.

Какую-то долю секунды я просто падал без всякой опоры. Вообще-то я человек не особенно храбрый и боюсь боли, так что летел я – полет, собственно, был недолгим, несколько Футов, не больше – с закрытыми глазами и вопя от страха, а потом и от боли, когда ударился копчиком о днище трубы. Я попытался свернуться калачиком и скользить на боку, но все закончилось тем, что я перевернулся лицом вниз и съезжал уже головой вперед, и хотя спас сиденье, зато изрядно рас. квасил нос. Мне все-таки удалось перевернуться ногами вперед, но тут желоб, по которому я скользил – и угол наклона которого составлял градусов шестьдесят, – вдруг оборвался почти вертикальным спуском, так что можно было не сомневаться: если на мне еще где-нибудь нет синяков, то после такого полета они обязательно будут везде. Я летел вниз, подобно падающей звезде, и вопил на лету, и наконец приземлился на кучу мусора – должен заметить, достаточно твердого мусора, да еще и с зазубренными краями.

Я еще долго лежал, где упал, и стонал, истекая кровью. Фонарь выпал у меня из рук, но, что удивительно, не разбился и валялся теперь футами в трех от меня, едва пробивая тьму. За пределами круга света не было видно вообще ничего. Ползком я добрался до фонаря, схватил его и встал на колени, как кающийся грешник. Теперь я разглядел, что упал на кучу бумажных обрывков и древесной стружки, деталей каких-то разобранных механизмов, рваного тряпья, осколков стекла. У меня под ногтями набилось какое-то вязкое вещество со сладковатым запахом, плотное и холодное, как торф. Даже в тогдашнем моем положении любопытство опять победило, и я приподнял фонарь повыше, чтобы было лучше видно. Я опустил пальцы в этот непонятный перегой и поднес руку к свету: вещество было цвета ржавчины. Я повнимательнее осмотрелся вокруг. Ярдах в двух слева лежал небольшой камень, из-под которого и вытекала эта вязкая субстанция. Я потянулся, чтобы перевернуть камень, и ткнулся пальцем в мягкий студенистый глаз. Это был Мешех. Его тело, изломанное под невообразимым углом, лежало чуть поодаль. Перед тем как сбросить его в эту яму, его раздели – как будто кролика освеживали. Я развернул его голову так, как она лежала вначале, Лицом от меня.

Я совсем отупел от ужаса, но потом сквозь эту глухую пелену прорвались звуки: какой-то шелест, приглушенный топот бегущих ног. Как это бывает, когда ты стоишь у муравейника и вдруг слышишь в воображаемой тишине какой-то шорох и треск. Я помню, что мне было страшно. Но я хорошо понимал, что мне надо спастись от этих существ, которые, я этом ни капельки не сомневался, идут сюда, чтобы меня убить. Я поднялся на ноги, очень надеясь, что подошвы сандалий защитят мои ноги от острых осколков. Подняв повыше фонарь (рискуя при этом выдать себя с головой), я еще раз внимательно осмотрелся. Куча мусора спускалась пологим склоном к твердой земле, древней безжизненной почве.

Только теперь я заметил, что воздух здесь совершенно другой: не застывший и неподвижный, как везде в Башне, а такой, как снаружи. Тьма смыкалась вокруг, грозя поглотить маленький огонек моего фонаря, который и так уже теплился еле-еле. Я побежал вперед, не разбирая дороги. Я не знал, где Врата Башни; я не знал, как они открываются. Ничто не препятствовало моему бегству. Я был совершенно один, и слышал лишь собственное дыхание, и чувствовал только боль в своем израненном теле, и мне было так жалко себя, просто жуть.

А потом я услышал какой-то натужный механический скрип, похожий на скрежет несмазанного колеса. Наверное, не стоит и говорить, что я бросился в сторону этого звука, довольный уже тем, что теперь у меня появилась цель. Вскоре я вышел к низкой стене. Это был тот самый колодец, возле которого брат Нестор встретил меня... сколько времени тому назад? Мне казалось, что лет сто, не меньше. Древние камни, покрытые высохшим мхом и лишайником, холодно поблескивали в свете фонаря. И тут я услышал явственный металлический скрежет и поспешил пригнуться.

Как оказалось, это была тележка. Обыкновенная четырехколесная тележка. Ничего особенного. Но даже в немошном свете моего издыхавшего фонаря мне удалось разглядеть, что в этой тележке лежало. Мертвые тела. Они были свалены в кучу, как мусор. Как ненужные бумажные куклы. Кое-где из этого плотного клубка тел выпирала нога или сжатый кулак, застывший в трупном окоченении. Тележку тащили около дюжины голых рабов, впряженных в тяжелые хомуты, от которых их спины и шеи были стерты до крови. Мне вдруг стало страшно: я почему-то не сомневался, что эти несчастные сгорбленные создания ориентировались в темноте по запаху Вернее, по вкусу воздуха. Потому что все они шли с высунутыми языками, наподобие ящериц. Наверное, их зрение атрофировалось за ненужностью, ведь вся их жизнь проходила в сплошной темноте. Их невидящие глаза были похожи на созревшие фурункулы, и я заметил, как болезненно они сощурились даже на тусклый свет моего фонаря.

Меня невозможно было не заметить, я стоял прямо у них на пути, но рабы с тележкой не обратили на меня внимания. Как муравьи, огибающие препятствие на пути, они обошли меня и направились дальше своей дорогой. Впрочем, они тут же остановились. Те рабы, что толкали тележку сзади, открыли заднюю стенку и принялись вытаскивать трупы и швырять их в колодец. Вот именно, что швырять. Как дрова – без всяких церемоний. Когда тело ударялось о воду внизу, раздавался гулкий всплеск: он проходил эхом по каменным стенам колодца, а потом умолкал навсегда в бездонной тишине.

И тут я уловил краем глаза какое-то движение у тележки – целенаправленное движение, среди этих призрачных трупов. Сгусток подвижной тени. Я застыл в ужасе – ошеломленное неверие перед лицом неминуемой Смерти, когда у тебя перехватывает дыхание и тошнота подступает к горлу. Я попятился и прижался задним местом к колодцу, почти сел на край. Мой фонарь зашипел и померк, как будто его опустили в воду. И буквально в последний миг перед тем, как фонарь потух, я успел разглядеть карлика, прихвостня брата Кая, который бросился на меня со своей саблей. Я схватил его за запястье, вдохнул его жаркое дыхание, и тут наступила тьма. Я как будто ослеп, но я чувствовал острие сабли у самой щеки. Я впивался ногтями ему в руки, пока под ногтями не стало мокро. Он застонал и отпустил саблю, и только тогда я почувствовал, какой он на самом деле маленький и хилый. Как будто борешься с ребенком. Я протянул левую руку, пытаюсь

нащупать его лицо. Наткнулся на ухо, схватил его и рванул, так что оно осталось у меня в руке. Его вопли разбудили во мне жажду крови, смертоубийственный пыл: я резко дернулся вбок (при этом я надорвал поясницу и обеспечил себе хроническое люмбаго), намереваясь сбросить его в колодец. Но карлик вцепился в меня мертвой хваткой – а может быть, это я сам не удержал равновесия, – и мы вместе упали в холодную бурлящую воду.

Мы погрузились под воду, вцепившись друг в друга, словно любовники-самоубийцы. Будь я один, без своего недруга, я бы наверняка утонул. Ради такого ничтожного пустяка, как моя жалкая жизнь, мне не хватило бы воли выплыть. Нет, меня спасло не желание жить, а желание прикончить этого карлика, который пришел, чтобы меня убить. Я должен был выжить, чтобы убить его. Вдвойне ослепленный, оглушенный ревом воды и крови, стучащей в висках, я извернулся и надавил ему на живот. Надавил со всей силы, хотя мне приходилось преодолевать сопротивление воды – один раз, другой, третий. Мне в лицо ударила струя пузырьков воздуха: это жизнь выходила из моего врага. Я услышал, как ему в легкие хлынула вода. Карлик еще крепче сжал мою руку, но это был просто предсмертный спазм – в его пальцах уже не осталось сознательной силы. Его ногти вонзились мне в плащ, словно клещи. Я отодрал от себя его руку, и мое сердце возликовало, когда я почувствовал, как его тело опускается вниз, словно его засасывает жадным течением.

Я сам не знаю, как выплыл на поверхность. Сработал инстинкт выживания: тело само знало, что делать: оно било ногами и молотило руками, требуя воздуха, и вот, наконец, прорвалось сквозь убийственную мембрану.

Как описать эту подземную реку вам – людям, которые в жизни не переживали ничего подобного, разве что в самых ужасных кошмарах? Как я уже говорил, я вообще не видел ничего. И не слышал вообще ничего, кроме рева воды, которая билась в яростной схватке с камнем, что был ей и ложем, и берегами. Река просто несла меня за собой – мягкая, безымянная стихия, которая не умеет ни думать, ни чувствовать. Вонь стояла невыносимая. И только остатки врожденной брезгливости удержали меня от того, чтобы плюнуть на все и погрузиться обратно под воду: утонуть – это одно, утонуть в сточных водах – совсем другое. В конце концов я наткнулся на какую-то деревянную доску (то есть я понял, что это была доска, хотя, повторяюсь, ничего не видел) и вцепился в нее. Так, цепляясь за деревяшку, в кромешной тьме, холодея от страха при одной только мысли о том, что в любую секунду меня может швырнуть о каменную стену, распрощался я со своей первой жизнью на этой земле – с Башней, с родителями и со всем, что у меня было прежде.

Впереди показался свет: сперва – едва различимая точка она росла, становилась все больше и больше, пока не стала напоминать *coelum emigrare*, пламенеющие небеса, куда, как считается, отправляются души праведников после смерти. Однако же мутный поток вынес меня не на небо, а к месту слияния сточных и соленых вод. Мои раны тут же зашипало от соли. Свежий морской воздух обжег мне легкие, привыкшие к воздуху Башни. Вода накрыла меня с головой, а потом выбросила, новорожденного, в море.

Не знаю, как я добрался до берега. Может быть, море (которое поглощает все) в тот день просто было сыто и не стало глотать мои кости, а просто выплюнуло меня на серую гальку. Я долго лежал там, почти бесчувственный: без имени, без языка – свободный. В чувства меня привела серебристая чайка. Она клюнула меня в макушку и буквально набросилась на меня, как только я подал первые признаки жизни. Но чайка все-таки не осталась голодной: меня вырвало какой-то зеленой слизью, которую птица склевала прямо из-под меня. После того, как из меня излилась вся гадость, я почувствовал себя лучше, и мне удалось перевалиться на спину, как переваливаются тюлени, и взглянуть на безбрежное серое небо.

Поддавшись непрошеному, нежеланному даже порыву – как будто во мне еще что-то осталось от прежней жизни, некий рудимент прошлого, – я пошарил рукой под промокшей рубашкой и осторожно извлек из-за пазухи свиток. Но морская вода и нечистоты размыли написанное, так что прочесть что-либо не представлялось возможным. Да, соль, кровь и дерьмо переписали послание Мастера по-своему. Мало того: они растворили бумажный

клей, так что пергамент распался в клочки, которые я швырнул ветру, соленому и равнодушному. Теперь у меня не осталось вообще ничего. Я лежал у самой кромки воды, омываемый плеском *прибоя*. Еще будет время, чтобы встать и пойти; чтобы добыть пропитание; чтобы поговорить о погоде и о ценах на пиво. Еще будет время поездить по миру и посмотреть на его красоты и достопримечательные места, где можно и выпить, и помочиться – обязательно будет. А пока же я просто лежал и смотрел на небо. Но когда опустились вечерние сумерки, стало довольно прохладно. *Домой возвращаться нельзя. Тебе нет убежища в тени Башни*. Там, на морском берегу, я еще не знал, что эта тень будет преследовать меня всю жизнь, где бы я ни был. Она и сейчас надо мной нависает, вы разве не видите? Посмотрите, я весь в мурашках. Озноб пробирает меня до костей, и чтобы прогнать этот холод, мне приходится согреваться огненной водой. Когда я не сплю, я мечтаю заснуть. Когда сплю, я мечтаю проснуться. У меня есть одна мечта. Только одна, никаких других. Поселиться в каком-нибудь тихом месте, вдаль от людей; на острове посреди озера, где я построю себе хижину, и посажу грядку бобов, и поселю в улье пчелиный рой, и обрету покой, и буду предаваться мечтам, и Вдова Правда не будет меня беспокоить. [40]

Explicit fabula alta

Пролог шута

Раскайавшийся пропойца закончил рассказ. Благодарные слушатели храпят, лежа вповалку на палубе. Не спит только шут – хотя и он тоже периодически клевал носом.

Раскайавшийся пропойца: Я их не виню, Утомительное это дело – слушать. Гораздо труднее, чем рассказывать самому. (*Он давит себе на живот, который тихонько булькает.*) Что скажешь, Шут?

Шут: Забавная история. Ты правда сбежал через канализацию?

Раскайавшийся пропойца: Тебе не кажется, что я слишком вольно соединял метафоры? (*Шут восклицает что-то невразумительное.*) Может быть, стоит добавить визуальных деталей? (*Шут, мастер двусмысленных жестов, пожимает плечами.*) Господи, им не понравилось!

Обида творца, творение которого не получило признания, выражается в рвотных позывах, и наш рассказчик перегибается через борт. Воспользовавшись счастливой возможностью, Шут быстро взбирается выше по такелажу (уж он-то знает, как обставить свое выступление) и трясет жезлом, чтобы разбудить остальных. Мутным и сонным, им все же приходится просыпаться.

– Брат Кай, – начинает Шут, – был просто в безвыходном положении...

Рассказ шута

Честолюбие, любезные господа, – игривый ребенок Судьбы. Этаким баловник. Или, лучше сказать, баловница. Дева ангельской красоты, что завлекает сынов человеческих в пропасть. «Поднимись к самой вершине, – манит она, – где обретишь вечную славу». И вот, дабы избегнуть забвения, люди бросаются сломя голову к гибели. К тому же забвению.

При дворе короля Бювара – а если по-нашему, Промокашки, но Промокашка звучит как-то не по-королевски, так что пусть будет Бювар, – итак, при дворе короля Бювара служил паж по имени Муха. Другого имени у него не было, ибо был он рождения самого низкого и не владел никакими земными благами, и сам был неказист, и назывался таким неказистым

⁴⁰ Как говорит сам Грегори Норминтон все в той же «Памятке переводчику», описание жизни на уединенном острове навеяно стихотворением У.Б. Йейтса «Остров Иннишффри». – Примеч. пер.

именем. Он был рожден, чтобы служить. Отец его, придворный шут, заплатил за свои таланты головой (смех – неплохая забава, но излишек его так же губителен и опасен, как всякий яд). Мать – судомойка – растила сына одна, и Муха уже в нежном возрасте выучился премудрости держать голову низко склоненной, как и подобает слуге. Его глаза вечно смотрели в пол. Он был ребенком коридоров для прислуги и черных лестниц. И все-таки глубоко внутри этой тихой и скромной души честолюбие билось, как подземный родник, питающий реку таинственную и не обозначенную на картах. Воды сии могли бы навечно остаться в подземных недрах; Дабы пробились они к поверхности, нужна катастрофа, стихийное бедствие (чтобы дождь лил сорок дней кряду, или случилось мощное землетрясение). И сие бедствие, любезные мои господа, явилось в лице принца Баловника, единственного наследника престола.

– Эй, парень! – однажды окликнул принц Муху на утреннем королевском приеме в постели, где, кроме Мухи, прислуживали еще тридцать человек. – Да, ты, костлявый. – Сотоварищи-слуги услужливо подтолкнули Муху к постели принца Баловника. – Как звать-то тебя?

– ...

– Говори громче.

– М-м-му...

Напудренное лицо принца Баловника раскололось в улыбке.

– Парень, ты что, немой? Или просто тупой?

– Муха, ваше высочество.

Принц гадливо скривился, он подумал, что мальчик-слуга хочет сказать, что на него села муха, и даже взмахнул рукой, но потом понял, в чем дело, и рассмеялся:

– Я давно тебя приметил, Муха. Ты такой всегда скромный, услужливый. Ты мне нравишься. Да отдай ты кому-нибудь этот воротник. Отныне мы будем друзьями.

Все, что было потом, казалось Мухе чудесным сном. Он так никогда и не узнал, почему принц решил его выделить и почтить своей дружбой – сам не понял, а спросить постеснялся. Каждое утро его будил паж, пудрил его всего от парика до пяток (под париком голова жутко чесалась!) и одевал в шелка. Потом его приводили к принцу и тот обнимал его и целовал в обе щеки, по-братски.

– Не надо краснеть и стесняться, друг мой, – говорил принц. – Подними глаза, посмотри на меня. На меня все же приятнее смотреть, чем на пол. Что с твоей шеей? – При этом принц в шутку крутил Мухе руку и отвечивал щелбан по затылку.

Муха потихоньку учился держаться свободнее, но это был долгий и трудный процесс, ибо мальчик привык к раболепной скромности и переучиваться было непросто.

– Да не будь ты таким зажатым, мы же друзья, – говорил принц Баловник, когда они с Мухой играли в войну оловянными армиями в игровой комнате.

– Да, ваше высочество.

– Прекрати кланяться и чесаться, – говорил принц, когда они с Мухой обрывали крылья насекомым в саду.

– Да, ваше высочество.

– И не называй меня ваше высочество, – говорил принц, когда они с Мухой мучили мышь в кладовой.

– Да, милорд.

По прошествии двух недель шлепков по бедрам и вульгарных шуточек Муха наконец осознал, как ему повезло. Сильный мира сего его выделил и приблизил к себе. Дружеские синяки у него на руках были печатями, подтверждавшими высшую милость. Никогда прежде ему и в голову не приходило, что он может рассчитывать в жизни на нечто большее, чем роль скромного винтика в незамеченном механизме. В конце концов цель любого слуги – чтобы тебя не замечали хозяева. Члены королевской семьи знать не знали, откуда берется еда на столе, куда девается содержимое ночных горшков и почему сад при дворце смотрится аккуратнее, чем дикий лес. В царстве короля Бювара алхимики по-прежнему искали

Философский Камень, но аптекарей привлекал более заманчивый камушек: снадобье, что превращает тебя в Невидимку. Ходили слухи, что изобретателя ожидает награда поистине королевская, хотя монарх, объявивший награду, давно уже сгнил и рассыпался прахом в дворцовом склепе, забытый всеми.

– С тобой, Муха, я плюю на обычаи и традиции, – похвалялся принц Баловник. – Помазанник божий свел дружбу со слугой?! Такой вот я оригинальный.

Разумеется, высокорожденные вельможи не одобряли подобного поведения принца. Историки тщетно искали прецедент. Благородные лорды и дамы возмущенно роптали, оскорбленные столь вопиющим нарушением этикета. В прошлом таких наглых выскочек, как этот Муха, казнили и за меньшие прегрешения, рассуждали придворные, однако же как любимчик единственного наследника Муха был неприкасаемым. Только король мог бы решить это дело ко всеобщему Удовольствию – но на это рассчитывать не приходилось, поскольку король Бювар не считал нужным даже заметить столь возмутительное нарушение традиций. Он не придавал никакого значения тому прискорбному обстоятельству, что наследник престола не выражает желания ехать на охоту; он как будто и не замечал, что на занятиях по фехтованию принц откровенно сачкует, а на рыцарских турнирах – откровенно зевает И постепенно (как вода точит камень, как лед раздирает скалу) Мухе втемяшилось в голову, что ему, чем черт не шутит можно рассчитывать и на возведение в дворянский чин. Его спина распрямилась, взгляд, прежде всегда устремленный в пол, теперь уже не был столь скромным; он научился ходить подражая походке благородных господ, и кланяться так, чтобы при этом выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. В своих новых покоях на вершине башенки Муха нежилась в роскоши, принимая ее, как трава принимает росу. Мир черных лестниц поблек в его памяти. Ну и невелика потеря.

– Однажды придет такой день, – говорил он своему отражению в зеркале, – когда мы с тобой будем дружить с королем. Мы станем богатыми-пребогатыми, и все девушки королевства будут мечтать о нас по ночам.

Так в неге и роскоши проходили недели и месяцы. Весна сменилась летом, но мальчики продолжали играть, увечить кошек и ломать крылья птицам. Муха уже не жалел зверюшек, которых он помогал калечить, ибо его завораживало остроумие принца Баловника, и новые слова, которые он узнавал – далеко не все из них были полезными и поучительными, любезные мои господа, – с лихвой возмещали периодические неудобства от мелких кровопусканий. Муха не сомневался, что принц его любит; и виноват ли мальчишка, что он предпочел быть счастливым?

И вот король подрядил резчиков-мастеров сделать игрушечную модель королевства для своего капризного сына. Многим благородным вельможам пришлось выехать из своих покоев, дабы мальчику было где развлекаться; законченная модель заняла почти все западное крыло замка.

– Тебе неинтересны охота и рыцарские турниры, сын мой, – сказал король как-то утром за завтраком. – Может быть, тебе больше понравится это игрушечное королевство.

Король привел принца к границам миниатюрного царства, и просиял лицом, и сжал плечо сына крепкими сильными пальцами.

– Вот – твое королевство, – сказал он. – Прежде чем править царством из плоти и грязи, сперва научись управлять государством из дерева.

Если его величество надеялся таким образом отвлечь сына от дружбы с Мухой, то он просчитался. Ибо принц Баловник только пожал плечами при взгляде на крошечные чудеса, распростертые у его ног. Он зевнул, поигрывая кинжалом, и разрешил Мухе понарошку побыть королем. Муха бродил, счастливый великан, среди маленьких замков и лесистых долин и давал имена всяким тварям, словно Адам в раю.

– Я хороший король, – размышлял Муха вслух. Позже, когда мальчики переодевались, чтобы пойти гулять в сад, Муха заметил, что принц поглядывает на него недобро.

– Без меня, – сказал Баловник тихо, – тебя бы не было вообще.

Пришла осень, и его величество король Бювар предпринял новый почин. Он решил, что

его своенравному и капризному сыну не нужны никакие надутые, заплесневелые учителя, и отдал в его полное распоряжение королевскую библиотеку. Муха был вне себя от счастья: он как будто нашел пещеру с несметными сокровищами – книгами в кожаных переплетках с золотым тиснением. Но принц Баловник только сердито сверкал глазами, глядя на книжные полки, а пыльный и серый, как мышка, библиотекарь сидел, съежившись, в дальнем углу, словно старая кукла-перчатка, которую выбросили за ненадобностью.

– В этой библиотеке, – сказал король, по-отечески пощипывая сына за ухо, – хранятся все знания мира. Тот, кто рожден править людьми, всегда стремится постичь, как устроен мир. Когда ты прочтешь все эти книги, как в свое время прочел их я, ты будешь готов управлять государством, сын мой.

С тем король и ушел, в сопровождении свиты придворных. Библиотекарь отвесил подобострастный поклон и поспешил укрыться за стеной книг. Принц Баловник плюхнулся в кресло и устался в одну точку, продолжая сердито хмурить брови. Так в упрямом молчании прошли часы. Муха читать не умел и коротал время, листая книжки в поисках картинок. Он был как ребенок, который вырос вдаль от моря, и вот впервые увидел скалистый берег; но безымянные чудеса этого места были ему недоступны – закрыты, как раковины моллюсков.

– Баловник, – не выдержал Муха, – теперь, когда я умею держаться по-благородному, не пора ли учить меня всяким наукам? Я знаю манеры, но внутри я пустой.

Принц Баловник вскочил, как ужаленный. Он сощурил глаза, так что они превратились в яркие черные шрамы.

– Я – не подданный короля, – прошептал он. – Я сам по себе, меня нельзя ни придумать, ни вылепить по шаблону. – Муха кивнул, хотя ничего не понял. – Я существую *своей волей, изъясляю* себя в бытие, – продолжал принц. – И в доказательство я сожгу эту библиотеку.

Бедный Муха аж поперхнулся, его лицо стало красным, как царственный пурпур. Из глаз брызнули слезы, но и сквозь пелену слез он увидел, как вызывающе усмехнулся принц – усмешка блеснула, словно кривая турецкая сабля. Сможет ли он удержать своего высокородного друга от исполнения мятежного замысла? Может быть, надо предупредить библиотекаря? Ибо сердце его сжималось от мысли, что все эти книги погибнут в пламени. Но он боялся лишиться расположения принца Баловника, а вместе с ним и всех радостей жизни. Король, похоже, вообще не способен сердиться на сына; а когда-нибудь принц и сам станет королем, и вот тогда... Муха надеялся, что тогда и ему будет очень неплохо. Поэтому он прикусил язык.

Впрочем, принц Баловник не бросился исполнять свой план сию секунду. Нет, тут нужна была хитрость. Принц запрятал свое недовольство и изобразил бурный восторг и неодолимую тягу к учению. Он уговорил короля разрешить ему спать прямо в библиотеке, чтобы книги всегда были рядом. Может, ему и еду будут туда подавать? Чтобы он не отрывался от чтения. И еще ему нужны свечи – много свечей.

– А библиотекарь пусть отдыхает, он уже старенький, у него спина больная. Я сам прекрасно управлюсь, отец. Не надо за мной надзирать.

Его величество, смеясь от радости, не отказывал сыну ни в чем. И Муха сам не заметил, как настал тот день, когда они с принцем заперлись в библиотеке с горящими свечками в обеих руках.

– Сначала история, – сказал принц. – Жизни военачальников и императоров. Бог да сгноит их кости.

Вместе они побросали книги на пол, и принц Баловник поднес горящую свечку к смятым листам, вырванным из какой-то книги. Поначалу огонь только робко облизывал корешки, но потом разгорелся, отбросив страх. Языки пламени вырывались то там, то тут, словно жадные язычки ящериц-хамелеонов. Когда книги занялись уже как следует, огонь перекинулся на занавески. Занавески обрушились на пол. Карта мира над головой принца Баловника скорчилась в пламени, как живая иллюстрация к Апокалипсису. Принц испугался

и закричал, призывая на помощь.

Бывают мгновения, любезные господа, когда даже самый терпимый отец, потакающий всем капризам своего обожаемого чада, все же теряет терпение и устраивает оному чаду хорошую порку. Однако же методы простолюдинов (розги, тапочек или ладонь) – ничто по сравнению с королевским подходом к наказанию несносного отпрыска.

– За это последнее непослушание, – сказал его величество, когда пожар благополучно потушили, – и за обман получишь шестьдесят плетей.

Принц упал на колени. Хрипя в железных объятиях стражника, Муха едва не лишился чувств – ему было больно смотреть на страдания друга.

– А что касается твоего товарища, – продолжал король, – отошлите его на кухню, или куда там... ну, в общем, откуда он появился и где ему самое место.

Муха в ужасе зажмурился. Но принц умел говорить убедительно, и его мольбы были весьма красноречивы.

– Отец, – сказал он, – я совершил нехороший поступок. Это я все придумал и привел план в исполнение. Муха был там, со мной, только из-за любви ко мне. И видеть, как он страдает за мой проступок, для меня тяжелее, чем любая телесная боль. Поэтому, умоляю тебя, пусть его выпорют за меня, дабы я заплатил самую высокую цену за свое непослушание.

По тронному залу пронесся невнятный шепот. Муха тяжело сглотнул.

– Быть по сему, – объявил король. – По обычаю королевства и по моему королевскому слову, Ухо займет место принца и, став его мальчиком для битья, примет восемьдесят плетей в назидание моему сыну.

Увы и ах, как вдруг потускнели блестящие крылышки Мухи. Стражники уволокли его в темницу. Его вопли и крики еще долго дрожали эхом в коридорах и жужжали в ушах у слуг – и те отмахивались от них, как от мух.

В день, назначенный для показательной порки, в камеру к Мухе пришел тюремный капеллан. Приподняв подол рясы, как девица приподнимает юбки, переходя через ручей, он подошел к тому месту, где лежал Муха.

– Benedicite, – благословил капеллан грязный зад Мухи, ибо в камере было темно. – Сегодня, сын мой, тебе предстоит понести наказание. Предполагается, что ты не умрешь, так что мне незачем беспокоиться о твоей душе...

– Что? – сказал Муха.

– В этой стране, сын мой, вся политика строится на божественной иерархии. Как говорил царь Соломон, царь ближе к Богу, чем его подданные. Царь есть помазанник Божий, и, в глазах Всемогущего Господа, не подобает сквернить царственное седалище вульгарной поркой, однако же ты выступаешь посредником, сиречь мальчиком для битья, и таким образом дисциплина приводится в соответствие с христианскими добродетелями.

– Что? – сказал Муха.

– Принц понесет наказание в сопереживании, а простой человек – в данном случае ты – непосредственно ляжет под розги. А как иначе выдрессировать собаку?

– Но я же не собака, – захныкал Муха.

– Особы царских кровей чувствуют боль своих подданных и страдают страданиями своих подданных – вот почему принц назвал тебя, дабы ты принял его наказание, а он усвоил урок.

Вот так все и было. И так и будет. Жизнь принца пройдет чередой уроков, отпечатанных в плоти его подданных.

* * *

Не стану описывать этот день: видите ли, любезные господа я опасаясь за ваш желудок. Лучше спустимся вместе в самые недра замка, в потайную темницу, в холод

забвения, какового страшатся даже невидимые слуги. И там, в самой сырой, в самой дальней камере тюремный врач льет целебное масло на спину Мухи, которая – сплошь кровавое месиво. Мальчик потерял много крови, но эти раны затянутся. Хуже всего, наш герой повредился рассудком. От боли, которую он претерпел (трижды Муха терял сознание и трижды его приводили в чувство, прежде чем возобновить экзекуцию), что-то сместилось в его мозгах. И вот теперь, весь в кровавых подтеках, он лежит и пускает слюну, как младенец, у которого режутся зубки. Врач глядит на него и видит даже не младенца, а жалкий выкидыш, недоношенное, безымянное существо. – Бедный принц, – вздыхает он, – как ему тяжело. Но принц Баловник просто чудом оправился от потрясения. На пиру в честь его дня рождения он доволен и весел, ибо мнит себя полновластным хозяином своей судьбы. И только король Бювар знает, что всякий раз, когда принц проявлял себя непослушным и своевольным сыном, его характер формировался по задуманному образцу. Первые два испытания его характера были только прелюдией к третьему; и когда принц показал свою самоотверженность и бескорыстность, переложив наказание на плечи – вернее, на спину, – другого, он доказал, что он истинный сын своего отца.

А что стало с Мухой, когда затянулись раны? В силу умственного повреждения он не смог возвратиться к обязанностям слуги. Последние сорок лет жизни он провел в доме призрения. Грязная солома – его постель, жалкие объедки – его еда, которую он делит с крысами. Монахини в богадельне боятся его, аки самого Дьявола, ибо он целыми днями хватается себя за седалище, дабы унять призрачную боль от порки, которая накрепко врезалась ему в память, и кричит во весь голос:

– Ой, ой! Болит мой огузок, а стало быть, он существует. Том своей счастлив болью!

Из-за сих яростных воплей Муха сделался весьма популярным в городе развлечением, и богатые горожане щедро платили его тюремщикам, чтобы их допустили к нему на предмет поглядеть-позабавиться. Чаше всего Муха даже и не замечал этих восторженных зрителей. Но иногда он прерывал свои горестные стенания и объявлял:

– Сдается мне, я вас выдумал, господин хороший. Сейчас я отдумаю вас обратно, и вас не станет.

Считалось очень почетным, если к тебе обратились подобным образом. Женщины хвастались перед подругами на протяжении недель, а в кабаках и тавернах остряки пили за здоровье Полоумного Метафизика.

Вот так и вышло, что Муха – слуга, мальчик для битья, душевнобольной – обрел славу при жизни и умер весьма знаменитым, вымысел королевского воображения, съеденный пролежнями целиком.

Стало быть, вот мой рассказ, быстрый, как щелчок по лбу.

А слушали вы или нет, мне это как-то по боку.

Explicit liber Musca furioso

Пролог монаха

По завершении рассказа все долго сидят и молчат. Шут слушает, как скрипят винтики у них в мозгах. Они забывают. Еще пара секунд – и никто из них даже не вспомнит имен главных героев истории. Потом испаряется и сюжет, а потом – вообще все. Молчание распутывается клубком, и первым его нарушает Монах.

Монах: Какая варварская история!

Шут: Спасибо.

Монах: Храни нас Господь от подобных историй. В ней нет ничего поучительного, и нас она не затрагивает никаким боком.

(Шут молчит. Маска на конце его шутовского скипетра улыбается за него.)

Монах: Сейчас я расскажу историю, которая, думается, будет для вас поучительной...

Певцы-горлопаны: Лучше молчи, плешивый! Держи свои поучения при себе.

Монах: Культура, господа. Вот чего нам не хватает: Культуры. О чем, собственно, я и собираюсь сейчас рассказать. Может, вы даже, хотя сие очень сомнительно, что-нибудь почерпнете и для себя.

Монах складывает ладони в молитве:

– Небесная Муза, вразуми этих несчастных, дабы рассказ мой не вышел на свет мертворожденным, ибо скудны их умы и к восприятию слов поучительных не способны.

Певцы-горлопаны давятся смехом. Но Монах, сам довольный своей метафорой, невозмутимо оправляет рясу и начинает рассказ.

Рассказ монаха

Погоди, ненасытное Время, поумерь аппетит, не глотай дни и годы, дабы я сумел вернуться в памяти к жизни прежней. Когда мы падём жертвой прожорливого едока – того, кто превыше всех деликатесов ставит нечистое сердце, – пусть мы пройдем благополучно через кишечник последнего Суда. [41]

Итак, жил во Фландрии один менестрель. Сочинял песни, играл на лютне и зарабатывал на кусок хлеба, развлекая богатых бюргеров Гента, Антверпена и Брюгге. Патроны его почитали себя ценителями искусства, вернее, стремились к тому, чтобы их почитали ценителями искусства, хотя, если по правде, в музыке не разбирались вообще. А ведь игра менестреля могла бы снискать благосклонный кивок Орфея, а то и спасти Марсия от заточенного ножа. [42]

Мне повезло встретиться с ним, когда он был в самом расцвете своих талантов. Я приехал в Брюгге, имея в виду поработать в тамошней знаменитой библиотеке (мой аббат, благослови его Боже, предоставил мне творческий отпуск для научных изысканий); я как раз подбирал материалы, необходимые для завершения моего теологического трактата «Pudendae Angelorum» [43], но меня отвлекли звуки музыки за окном. Мои сотоварищи-

⁴¹ Аллюзия на «Хронографию» Жервеза фон Узберга – спекулятивную историю, которая описывает конец света. В книге сильно влияние «Апокалипсиса». Фон Узберг представляет устрашающую фигуру Космического Обжоры, Колостамуса, который пожирает еще бьющиеся сердца и праведников, и грешников, без разбору. Сердца грешников удобоваримы и легко перевариваются, поэтому грешники навсегда лишены возможности возродиться физически; сердца праведников проходят нетронутыми сквозь пищеварительную систему Колостамуса, предвещая тем самым для праведных воскресение к вечной жизни. См. Мирна Паллет «Деизм и диета в средневековой Европе» (Кентукки, 1971). – Примеч. автора.

⁴² Марсий – сатир, дерзнувший состязаться в музыке с Аполлоном. Он проиграл и поплатился за дерзость: Аполлон заживо содрал с него кожу. – Примеч. автора.

⁴³ Можно с уверенностью предположить, что трактат монаха несет на себе заметные следы влияния трудов Сергия Маврия, мистика, жившего в XII веке, и знаменитого аббата из Капуи. В «Анатомии ангелов», программном труде о физических аспектах сверхъестественных существ, Маврий утверждал, что силы небесные, то есть ангелы, являются гермафродитами, и что они размножаются не половым путем, а посредством обратного отсчета от бесконечности до нуля. Эта теория тут же породила жаркие споры, и ангельские материалисты (под предводительством Бальтазара Авиньонского) потребовали отлучить Маврия от Церкви как еретика; ибо учение Маврия предполагало, что всякий ангел, желающий обзавестись потомством, должен посвятить этому целую вечность, полностью сосредоточившись на этой задаче, и таким образом пренебречь своими прямыми обязанностями Восхваления Господа. Папа Бонифаций III созвал конвент, дабы решить эту проблему. Дандоло Фортунатус, выступивший на конвенте, убедительно доказал, что ангелам не надо считать, начиная от бесконечности, они могут начать отсчет с «любого числа, достаточно длинного в исчислении, чтобы покрыть пять акров пергамента». Фортунатус отметил, что «хотя подобный отсчет займет много времени по земным меркам, по космическим меркам это выйдет не дольше, чем две недели», и таким образом, ангел уже очень скоро сможет вновь приступить к исполнению своих прямых обязанностей. Подробнее см. Жак Ройтель «Le sexe controversé des anges», *Etudes Medievales* 23 (1982). – Примеч. автора.

книжники продолжали работать, не обращая внимания на этот, по их выражению, кошачий концерт бродячих артистов. Однако я, благословенный с рождения идеальным слухом, распознал в незатейливой сей мелодии отзвук флейты Эвтерпы. [44] Отложив книги, я поспешил на Рыночную площадь.

Лицо менестреля скрывал синий плащ, наподобие мавританской джеллабы. Желая удостовериться, что передо мной не Бессмертное Божество, снизошедшее к нам на грешную землю в облике нищего музыканта, я сделал вид, что у меня развязалась сандалия; опустившись на одно колено, я тайком заглянул под капюшон. В соответствии с законами перспективы, мой взгляд первым делом наткнулся на его выступающий нос. Вот это был нос, доложу я вам – всем носам нос! Если бы знаменитые солнечные часы в Альгамбре [45] были наделены разумом и знали бы, что есть зависть к сопернику, и будь у них капилляры, они покраснели бы от стыда, ибо им было весьма далеко до хронометрических возможностей этого необъятного носа. Остальные черты менестреля как бы в ужасе разбежались прочь, подальше от этого монументального выступа: глаза запали глубоко в глазницы, словно пытаясь спрятаться понадежнее, подбородок искал убежища в складках шеи. Да, лицо менестреля было весьма выразительным и «характерным»; это было то самое редкостное уродство, каковое является отличительным признаком человека, воистину одаренного. Ибо Господь, в Своей Мудрости, уравнивает выдающиеся таланты различными бедами и напастьми, дабы мы не погрязли в тщеславии и гордыне.

– Господин хороший, – обратился я к этим подрагивающим ноздрям, – позвольте мне объявить во всеуслышание, какое это безмерное удовольствие – обнаружить в самом средоточии Торговли непоколебимый оплот Искусства.

Менестрель поднял голову и посмотрел мне в глаза – и я узрел душу, утомленную снисходительностью профанов, почитавших себя хозяевами жизни. И все-таки в нем ощущалась упрямая сила; он был чем-то похож на святого Эразма, когда его внутренности наматывали на брашпиль. [46] Наверное, незачем и говорить, что между нами тут же возникла симпатия, основанная на духовном родстве. Пользуясь своим священническим саном, я выбрал плетень за прискорбную невосприимчивость к дивной музыке. Торговцы ответили мне оскорбительной бранью, которую я не решусь повторить, скажу только, что упоминались постыдные части тела, обычно скрываемые под одеждой. А один дуралей заявил, что он ковырял мою ризницу своим корнеплодом.

– Не бойтесь этих невежд, – сказал я менестрелю, ибо тот, почуяв опасность, как будто собрался уйти восвояси. – Нам следует проявить стойкость, берите пример со святой Екатерины. [47] – Я положил руку ему на плечо и при этом случайно задел капюшон. И

44 В древнегреческой мифологии – муза, покровительница лирической поэзии и музыки. См. Гильом де Машо «Баллада к Музе»: *Mais des IX fines dames qui donnent bonnour, Mon cuer Euterpe la tient en ardour.* – Примеч. автора.

45 Султан Мухаммед Аль-Ахмар, при котором началось строительство дворца, был одержим страхом Времени. «Я слежу за своим врагом, – сказал он однажды (Альберто Замая „Guida Turistica“, Мадрид, 1927), – чтобы Время не подловило меня на малейшей ошибке, и я не застыл бы навечно в Гранаде». Поскольку ночью солнечные часы время не отмеряли, султан приказал своим слугам медленно обходить часы по кругу с факелами в руках. – Примеч. автора.

46 Из-за тех истязаний, которым подвергся святой Эразм, к нему обращаются с молитвой на избавление от колик. (Патрик Скотер «Святые, и в каких случаях к ним обращаться», Дублин, 1956). – Примеч. автора.

47 Красавица Екатерина Александрийская отказалась выйти замуж за императора Максентия, за что ее приговорили к ужасной смерти – быть раздавленной между колесами, утыканными клюками и острыми лезвиями; однако чудесная молния спасла девушку от столь жуткой участи. После чего ее обезглавили (там же). – Примеч. автора.

теперь больше ничто не скрывало его лицо.

На нас тут же посыпался град гнилых овощей. Как святой Себастьян [48], пострадавший за веру, мы приняли на себя снаряды пусть и не смертоносные, но направленные ненавистнической волей. Вытирая лицо от вонючей сливовой жижи, я пытался держаться с достоинством и вдруг увидел, что менестреля уже нет на месте – он улепетывал со всех ног, так что пятки сверкали.

– Эй, подождите меня! – завопил я, пытаюсь перекрыть оскорбления и богохульства, и бросился следом за долговязой нескладной фигурой в плаще. Толпа устремила за нами.

Выносливость менестреля была под стать его музыке – такая же замечательная, я бы даже сказал, выдающаяся. В тяжелом плаще, с лютней в руках, он бежал с такой быстротой, ни разу не оглянувшись и не замедлив темпа, что я уже начал всерьез опасаться, что мне за ним не угнаться, и это при том, что сам я бежал на пределе сил. Подобно жестянке, привязанной к собачьему хвосту, я несся следом за ним по улицам, провонявшим помоями и нечистотами. К счастью, моя решимость оказалась крепче, чем у наших взбешенных преследователей, и когда стало ясно, что они прекратили погоню, я крикнул вдогонку бегущему менестрелю, что опасность уже миновала. Однако, прежде чем я его нагнал, он метнулся, как заяц, в какой-то подвал.

– Ну а теперь-то чего? – спросил я.

Менестрель забился за ящик с сырами и съежился там в тени. Увидев, как я спускаюсь по лестнице, она замахал на меня руками:

– Уходите! Немедленно уходите! Вы что, не поняли, что они жаждут крови?! Если меня найдут, меня точно убьют. И вас заодно, за сочувствие и укрывательство.

На что я ответил, что толпа вряд ли осмелится учинить смертоубийство лица духовного, так что бояться мне нечего, после чего попросил его разъяснить, что он имел в виду, говоря про «сочувствие и укрывательство».

Но прежде чем менестрель успел мне ответить, я услышал вдали разъяренные голоса и звон стали. Кровь застыла у меня в жилах. [49]

– Теперь вы мне верите? – прошептал менестрель.

Мой первый порыв был – бежать. Но ноги не слушались, и пока я пытался заставить их сдвинуться с места, в дальнем конце улицы уже показалась толпа ражих торговцев [50], вооруженных дубинками, палками и колунами. У кого-то в руках были куски веревки, предназначенной для линчевания. Времени на раздумья не оставалось. Я бросился вниз, в подвал.

Прошло всего несколько секунд, но они показались мне вечностью. Мы слышали озлобленные голоса наверху, но потом толпа вроде бы разошлась. Я возблагодарил Бога за едкий дух этих пахучих сыров, который перебивал все запахи, так что нам можно было не опасаться вражеских ищек.

Итак, опасность миновала. Мы с менестрелем сидели, приходя в себя после всего пережитого и стараясь не обращать внимания на миазмы, коими пропиталось все наше убежище. Наконец я решился нарушить молчание и пошел сыпать вопросами. Кто он? За что

48 Центурион императорской гвардии при императоре Диоклетиане святой Себастьян был расстрелян стрелами и брошен умирать. После того как святая Ирина самоотверженно выходила его и вернула к жизни, он вернулся на военную службу и был забит палками до смерти (там же). – Примеч. автора.

49 Модная медицинская теория того периода; см. Богомил Дабжич «Theoria Medica» (1506). Трупное окоченение иногда объяснялось так: человек умер от ужаса, – отсюда и выражение «оцепенеть от страха». – Примеч. автора.

50 Монах употребляет в своем рассказе архаичную форму слова «ражий», бывшую в употреблении в XV веке и не сохранившуюся до наших дней. Данный пример, равно как и другие выдумки, можно найти в «Книге святого Альбана», которую приписывают Джулиане Бернесу (1486). – Примеч. автора.

его так ненавидят? Чем он их так оскорбил? В чем его прегрешение? Менестрель только кивал, и размеренные движения этого выдающегося носища – выдающегося и в прямом, и в переносном смысле – чудесным образом помогли мне успокоиться, взять себя в руки и вспомнить о правилах вежливости и приличия.

– Да, – сказал он печально, – вы вправе потребовать у меня объяснений. Это долгая история, ее не уложишь в одно рифмованное двусутишие. Но раз уж нам все равно сидеть тут до ночи...

(До ночи?! О мой нос! О мои ноги!)

– ...она поможет нам скоротать время.

Вот так и случилось, что в нашем зловонном укрытии затравленный менестрель рассказал мне свою историю.

– Вы ведь помните, – начал он, – эпидемию бубонной чумы, что свирепствовала в этих краях не далее как два года назад? И надо же было случиться такому несчастью, что когда все началось, я как раз был в дороге. Да, я был в Кнокке, когда раздалось первое гроыхание трещотки смерти. Или то было в Генте? Нет, в Бланкенберге. Да, точно. Я помню запах морских водорослей и гуано. Или не в Бланкенберге. Голова у меня дырявая, никогда ничего не помню. Впрочем, это не важно. Важно другое. Как раз за две недели до этого я потерял своего покровителя. Покровитель мой, некто Себастьян Брант, был человеком во всех отношениях достойным, но к музыке невосприимчивым совершенно, и я тосковал в его доме, как та волшебная птица в клетке [51], и дар мой чахнул, изнывая от недостатка отзывчивости. Наконец, то ли пресытившись моей музыкой, каковая, признаюсь, стала и вправду унылой и неблагозвучной, то ли распознав разлад у меня в душе, Брант отпустил меня на все четыре стороны, лишив своего покровительства, крова и пищи, но я был доволен и счастлив, что вырвался из неволи и снова обрел свободу. Но голод – та же неволя, и неволя суровая, должен заметить, С пустым животом много не напоешь. В общем, когда разразилась чума, я предался в руки Судьбе и подался в солдаты. Хотя подался, это громко сказано. Если по правде, я подчинился физическому давлению со стороны целой артели рекрутов. Так сказать, кто силен, тот и прав. Хотя нет, это тоже неправда. А правда вот. Меня жутко избили и силком затащили в солдаты. Как вы, наверное, уже догадались, я человек не воинственный. Все усилия обучить меня даже элементарным основам военного дела пропали втуне. Но меня не погнали с позором из войска, ибо потребность в солдатах была велика, даже в таких неумелых, как я. Видите ли, в чем дело, новобранцы дурили торговцев, дабы те прониклись мыслью, что с чумою бороться возможно. И вот под бой барабанов нас построили в колонну, или в шеренгу, я так и не смог запомнить, в общем, в шеренгу по четверо, а потом по трое, а строй замыкали два офицера из учебного лагеря, с апельсинами, утыканными палочками корицы, свисавшими с их шлемов. Капитан и его адъютанты наблюдали за нашим маршем чуть со стороны, из-под своих длинных, как клювы, масок, набитых травами. [52] Когда же простые солдаты потребовали, чтобы их обеспечили точно такой же защитой от чумных испарений, армейское начальство не вняло их просьбам, и в войсках начались мятежи. Офицеров, этих птичек в сверкающих латах, хватали и вешали на

51 Аллюзия на «L'Oiseau Vers» из «Colloque des Bêtes». Доктор Фульмар Сандерлинг пишет: «В этой эпической поэме рассказывается о сказочной птице, которая поет александрийским стихом. Эту Птицу-Стихотворца ловит один молодой поэт, честолюбивый, но не очень талантливый. Птица тоскует и чахнет в неволе, и в конце концов перестает петь даже верлибром. И тогда молодой человек отпускает ее на волю». – Примеч. автора.

52 Методы, применявшиеся в средневековье во время эпидемий чумы с целью избежать заражения. Поскольку подобные дыхательные аппараты были несовершенны, смерть от остановки дыханий была достаточно распространенным явлением. См. Дж.Дж. Ламмергейер «Средневековые разновидности смерти», том 1 (Кембридж. 1930), стр. 34. – Примеч. автора.

деревьях, невзирая на громкие вопли протеста. Дисциплина хромала. А время тогда было ой неспокойное. Фламандцы совсем обнаглели, и надо было защитить от них Фландрию. Почитая себя миротворцами, мы полагали своим святым долгом грабить военные поселения. В скором времени еще одна армия, тоже из новобранцев, но явно снаряженных лучше, чем мы, и не таких полуголодных, как мы, вышла на север из Брюсселя, дабы расформировать наши мародерствующие отряды. Оба войска разбили лагерь в чистом поле, и на рассвете, задыхаясь от дыма костров, я протрубил сигнал к первым залпам Битвы при Ржаном поле. [53] Да, мы давали столь громкие имена нашим незначительным стычкам. Но войны, что изменяют границы и гонят народ из родных краев, ведут самые обыкновенные люди, а не боги с Олимпа. Мир перекраивают толстые политиканы, что сидят, склонившись над картами, в безопасных укрытиях. Что же касается нашей так называемой битвы, это была просто кровавая бойня, без торжественных фанфар и «Тебя, Бога, хвалим!». Не было там и в помине высокого героизма, о котором слагают песни. Те, кто выжил, разбрелись по домам, и в ушах у них еще долго звучал плач соратников, в сущности, совсем мальчишек, и стоны раненых и умирающих, которые кричали «мама», а перед глазами стояли картины искалеченных тел их товарищей. Я находился на передовой, с остальными армейскими музыкантами. Вооруженные только дудками и барабанами, мы пали еще до первой кавалерийской атаки. Сам не знаю, как так получилось, что я не погиб. Я мало что помню. Помню только, как я зарылся в гору кровавых трупов, притворившись мертвым. Надо мною гремела битва, казалось, что далеко-далеко, а я лежал в беспамятстве, только изредка приходя в себя, а потом я открыл глаза и вдруг увидел прозрачное чистое небо и птиц, парящих в синеве. Я с трудом выполз из-под горы трупов, что как будто вцепились окоченевшими пальцами мне в одежду и не хотели меня отпускать. Я не решился подняться на ноги, я полз на брюхе, аки поганый змей, натянув на глаза капюшон, чтобы не видеть этого ужаса. Вот так, почти вслепую, пробрался я сквозь погубленные хлеба. Иногда я наткался рукой или взглядом на какое-нибудь оружие, или на что похуже, хотя и старался смотреть только в землю прямо перед собой. У меня перед носом шмыгнула мышка-полевка и взобралась на колосок. Я остановился на пару минут или, может быть, пару часов, я не знаю, наблюдая за тем, как божья коровка пытается преодолеть препятствие в виде пальцев моей левой руки. Однако же все мои мысли были сосредоточены лишь на одном. Убраться подальше от этого места. И я полз, медленно придвигаясь вперед по прямой, то есть мне так казалось, что я ползу по прямой. Каждый дюйм был великой победой над страхом и изнеможением. И вот наконец я уткнулся в кусты ежевики. Я вышел к лесу. Вернее, не вышел, а выполз, как змей, или даже как жалкий червяк. Итак, вот он, лес. Но что это за лес? Я не знаю. Лес как лес, самый обыкновенный. Я почувствовал запах сырой земли. Осталось немного. Последний рывок. Корчась от боли, я кое-как сел, привалившись спиной к какому-то пню и держа на коленях сбитые в кровь руки ладонями вверх. Заснул я мгновенно. Спал как убитый. Без сновидений. Блаженное забытие. А потом пошел дождь, и я плакал вместе с дождем, горько плакал, что он меня разбудил. Но Жизнь – это такая привычка, от которой избавиться очень непросто. Изнывая от голода, я кусал грибы прямо с земли. Жадно заглатывал землянику, политую лисьей мочой. Хрупкие ягоды крошились в пыль или размазывались ароматным ничто у меня в руках. То немного, что оставалось, я поглощал, давась, словно Альбрехт в той басне. [54] Когда я доел все ягоды, но при этом нисколько не

53 «Армия, призванная восстановить порядок в мятежных войсках, вышла из Брюсселя и разбила отряды мятежников, ослабленных болезнью, известной как Огонь святого Антония (болезнь крови, которую вызывает грибок, паразитирующий на ржаных колосьях). Солдаты победившей армии, которым не заплатили обещанную награду, принялись бесчинствовать в округе, пока их не разбила другая армия, призванная восстановить порядок в мятежных войсках, спешно отправленная из Брюсселя». (Перегрин Лонгфорд «Испанские Нидерланды», Оксфорд, 1974, стр. 89.) – Примеч. автора.

54 Аллюзия на историю из «Собрания дураков» Ханса Вёгеля, книги, которая в свое время породила немало подражательных копий. Книга впервые увидела свет в 1494 году, отпечатанная в типографии Йохана Бергмана

наелся, я попытался собраться с мыслями и придумать, что делать дальше. Понятное дело, мне надо было переждать, пока не улягутся репрессалии. Стало быть, мне предстояло какое-то время прожить в лесу. Но смогу ли я продержаться на столь скудном питании? Не поспешит ли Душа покинуть истощенное Тело, которому не достанет сил, чтобы ее удержать? Мне бы очень этого не хотелось. Иди дальше, подсказывал внутренний голос. Иди вперед, или лучше ползи вперед, глядя в землю, а там посмотрим. Я не боялся волков. Они, без сомнения, уже насытились мертвечиной. И вот, скорчившись в три погибели, как горбун, прячущийся под папоротником, я углубился в чащу. Я даже не знаю, хромал я или нет. Спина, постоянно согбенная, болела нещадно. Можно представить, как я был счастлив, когда мне удалось наконец разогнуться, выпрямиться в полный рост и вновь обрести осанку, что приличествует человеку. Но я забегаю вперед. Я должен сперва рассказать, как я воссоединился с себе подобными. Однажды утром, после дождя, я заметил среди деревьев пятно неожиданно яркой зелени. Едва волоча сбитые ноги, я, как мог, поспешил в ту сторону и вышел из темного леса в сад неземной красоты. После долгих блужданий в чаще мой разум как будто заснул, уподобившись блаженному неразумению дикого зверя, но уже очень скоро стряхнул с себя оцепенение и воспринял упорядоченный мир подстриженных деревьев и розовых клумб, и расшифровал эти знаки, и понял их смысл. Сад был разбит с геометрической точностью, и эта четкая геометрия разогнала лесную мглу неведения. Я распрямился, преодолевая боль, и, подобно матросу с погибшего корабля, которого волны вынесли на необитаемый остров, не обозначенный ни на одной карте, обозрел сад, определяя отдельные его части и их соразмерность. Сама поляна представляла собой правильный круг. От окружности в центр шли семь тропинок, с интервалом через каждые тридцать ярдов. В центре круга был зеленый лабиринт из невысоких постриженных кустиков где-то мне по колено. Семь входов в лабиринт после замысловатых изгибов соединялись в единый выход, который вел на вторую внутреннюю поляну, где стоял двухэтажный дом. Не тратя времени даром, я прошел по лабиринту и постучал в дверь. Мне никто не ответил. Судя по первому впечатлению, люди здесь были, а если покинули дом, то совсем недавно. Тогда я подергал дверь и она оказалась незапертой. Я вошел в дом и, пройдя по короткому коридору, оказался в большой круглой комнате с высоким сводчатым потолком с перекрестными дубовыми балками. По внутренней стене шла каменная винтовая лестница на второй этаж. На втором этаже, как и на первом, из центрального зала, от центра к внешней стене, вело шесть дверей, равноотстоящих друг от друга. Все, кроме одной, были заперты. [55] Это было строение, во

в Базеле, и своей популярностью была обязана в первую очередь малопристойным гравюрам Дюрера, нежели чем непосредственно тексту, достаточно сентенциозному. Дикая лесная земляника, обладавшая более тонким запахом и вкусом по сравнению с современными видами, в средневековом искусстве символизировала изысканные, но мимолетные наслаждения плоти; см., например, Уте Крёйе «Сад земных наслаждений» Босха: новый анализ», «Narragonia Review», LXXI, стр.49–95. – Примеч. автора.

⁵⁵ В этом саду нет ничего случайного: он устроен, согласно продуманным нумерологическим принципам.

Пять концентрических кругов (наиболее ценная геометрическая фигура: совершенная и бесконечная), вероятно, символизируют пять рыцарских добродетелей, как пятиугольник символизирует пять ран распятого Христа. Сад также имеет весьма прозрачный космологический смысл. Платон в «Тимее» утверждает, что Бог создал мир в виде идеальной сферы; святой Августин применяет принципы платоновского геометра к христианской теологии и пишет в апокрифической Книге Премудрости: «Ты упорядочивший все тела, придав им меру, число и вес» (11:20). Лес – это «неведение», то есть Хаос, что правил в мире до Времени. Семь тропинок разделяют сад на семь секторов, каждый из которых представляет один из семи дней Творения. (Семь тропинок также могут символизировать Семь Свободных Искусств, то есть цикл дисциплин, составлявших основу средневековой системы образования.) Лабиринт – это человеческое воображение, которому свойственно пребывать в сомнениях, совершать ошибки и не замечать очевидного. Семь входов, которые сливаются в один выход, указывают на то, что мудрость мы получаем из самых разных источников, но они все ведут к одной Истине. Сам дом – это *fief du genie*, вотчина гениальности и талантов; двенадцать комнат могут указывать на двенадцать колен Израилевых, или двенадцать апостолов, или двенадцать знаков Зодиака. Книга в центральном зале – это центральная ось всей конструкции. Для более подробного ознакомления с нумерологией см. замечательную работу Гриффина Тила «Божественный Геометр: исследования средневековой космологии»

всех отношениях примечательное.

Однако больше всего меня заворожала книга. Книга, раскрытая на аналог в самом центре круглого зала. Как я обнаружил, это было подробное описание строительства сада, его развития и ухода за ним вкуче с картами, и рисунками, и каталогом трав и цветов [56]. Сад был устроен так, что всякое время в году в нем обязательно что-то цвело, разумеется, в свой сезон. Во фруктовом саду в основном росли груши и яблони. Там был огромный розарий, где воздух буквально звенел ароматом. В водном парке многочисленные ручейки перетекали из пруда в пруд, мшистая земля с тихим плеском пружинила под ногами, и зимородки носились туда-сюда, радуя взор. В прудах цвели кувшинки и плавали неторопливые рыбины. В соседней роще цвели деревья, которые служат лишь для украшения и не приносят полезных плодов. Рядом с рощей располагался участок, предназначенный для отдохновения. Здесь были беседки, как бы сплетенные из ветвей живых лип, и там стояли скамьи для любви или уединенного чтения и подставки для факелов. Тенистый тоннель из ракитника укрывал от глаз уютные скамеечки «для двоих», подвешенные наподобие качелей среди цветущей жимолости, где каменные изваяния философов навечно застыли в раздумьях, пока зеленый лишайник медленно расползлся по их пьедесталам. В вересковом саду деловито жужжали пчелы. Каждое лекарственное растение в травяном саду было обозначено табличкой, отчего этот участок напоминал кладбище с крошечными надгробиями. Кладбище, откуда прогнали Смерть. Вы, наверное, можете себе представить, как я лелеял и холил эти бесценные сокровища. Да, можно без преувеличения сказать, что Сад и Книга помогли мне выжить. Потребности у меня самые скромные. Если мне хотелось есть, я отрезал полоску от своего кожаного ремня и жевал ее. Обычно этого мне хватало, чтобы утолить голод, а в тех редких случаях, когда не хватало, я отправлялся во фруктовый сад и собирал там едва завязавшиеся плоды, зеленые и горькие, от которых потом в животе была тяжесть. Но я не сдавался, ибо очень хорошо помнил о своей умственной деградации в лесу. Видите ли, если долго бродить в одиночестве в диких лесах дикость вползает в сознание и оплетает разум, подобно плющу. В голове разрастаются сорняки, и стенки черепа постепенно крошатся под едва уловимым давлением ползучих побегов. Разум может спастись лишь в рукотворном саду, где природа приручена человеком. Я был как хозяин и господин над Природой я укрощал ее, как строгий муж укрощает строптивую женушку, дабы стала она послушной. Внимательно изучив книгу, я узнал, какие из сорняков надо выкапывать обязательно, чтобы они не высасывали плодородие из почвы. Я подрезал фруктовые деревья, обрубая излишние ветки, чтобы плодоносным ветвям доставалось больше живительных соков. Так в трудах праведных проходили дни. Чума и война казались такими далекими, как Содом – от Эдема. Да, но когда все хорошо, и фортуна к тебе благосклонна, пусть даже на малое время, ты расслабляешься и становишься неосмотрительным и беспечным. Однажды утром я пришел во фруктовый сад и обнаружил, что за ночь три грушевых дерева лишились всех плодов. К тому времени я уже знал всех паразитов, что поражают растения и приводят к болезням клубней, корней и листьев. Я знал, как бороться с ложномучнистой росой, галлом и омертвением. Но никакая гусеница, никакая личинка не смогли бы причинить столь существенный вред. Меня передернуло от досады, ибо я сразу понял, что здесь были люди, и убежище мое раскрыто. Сад для этих стервятников в людском облике был просто садом, а не прибежищем от тревог мира, каким он был для меня. Как будто мы вместе отведали навших грибов, и я узрел Красоту, а они лишь возрадовались возможности набить брюхо. [57] В ту ночь я спал, как на иголках, и

(Брисбейн, 1983) и Маргарет Гальнель «L'Univers Enantiomorphique» (Париж, 1991). – *Примеч. автора*

⁵⁶ Книга, обнаруженная рассказчиком, иллюстрирует идею, что знание нумерологии дает человеку возможность «прочсть» обе книги, «написанные» Творцом: Книгу Деяний (сотворенный мир) и Книгу Слов (Библию). Разумеется, первая содержит в себе вторую, и наоборот. – *Примеч. автора*

⁵⁷ Навий гриб – «простонародное» искаженное название *Navis stultifera*, съедобного гриба, известного своим

вышедши в сад на рассвете, застал двух мародёров, обдирающих мои яблони. Я закричал, и они испугались и убежали. Я так думаю, тут немалую роль сыграл и мой вид, каковой, признаюсь, действует устрашающе на людей непривычных. В тот день у меня все валилось из рук. Меня буквально трясло от ярости. Я не мог думать ни о чем другом, кроме как об этих вандалах, рахитичных, тщедушных, сплошь в гнойниках. В грязных вонючих лохмотьях. Разум мой был поглощен этими отвратительными подробностями, и поэтому я не заметил одной важной детали. Вернее, заметил, но как-то упустил из виду. Они, эти незванные гости, были совсем-совсем юными. Почти детьми. Потому что, хотя их испуганные лица показались мне на расстоянии старыми и изможденными, двигались эти двое совсем по-детски. В смысле, проворно и быстро, как могут двигаться только дети, не отягощенные грузом своего «я». Я обратил на это внимание уже потом, когда те двое вернулись. Они привели с собой и других. Теперь, когда их было много, они были уже не такими пугливыми. Остановившись на подступах к саду, они принялись выкрикивать оскорбления и угрозы в мой адрес. Вот тогда я и заметил, что враги мои – просто мальчишки. Голоса их ломались, а угрозы звучали совсем по-ребячески. Я подумал, пусть себе кричат, похоже, им это нравится. Меня волновало другое. Как оказалось, их было много, а это значит, что и ущерб будет немалый. И я не ошибся. Все съедобные растения так или иначе пострадали, полностью или частично. Лещей, красноперок и линей существенно поубавилось. Они исчезли в клубах душистого дыма, что доносился из леса. И хоть сам я довольствовался неудобоваримым кожаным ремнем, запахи готовящейся еды вызывали у меня обильное слюнотечение. Недопустимая слабость с моей стороны. С каждым днем их становилось все больше и больше, мальчишек. Я не знал, как их отвадить. Да и что я мог сделать против такого количества? Лишь наблюдать, как они опустошают сад. Уже в полном отчаянии, я обратился к книге в поисках какого-нибудь практического совета, что делать в подобных случаях, но ничего не нашел. А потом к дому пришла делегация. Я наблюдал за толпой мальчишек сквозь смотровую щель. Вместо того чтобы пройти по лабиринту, как должно, они, поверите ли, совершенно бесстыдно сжульничали! Да-да, они просто переступили через низкие стенки. Что вам нужно? – спросил я через дверь. Наверное, излишне упоминать, что я заперся на все замки. В руках я держал ясеневую палку, которую вырезал себе, чтобы опираться на нее при ходьбе. Я, видите ли, сильно ослаб, и мне было трудно передвигаться без палки. Нам нужно посеять хлеб, сказал один из мальчишек. Ну так сейте, ответил я, только где-нибудь в другом месте. Больше негде, сказал мальчишка, в лесу нет места, а на равнине опасно. За сим последовали горестные причитания. Маленькие дикари, минабилы, они оказались в Раю, а увидели только капустные грядки! [58] Это частная собственность, сказал я, уходите с моей земли, уходите немедленно, пока здесь хоть что-то осталось. Когда они развернулись, чтобы уйти, и отошли на достаточное расстояние, я открыл дверь и, стараясь не показать им, какой я слабый и хилый на самом деле, крикнул им вслед, чтобы они прошли по лабиринту, как должно. Бесполезно. Они меня не послушались. И это мелкое непослушание предвещало, что самое худшее еще впереди. И точно. Эти маленькие чудовища принялись громить сад. Они мочились в пруды. Завалили все ручьи грязью. Оборвали цветы. Подожгли вереск. Ободрали кору на кипарисах, обрекая деревья на смерть от потери сока, который есть кровь растений. Я не мог выйти из дома, не мог бросить книгу,

неоднозначным вкусом. Как писал Плиний, «его вкус меняется в зависимости от темперамента едока. Для человека угрюмого, с вечно кислой физиономией, он будет кислым на вкус; для человека характера добросердечного он будет на вкус, как амброзия» («Historia Naturalis», XII). *Navis stultifera* до сих пор вызывает жаркие споры среди гурманов: одни считают его изысканным деликатесом, другие утверждают, что его вообще нельзя есть. – Примеч. автора.

58 В «Космографии» Джордана Скота дается подробное описание мира, где центр мира – Омфал, пуп земли, – находится не в Дельфах, а в Африке, в местности, не нанесенной на карты, в поселении мифического народа, минабилов. Необразованные дикари не могут постичь всей важности этого камня и просто используют его в хозяйстве: стирают на нем одежду. – Примеч. автора.

мне было страшно даже подумать, что они могут с ней сделать. Я стоял на пороге и в бессильном отчаянии наблюдал, как эти маленькие дьяволята обезглавливают статуи, переворачивают скамьи и ломают ракушечный тоннель. Что же касается травяного сада, мальчишки вырвали с корнем все травы, а ведь там было много полезных растений, каковые могли бы унять резь в их раздувшихся животах и извести гнойники и прыщи на их лицах. Я смотрел на это опустошительное буйство, и думал, уж лучше б они продолжали воровать фрукты и рыбу, потому что в тех краях хотя бы был смысл. То есть, конечно, лучше бы они вообще сюда не приходили, но из двух зол всегда выбираешь меньшее. Мне пришлось поменять тактику. Другого выхода у меня не было. Как дон Амадо, одержавший пиррову победу над Эметикусом, я прибег к последнему средству. Дабы спасти то небольшое, что осталось, я пожертвовал тем, что уже было потеряно. [59] Я громко позвал мародеров, мол, идите, сюда. Когда они все собрались у входа, я уже был внутри. Заперся на все замки и переговаривался с ними через дверь. Ввиду нужды и лишений, сказал я, которые терпим мы все, я, так и быть, отдам им участок земли. И пусть сеют там, что хотят. Я открыл дверь и предстал перед ними во всем великолепии своего предельного истощения. Уязвимый и атаксический [60] я. Трясаясь, как в лихорадке, и тяжело опираясь о палку, я обдал их дурным запахом изо рта. Идите за мной, сказал я. Слабый и беззащитный я потащился по лабиринту. Онемев от омерзения, маленькие мародеры двинулись следом. У вас есть командир, спросил я, волоча свои хилые кости по направлению к травяному саду. Мальчишки заспорили между собой. Я командир, сказал какой-то худосочный заморыш и предупреждающе поднял кулак, готовый подавить всякое сопротивление. Я запомнил его лицо. Вот здесь, сказал я, вот этот участок и прилегающая вересковая поляна. Отдаю их вам. Пашите, сейте. А взамен прошу только, чтобы вы принесли мне растения, которые вы тут повыдергали. Вам все понятно? Да, господин. Вы меня не подведете? Нет, господин. У вас есть семена? Вам их хватит? Да, господин. С тем я и вернулся в дом, и мешала мне только дрожь в ногах. Лицемерие, скажете? Капитуляция? Но вы вспомните, каким я был слабым. Я имею в виду физически. Слепой ничего не видит, зато у него острый слух. Также и мне, слабому телом, пришлось полагаться на силу ума. Отступить, чтобы потом перейти в наступление. Пойти на уступки чтобы спасти, что еще сохранилось от пяти оставшихся садов! Очень скоро, как и было договорено, у дверей дома выросла куча трав из опустошенного травяного сада. Принес их тот самый заморыш, командир. Разумеется, он опять жульничал в лабиринте. Мальчишка, понятное дело, не различал растения и свалил все в одну кучу. Я разобрал ее и отложил семена, если где были семена. Наконец, я нашел, что искал. Чтобы удостовериться, что это именно то, что нужно, я сверился с книгой. Пятнистые, сморщенные листья. Зловонный грибковый запах. Я соскреб скальпелем на бумажку несколько образцов. *Aplanobacter brassici*. *Sclerotinia sclerotium*. *Nectria leguminosa*. Не буду вдаваться в фармакологические подробности. Достаточно будет сказать, что по окончании работы единственным препятствием на пути к окончательной моей победе стояла проблема распространения. Сквозь смотровую щель я наблюдал за возней моих, скажем так, арендаторов. Они копались в своем огороде и горланили песни. Замечу, кстати, что пели они отвратительно. Я открыл дверь и позвал их командира. Когда у них будет чего поесть, сказал я, изображая униженное

⁵⁹ Дон Мигель Караско (по прозвищу Эметикус, что в переводе с латыни означает «рвотный»), придворный хирург короля Педро III Арагонского, предвосхитил «Анатомию» Модино ди Луиджи, выступая за анатомирование человеческих тел. Существует легенда, что он обхаживал одного пожилого придворного, дона Лопе Амадо, пытаясь добиться у него разрешения анатомировать его тело, когда он отойдет в мир иной, «дабы узнать, каким образом держится жизнь в такой немошной и изношенной оболочке». Дон Лопе никак не давал разрешения, опасаясь, что расчлененное тело не сможет воскреснуть, когда придет Судный день. В конце концов, чтобы уже гарантированно избежать посмертного расчленения, он проглотил целый мешочек гравия и бросился в море. См. Мария Грахо «*Mitos Durables de Catalunya*» (Барселона, 1967). – Примеч. автора.

⁶⁰ Атаксия – нарушение координации движений. – Примеч. пер.

смирение, можно мне тоже кусочек? Я такой же голодный, как вы. Я страдаю, как вы. Мальчишки на импровизированном огороде прервали свою работу и слушали мои горестные причитания. У меня есть один порошок, сказал я. Удобрение. Чтобы земля была плодородной. Я погладил себя по животу, вернее, по впалому углублению под ребрами, изображая голодное предвкушение. Должно быть, зрелище получилось и вправду забавным, поскольку моя бледная исхудалая пародия на обжорство вызвала дружный смех. Командир кивнул, улыбнувшись. Улыбка предназначалась мне и означала согласие. В конце концов дураку все доверяют. Когда я вернулся со своим порошком, меня встретили веселенькими улыбочками. Мне помогли пройти по лабиринту, и терпеливые руки поддерживали меня, пока я рассыпал грибковую пыль в распаханную землю. Чуть позже мне принесли аппетитный кусок зажаренной на костре белки. Я смаковал это горячее мясо, медленно пережевывая каждый кусочек. И это, любезный мой господин, есть сердцевина моей истории. Дальше все было просто, и примитивно, и непримечательно. Простая формальность, не требующая особого красноречия. Посевы мальчишек взошли и созрели. С помощью моего удобрения они пожухли и сгнили на корню. Страх и смятение моих незваных соседей долго варились в собственном соку, пока не взбурлили жаждой мести. Толпа собралась у моих дверей, алча крови. Хотя я сомневаюсь, что из меня тогда можно было бы выжать достаточно, чтобы удовлетворить эту жажду. Я так ослаб, что почти не вставал с постели. Я больше не мог сосать свой кожаный ремень, потому что во мне не осталось слюны даже на один плевок. Не подозревая о столь плачевном моем состоянии, мальчишки вытоптали лабиринт. Это было последнее унижение. После чего они стали ломиться в дверь, и дверь поддалась. Я потянулся за книгой, но пальцы мои были словно травинки, что пытаются сдвинуть камень. Я еще успел увидеть, как их командир, этот грязный заморыш, ворвался в зал и упал на пол с арбалетной стрелой в мозжечке, а потом я лишился чувств. О блаженное забытье! Его единственный недостаток, что им нельзя насладиться. Когда я пришел в себя, никакого небесного хора я не услышал. Серафимов и херувимов поблизости не наблюдалось, а жемчужные ворота, видимо, демонтировали для реставрации. Иными словами, я все еще пребывал в брэнном теле на грешной земле. Спина ужасно болела, приветствуя мое возвращение к жизни, и вскоре я понял, что болела она потому, что лежал я на мягкой постели. В какой-то комнате. Я не узнал эту комнату. Я не помнил, как я туда попал. Я попытался заснуть, но, видимо, я хорошо выспался, потому что спать не хотелось. Чтобы хоть чем-то заняться, я начал рассматривать очень красивые кожаные сапоги, что стояли возле кровати. Мой взгляд поднялся чуть выше и наткнулся на элегантные панталоны, расшитые шелком, восхитившись изящным узором, я поднял глаза еще выше и увидел не менее роскошный жилет, мантию, отделанную горностаевым мехом, цепь с медальоном и гофрированный воротник. Кто ты, спросил незнакомец, и что ты делаешь в моем доме? Я ответил, что мог бы задать тот же вопрос. Незнакомец кажется, оскорбился. Я, правда, не понял, с чего бы. Я, может быть, воздух испортил? Это *мой* дом, сказал он, я уехал отсюда со всеми домашними, спасаясь от чумы. Теперь, когда эпидемия прошла, мы вернулись и обнаружили, что какие-то дети заняли поместье. Мы их прогнали. Там была кровь, на пороге. А во Внутреннем Кабинете мы обнаружили вас и мертвого мальчика. Он говорил что-то еще, но я не то чтобы не слушал, просто все плыло у меня в голове. Вот ваши вещи, сказал он и вывалил мне на колени ясеневую палку, плащ, камертон, разодранный ремень, арбалет, веревку-привод для арбалета и обглоданные беличьи кости. Ничего не пропало? – спросил он. Все на месте? Я перебрал в руках свои земные богатства. Нет, сказал я, ничего не пропало. Я не смотрел на него, но я чувствовал на себе его пристальный взгляд. Его отвращение было как липкая слизь у меня на коже. Все не так, как вы думаете, сказал я. Я музыкант. Провидение послало меня сюда, чтобы спасти ваш сад от разорения. Хозяин дома громко расхохотался. Вы видели, спросил он, что стало с садом? Я попытался ему объяснить. Попытка вышла не очень удачной, я то и дело терял сознание, а потом меня вообще перебили, пришел слуга, вставил мне в горло воронку и принялся вливать в меня жидкую овсяную кашу. Когда же я попытался возобновить свой рассказ,

хозяин дома меня перебил. Но что я сделал? И почему? С какой целью? С тех пор прошло столько времени, а я все думаю над этими вопросами. Вот, скажем, вы, благочестивый монах, что побудило вас отказаться от мирской суеты и избрать жизнь созерцательную? Вино, пирушки, любовные похождения, вам это не нужно. Для вас поэзия уединенного созерцания важнее просодии низменных мирских радостей. Великий зверинец Искусства, многолистные цветы Философии приятнее вашему сердцу, нежели медвежья яма и самый роскошный бордель. И я, любезный мой господин, целиком и полностью разделяю ваше желание отвернуться от грубой и грязной *vita activa* [61], ваше стремление к Красоте. Сад для меня был таким же прибежищем духа, как для вас – монастырь. И все же, чтобы его защитить, мне пришлось снова прибегнуть к Действию. Я боролся не на жизнь, а на смерть, чтобы спасти его от вульгарной толпы И какова благодарность? Меня попросту вышвырнули оттуда, даже спасибо и то не сказали. Ну да, конечно, у нас, у артистов, такая судьба, бродить по дорогам и весям и не ждать благодарности за свой труд. Но все же мне было немного обидно, когда хозяин дома приказал мне убираться с его земли. Я возразил, дайте мне лютню, и я буду играть вам музыку. Дайте мне лопату, и я буду копать в саду. Только позвольте остаться здесь. Но хозяин скривился, как будто лимон откусил, и развернулся, чтобы уйти. Я упал ему в ноги и, рыдая, вцепился в его роскошные панталоны. Ему пришлось звать на помощь слуг, чтобы они оторвали меня от него, как присосавшуюся пиявку. Мне дали с собой хлеба, воды и даже немного денег. Мне бы очень хотелось сказать, что я уходил с гордо поднятой головой, и мой гордый силуэт растворился в сумраке леса. Но я не склонен к преувеличениям. Я просто ушел. Глядя в землю. Как тогда, на ржаном поле, после сражения. Мир раскинулся передо мной, облизываясь и щелкая челюстями. И с тех пор, куда бы я ни пошел, меня всегда обгоняли Слухи, устилая мне путь шипами. Кое-кто из мальчишек, должно быть, вернулся домой и рассказал обо всем, что было, и беспристрастием эти рассказы явно не грешили. Послушать, что говорят люди, так я ни дать ни взять Вечный Скиталец, а Фландрия – земля Нод. [62] Я скрываю лицо, потому что оно у меня заметное, как вы сами уже убедились. Этот огромный носище, он как каинова печать. Он постоянно маячит у меня перед глазами. Всякий час, когда я не сплю, я смотрю на него под своим капюшоном. А ведь когда-то я был способен видеть значительно дальше собственного носа. Там, в саду, я благодарил провидение, что у меня такой нос, ибо чем больше нос, тем он чувствительнее к ароматам, а ароматы там были божественные. Но это было тогда. А теперь я не чувствую никаких запахов, кроме дерьма и помоев. Да, это все, что я чувствую. А все, что я слышу, когда играю, это глупая болтовня торговцев, которые убили бы меня на месте, если бы знали, кто я. Вот почему я вам так благодарен, господин монах. Вы единственный уловили суть. Наша жизнь – это не бранный мусор. Вы услышали мою музыку, вы ею прониклись. Ваша душа отозвалась сопереживанием. И за это больше спасибо.

* * *

Мнемозина, мать всех муз [63], ты в своей простодушии позволяешь нам так легко забывать все, чему нас учили, и Знания словно испаряются из головы, но самые жестокие воспоминания навсегда остаются с нами. Едва менестрель закончил свою историю – каковая наполнила мое сердце печалью и гневом, – нас вспугнули голоса с улицы. Они

61 Жизни деятельной (лат.).

62 «...в земле Нод, на восток от Едема» (Бытие, 4:16). – Примеч. автора.

63 Мнемозина, мать муз. – Примеч. автора.

приближались к нашему укрытию. Менестрель укрыл лицо капюшоном до самого кончика носа, я последовал его примеру. Мы вжались в стену за сырным ящиком.

Представьте себе весь наш ужас, когда голоса сделались громче, и четверо человек стали спускаться в подвал! В стене была небольшая ниша, где было темнее, и мы с менестрелем осторожно переползли туда. Четверо крепких рабочих остановились буквально в нескольких дюймах от нас. Зажимая руками носы, они отпускали грубые шуточки насчет вони. Мы тоже затаили дыхание, хотя давно свыклись с запахом.

– Ладно, парни, взялись, – сказал кто-то из них.

Они подхватили ящик и потащили его вверх по ступеням. Дневной свет пролился в подвал.

Я не помню, кто из нас первым себя обнаружил – я или менестрель, – и выступил из укрытия, каковое, по сути, и не было никаким укрытием. Что-то бессвязно бормоча, мы поднялись из грязи – две скрюченные фигуры, словно двое восставших покойников в темных саванах. Рабочие от испуга выронили ящик. Сыры покатались по лестнице вниз, прямо на нас с менестрелем. Несмотря на загустевшую кровь в затекших членах [64], я довольно проворно выскочил на улицу. Менестрель же, увы, едва успел передать мне свою лютню, прежде чем исчезнуть под сырным обвалом.

Первые пару секунд ничего не происходило. Рабочие застыли на месте, все еще сжимая руками воздух, как будто держась за ящик, который давно уже грохнулся вниз. Они таранились на меня. Я – на них. Потом они посмотрели вниз, на менестреля.

– Это он! – закричали все разом. – Детоубийца!

Не зная, что делать, я истово перекрестился, надеясь, что Бог ниспошлет мне озарение. Должно быть, крестное знамение меня и спасло, потому что я вдруг почувствовал, что становлюсь как бы невидимым. Никто не обращал на меня внимания. Я стоял и смотрел, неприкосновенный, на сцену, что разыгрывалась у меня под ногами: ибо рабочие стряхнули с себя оцепенение и, прогнав всякую нерешительность, бросились на менестреля.

Совершенно беспомощный, я не мог вмешаться в историю, из которой меня так внезапно исключили. Я подобрал свою рясю и бросился наутек. Улицы наполнились громкими воплями и слухами о вершащемся отмщении. Где-то по пути я выронил лютню; я не помню, где и как это случилось, – она просто пропала, как исчезает из памяти сон, когда мы просыпаемся. Да, пока я пробирался вперед сквозь толпу, что текла мне навстречу, у меня было странное ощущение, будто я возвращаюсь к Реальности. Перед мысленным моим взором стоял лишь манускрипт, что ожидал меня в библиотечной тишине.

Разумеется, я нашел книгу в точности, как оставил: открытой на той же странице, в окружении других мудрых книг, которые я отобрал для работы. Все еще не отдышавшись, я уселся на скамью и украдкой взглянул на своих собратьев-книжников. Никто не взглянул в мою сторону. Одни были заняты размышлениями, другие что-то писали в книгах своими гусиными перьями. Постепенно дыхание восстановилось. Строгая библиотечная тишина уняла мое бешеное сердцебиение. Я окунул перо в чернильницу и возобновил прерванную работу. Стены в библиотеке были достаточно толстыми, да и ряды книг поглощали все звуки с улицы. Я отложил перо и встал, чтобы закрыть окно. Ставни я тоже закрыл, от греха подальше.

Explicit liber hortorum culturis

Пролог певцов-горлопанов

⁶⁴ В средние века считалось, что руки и ноги затекают потому, что кровь в них свертывается из-за нехватки кислорода. Согласно Дабику, затвердевание любой части тела вызывается той же причиной. Отсюда (в связи с мужской эрекцией и ее последствиями) происходит эвфемизм «le petit mort» («маленькая смерть»). См. прим. по поводу «модной медицины того времени». – Примеч. автора.

– Отлично сработано, – говорит шут, когда монах замолкает. – Ты действительно отличился.

Монах: Я был тогда молодым и невинным.

Первый певец-горлопан: Ты видел голову менестреля, насаженную на пику?

Второй певец-горлопан: Его труп на веревке?

Третий певец-горлопан: Ты закончил свой трактат?

Второй певец-горлопан: Теологический.

Третий певец-горлопан: В общем, трактат.

Монах: Э... мой «*prudendae*»?

Шут: Я попросил бы! Соблюдайте приличия, господа. Здесь дамы.

Пьяная баба пускает ветры и громко хохочет. Монашка, избравшая путь покаяния, поднимает глаза к Небесам, надеясь на гром среди ясного неба. И тут вступает пловец (вы еще про него не забыли?), продолжая нападки.

Пловец: А подскажи мне, святой отец, где эта знаменитая библиотека в Брюгге. Просто мне любопытно.

Монах: Библиотека... э... Она... в городе.

Пловец: Странно. Я прожил в Брюгге почти всю жизнь, но что-то не помню там библиотеки.

Монах: Ну, это было давно... тебя тогда и на свете не было.

Монах видит складочки недоверия на лицах слушателей. Его макушка покрывается испариной.

– Надеюсь, никто из вас не сомневается в правдивости моего рассказа, – взрывается он. – А если кто сомневается, то пусть так и скажет. Но все, что я рассказал, это чистая правда. До единого слова.

Шут: Слово само по себе – всегда правда. Важны не слова, а их порядок.

Певцы-горлопаны: Правильно, это все относительно.

Монах: Нет, не все.

Певцы-горлопаны: Это все субъективно.

Монах и Монашка: Нет!

Похоже, что назревает новое противостояние. Певцы-горлопаны о чем-то шепчутся, сбившись в тесный кружок, ни дать ни взять заговорщики. Все внутри у монаха дрожит и трепещет, и он хватается обеими руками за край стола, так что у него белеют костяшки пальцев.

Певцы-горлопаны: Слушайте. Теперь наша очередь.

Рассказ певцов-горлопанов

Давным-давно в славном городе Вормсе жил-был один лекарь по имени Ганс.

~ Его звали Горацио. Он был хирургом. И жил в Виттенберге.

~ Иероним был знахарем-шарлатаном; и что хуже всего, он был рыжим. И жил он в городе Вормсе, и кормился за счет того, что дурачил невежд и простаков.

Известный в городе человек, ученый; честный и добропорядочный.

~ Его разум, испорченный образованием, не отличался ни благочестием, ни набожностью.

~ Когда у него умерла жена – женщина, кстати сказать, богатая, – он похоронил ее на кладбище для нищих.

Если где-то случалась болезнь,

~ когда телесные жидкости пребывали в неуравновешенном состоянии,

~ или у кого-то ломило яйца,

Ганс всегда помогал больным. Он знал целебные свойства всех трав и растений. Он умел приготовить бодрящий напиток из спиртового настоя пырея ползучего, из окопника лекарственного, пиретрума девичьего и чистотела. Он знал, как работает тело.

~ Он был сведущ во всем, что касается человеческого организма.

~ и хорошо разбирался в болезнях мошонки.

Он свободно читал на греческом и на латыни. Изучал Гиппократ, Плиния и Плутарха.

~ Его испортили авторы с юга – язычники, забившие ему голову своими погаными идеями.

~ Он знал больше сотни застольных песен типа «Фрайдесвайд-Онанист» и «Гунда глушит эль хмельной».

В ходе своих ученых штудий Ганс пришел к выводу, что Господь, сотворив человека, заповедовал нам блюсти не только чистоту духа, но и здоровье и крепость тела. Иначе зачем он создал столько лекарственных трав и растений?

~ Горацио, как мог, боролся с недугами и болезнями, каковые Господь посылает нам в испытание. Если б он жил в стране Уц, он, без сомнения, взялся бы пользоваться Иова, схватившись за эту возможность помешать Всемогущему Господу на его неисповедимых путях.

~ Методы Иеронима были, скажем прямо, нетрадиционны, но иногда пациент выздоравливал. К примеру, он знал верное средство от бесплодия. До того как сифилис и ранняя лысина изрядно подпортили ему внешность, он как-то провел одну зиму в Веймаре и излечил многих бездетных жен, используя способ необременительный и даже приятный. В апреле он поспешно бежал на юг, в Вормс – а осенью в городе был обильный урожай рыжеволосых младенцев.

Однажды вечером Ганс сидел дома над книгами, и вдруг в дверь настойчиво постучали. Он взял со стола свечу, чтобы осветить себе путь, и пошел отворять дверь.

~ На пороге стоял монах, фыркая и отдуваясь. Сутана вся забрызгана грязью, лицо – как кусок сырого мяса с прожилками жира.

«Господин доктор, – сказал монах, – нужна ваша помощь».

~ Я бежал всю дорогу из монастыря Святого Симоиака. Один из братьев тяжело болен. Мы опасаемся, что он одержим дьяволом.

~ Нет! – воскликнул Иероним. – Монах? Одержимый дьяволом? Здесь? В Вормсе?

«Увы, вы пришли не по адресу, – сказал Ганс. – Я не занимаюсь изгнанием бесов». Но монах твердо стоял на своем «И аббат, как назло, в отъезде! – воскликнул он. – Наш священный долг – бороться с Сатаной, если это Сатана. Но чтобы в этом удостовериться, нам нужен диагноз мирянина. Для объективности.

~ Горацио расхохотался. «Одержим дьяволом, говорите? А дьявол, случайно, явился не в облике бочонка с элем?»

~ «Да, у бесов сейчас самый сезон, так и кишат, окаянные. Буквально на

прошлой неделе мне пришлось ехать в Вимпфен – изгонять суккуба. Я сейчас только возьму свою сумку, и мы пойдем. Не волнуйтесь: вместе мы его одолеем».

Ганс крепко задумался. Ему, безусловно, было любопытно взглянуть на больного: случай мог быть интересным. Да и слова монаха были как вызов его талантам.

~ Почитая себя лучшим в городе медиком, Горацио согласился пойти к больному и всю дорогу божился, что Современная Медицина найдет способ, как его исцелить.

Когда они прибыли в монастырь, там все кипело от возбуждения. Не тратя времени даром, Ганс прошел в келью к больному.

~ Монахи тащились за ним по пятам, словно стая серо-бурых крыс.

~ Они пришли в келью, что рядом с часовней. Вонь стояла ужасная – Иероним узнал ее сразу.

Тесная келья была набита битком. Монахи стояли, сжавшись, и бормотали молитвы.

~ Горацио остановился в дверях со скептическим и горделивым видом.

~ Монахи отодвинули занавеску. Больной – тучный, дородный мужчина – сидел, крепко привязанный к стулу.

Несчастный – его звали брат Лемпик – озирался по сторонам с совершенно безумным видом. Дикий взгляд, волосы все растрепаны. Лицо – сплошь прыщи и гноящиеся нарывы. «Мы не решаемся к нему приближаться, – сказал кто-то из монахов. – Он шарахается от бритвы и не пьет воду. Верный знак Зверя».

~ Его звали брат Ламберт. И дьявол был тут ни при чем, ибо брат Ламберт был орудием Бога.

~ Брат Лабберт сидел, крепко привязанный к стулу и с кляпом во рту. Иероним взглянул на него украдкой, так чтобы никто не заметил: это был заговорщический взгляд. Ибо брат Лабберт был Лаббертом-лицедеем. Будучи у Иеронима в долгу, он вызвался сыграть роль безумного монаха. И теперь он исправно пускал слюну и хрипел, завывал, как бешеный барсук, и ревел, как медведь. Как только к нему приближался кто-нибудь из монахов, он начинал нести всякий бессвязный бред или громко пускать ветры. Время от времени он дергался, вперивал взгляд в пространство и обращался по имени к пустым местам: «Абадон» и «Астарот», «Мамон» и «Мефистофель».

Ганс осторожно осмотрел пациента. Монахи, столпившиеся вокруг, говорили ужасные вещи про своего недужного собрата – как он читал «Отче наш» задом наперед и ползал по келье, будто краб; как кровь сочилась у него из глаз, и как он пытался содрать с себя кожу ногтями. Но Ганс ласково заговорил с братом Лемпиком, и тот, похоже, слегка успокоился.

~ Уж такая судьба у избранников Божьих – лицемерные праведники ненавидят их и боятся. Монахи из монастыря Святого Симониака видели ореол света, что сиял вокруг брата Ламберта, словно солнце за набежавшим на него облаком. Они видели, как он любил всякую Божью тварь, и как истово он молился – и за это они ненавидели его лютой ненавистью.

~ Наблюдая за тем, как брат Лабберт плюется, блюет и пердит, Иероним про себя восхищался такому реалистичному представлению. «Отвечай мне, враг рода человеческого! – закричал он. – Что тебе нужно от этого человека?» Глаза брата Лабберта закатились, так что были видны лишь белки. «Дерьмо! Мерзость! Смерть! Я сожру тебя с потрохами и насуру тебе на голову!»

«Видите, – сказал Ганс монахам, – доброе обращение всегда успокоит больного».

~ «Но только не этого изверга, – отозвались монахи, глядя со злобой на брата Ламберта. – Видите, как он таращится и плюется». Но Горацио видел лишь седовласого старика, связанного, с кляпом во рту, который сидел, обратив кроткий взгляд к небесам.

~ «Я отымею всю вашу скотину! И ваших жен! Дерьмо! Мерзость! Смерть!»

~ И тогда Горацио сказал: «Я не вижу, чтобы с ним было что-то не так». «Он притворяется, – завопили монахи. – Буквально час назад он изблевал гороховый суп».

~ «Да. Без сомнения, это бесы. Я бы даже сказал, целое полчище бесов. Простое изгнание тут не поможет, оно лишь возбудит нижнюю дорсальную гипотенузу. В общем, так. Давайте сюда долото».

«Его безумие вполне излечимо, – сказал Ганс, убирая мокрые волосы со лба брата Лемпика. Связанный монах умоляюще поглядел на него, кроткий, как агнец. – Мне нужно, чтобы его подержали. Скажем, трое человек».

~ Восемь добровольцев бросились на помощь Горацио.

~ Монахи, все как один, вдруг резко разучились ходить.

После долгих уговоров трое монахов все же вызвались помочь. Движимый состраданием к ближнему, Ганс вынул кляп изо рта брата Лемпика.

~ «Кляп лучше оставить», – сказали монахи.

~ «Кляп я, пожалуй, оставлю», – сказал Иероним.

«Я сделаю тут небольшой надрез, – сказал Ганс. – Большая кровь вытечет из мозга, и ваш брат снова будет здоров».

~ Ладно: если монахам хотелось получить от Горацио хирургическое вмешательство, он им его обеспечит. «Операция очень простая, – пояснил он, – быстрая и безболезненная. Наука не стоит на месте, любезные господа. И никакое знахарское мракобесие не помешает ее прогрессу».

~ «Я полагаю, что все вы слышали об удалении мозговых камней, которые, собственно, и порождают безумие. Данная процедура по виду практически не отличается от удаления камней, но по сути она радикально другая. Видите ли, когда мы вскрываем череп, давление воздуха в мозге растет и выталкивает бесов наружу. Метод одинаково эффективен и против крупных бесов размером с ежа, и против мелких, размером с мошку. Процент выживания весьма высок. Работа, конечно, не самая чистая – но кто-то же должен этим заниматься».

Ганс открыл свою сумку.

~ Он достал медицинское долото для трепанации и приставил его ко лбу брата Ламберта.

~ Увидев сей устрашающий инструмент, брат Ламберт не на шутку перепугался. То есть по-настоящему. Он застонал и затрясся, как будто в припадке, изо рта потекла пена. Но чем больше он дергался, тем убедительнее получалось его представление. Он пытался кричать сквозь кляп: «Остановитесь! Не надо! Я просто актер!» – но издавал только нечленораздельные звуки, и насильно отобранные помощники лупили его по щекам, чтобы он замолчал.

Ганс быстро измерил голову брата Лемпика. Пациент наблюдал за его стараниями

молча и с искренним интересом, словно умный смысленный пес.

~ Горацио на секунду заколебался. Добровольцам-помощникам, при всем их рвении, не было необходимости держать брата Ламберта, потому что старик даже не сопротивлялся. Он только крепко зажмурился, как будто там, под закрытыми веками, был другой, лучший мир, смотреть на который было гораздо приятнее.

~ Иероним ухмыльнулся и прищелкнул языком. Жирный Лабберт слишком долго тянул с выплатой долга: надо его проучить.

~ Монахи замерли в предвкушении, пряча злобные взгляды и довольные улыбки. Горацио весь покрылся испариной. Он смотрел и не верил своим глазам: голова брата Ламберта купалась в сиянии янтарного света.

* * *

Ганс прошептал на ухо брату Лемпику: «Это поможет тебе друг мой». Он выбрал точку, откуда лучше всего начать, потом приложил острый конец инструмента к коже и резко надавил на ручку. Череп брата Лемпика раскололся, как яичная скорлупа. Лоб осыпался крошкой раздробленной кости – глазные яблоки прорвались, как водяные пузыри, и Ганс погрузился рукой в горячую жижу мозгов. Долото зацепилось за что-то, и его как будто всосало внутрь. Ганс попытался спасти инструмент, но из пузырящейся массы мозгов вынырнула когтистая рука и вырвала долото у растерянного врача. «Сатана! – закричали монахи. – Сатана!» Тело брата Лемпика раздулось, как шар. Кожа трескалась, не выдерживая напряжения. Из разрывов валил черный дым. Потом раздался звук рвущейся плоти, и бесы брызнули, как пауки, из развороченного живота.

~ Нет, все было не так! Неправильно ты рассказываешь.

~ Помолчи-ка ты в тряпочку. Вы оба рассказываете неправильно. На самом деле все было так:

~ Горацио в своей гордыне...

~ Иероним, хитрая бестия...

~ Горацио в своей гордыне измерил голову брата Ламберта в сияющем нимбе и определил место, куда втыкать.

При трепанации не втыкают!

~ Определил место, куда втыкать, и сделал надрез. Монахи уже не скрывали радости, когда кровь брата Ламберта брызнула на занавеску. Горацио надавил долотом на кость. Еще буквально один нажим – и операция завершится. В общем, он надавил посильнее, и кость поддалась. Из раны хлынула яркая алая кровь и пролилась ливнем на каменный пол. При всем своем мастерстве Горацио не сумел остановить кровотечение. Брат Ламберт умирал. Охваченный ужасом, Горацио наблюдал за тем, как монахи попадали на колени в исступленном раскаянии. Добровольцы-помощники, которые еще пару мгновений назад скалились, как обезьяны, глумясь над страданиями брата Ламберта, теперь лили слезы. «Черт побери! – чертыхнулся в сердцах Горацио. – Вы что, не видите, он истекает кровью!» Но монахи не слышали. Они наблюдали за мученичеством святого. «Ангелы! – шептали они в благоговении. – Силы небесные! Тебя, Господи, славим!»

~ Иероним прищурился, наметил место и со всей дури вломил Лабберту долотом по черепу. Лабберт завопил: «Караул! Убивают!» – но из-под кляпа вывалось только: «ААА АААУУ! УУУ ИИИ АЙ!» Монахи нервно заерзали,

готовясь спастись от полчища бесов. «Господа, – сказал Иероним, – это всего лишь лечебная процедура». Но монахи застыли в ужасе, бормоча молитвы, Лабберт дернул ногами и завалился вместе со стулом назад, пуская ветры и бранясь на чем свет стоит. Кровь текла из разбитой головы. «Операция прошла успешно», – прошептал Иероним и принялся потихонечку пробираться к выходу. А обезумевшим от страха монахам уже виделись всякие ужасы: рогатые бесы и чудища, рожденные их воспаленным воображением, вырвались наконец наружу с явным намерением разорить монастырь. «Ну, я пошел», – объявил Иероним. Никто не обратил на него внимания. То есть никто, кроме Лабберта. В своей бурной ярости он сумел как-то выбраться из веревок и теперь вставал на ноги. «Спокойствие, только спокойствие», – пробормотал Иероним и бросился прочь со всех ног.

Ганс сидел съежившись у себя в спальне, сжимая в руках Псалтирь, а в Вормсе резвились бесы, творя бесчинства и разоряя город. Ночь вспучилась дьявольской музыкой. Псалмы и гимны пелись задом наперед; мадригалы звучали как полная тарабарщина под пронзительные завывания флейты. Ганс зажал уши руками, но вопли испуганных горожан вонзались в мозг, как кинжалы.

~ Город преобразился в райский сад. Буйная зелень прорастала прямо сквозь камни на мостовых. Птицы немыслимой красоты порхали среди цветущих деревьев и пели дивные песни. На улицах, там, где раньше бродили дворняги и бездомные кошки, теперь паслись единороги. Но самое главное, преобразились люди. Преисполнившись доброты и смирения, они сияли внутренним светом и беседовали с ангелами.

~ «Лабберт, дружище, давай все обсудим, как разумные взрослые люди».

«Что я наделал?!» – запричитал Ганс.

~ «Что я наделал?! – застонал Горацио. Он сидел на полу у себя в библиотеке и рвал в клочки свои атеистические книги. – Я убил святого. Теперь мои руки в крови, и их уже никогда не отмыть».

~ Иероним остановился посреди улицы. Вопли монахов в монастыре доносились даже досюда. «Прошу прощения, – сказал он, когда Лабберт принялся закатывать рукава. – Это тоже было представление. Ты послушай, как они ревут. Такой успех!» Но Лабберт не дал заговорить себе зубы. «Я сожру тебя с потрохами, – заявил он, – и насру тебе на голову!»

Ганс подошел к окну и выглянул наружу сквозь прорезь в ставне. Ночное небо светилось оранжевым от тысячи тысяч адских огней. На улицах бушевал дьявольский карнавал из деревьев-старух и мышиных людей, из парней-поросят и рыбин-девиц. Что-то плюхнулось на подоконник с той стороны окна: мерзкого вида лысая птица. Она отложила яйцо. Из яйца тут же вылупился птенец, которого птица сожрала на месте с большим аппетитом.

~ Что-то жужжало в воздухе над ухом Горацио. Он досадливо отмахнулся.

~ «На помощь!» – завопил Иероним, когда Лабберт врезал ему кулаком по причинному месту.

Ганс свернулся калачиком на полу. Вот ведь ирония судьбы, такая жестокая и печальная: безумие, что полыхало в той дьявольской голове, теперь стало нормой снаружи – мир словно враз потерял рассудок, и здравомыслие сохранилось лишь в Гансе, в человеке, который во всем виноват.

~ Атеисту легче поверить в Люцифера, чем в Божественную благодать. Поэтому

вовсе неудивительно, что Горацио представляюсь в его печали, что его осаждают чудовища.

~ Лабберт уже занес ногу, чтобы пнуть Иеронима сапогом по зубам, но тут земля под ним задрожала. Это монахи бежали толпой в центр города, дабы поведать миру кошмарную новость.

* * *

Вормс было уже не узнать. Новые башни и шпили выросли буквально из-под земли. Драконы грелись на солнышке на крепостных валах, и крылья их отражались, как обугленные ветви, в черной воде во рву.

~ Горацио бежал из города ангелов, унося с собой своих бесов. Он не видел благословенных чудес, что происходили из крови брата Ламберта, ибо сонм разъяренных бестий застилал ему взор. Они кружили над ним, как мухи. Копошились, как вши, в волосах. Присасывались к нему хоботками и пили кровь.

Ганс смотрел на все это издалека. Он бежал со всех ног к городским воротам, ловя ртом воздух. Сотни адских созданий гнались за ним по пятам, хватали за руки, бросались ему под ноги. Их пухлые тушки лопались, как мухи-поденки. Ганс вытер липкую слизь со своих подошв об увядшую траву.

~ Горацио принялся хлестать себя по лицу, стремясь уничтожить своих воображаемых мучителей. Но боль от ударов лишь еще глубже вогнала его в отчаяние.

Ганс смотрел на страдающий город, и тут ему вдруг пришло в голову, что, может быть, это не мир обезумел, а просто он сам повредился рассудком. Он испытывал боль, стало быть, это был никакой не сон, но полчища демонов – это слишком ужасно, чтобы такое происходило наяву. Быть может, весь этот кошмар – плод его распаленного воображения?

~ Горацио оглянулся на Виттенберг. Там, где была красота, он видел только знак Зверя; вместо сияющих ангелов видел он ухмылявшихся бесов. «Теперь я проклят, – сказал он вслух. – И буду вечно гореть в аду, вместе с другими злодеями».

«Если все дело во мне, – рассуждал Ганс, – тогда, врачу, исцелился сам».

~ Горацио пошарил у себя в сумке и достал набор хирургических инструментов. Он сел на вершине холма и поднес к голове трепан.

В другую руку Ганс взял деревянный молоток. Он ни разу не видел, чтобы врач проводил подобную операцию на себе, но вид истерзанного Вормса придал ему сил.

~ Горацио ударил молотком по рукояти трепана.

Вспышка невыносимой боли...

~ ...кость треснула, как скорлупа...

...звук казался таким далеким...

~ ...он прогремел громом.

Ганс упал на траву. Его глаза были словно два зеркала, где отражалось небо.

~ Пока кровь вытекала из раны, унося с собой жизнь, Горацио узрел Виттенберг во всем его благословенном великолепии. Он мысленно вознес хвалу Богу, и слова были как пар у него в голове. Но он уже не надеялся на спасение.

«Господи, пусть с моей смертью закончится этот кошмарный сон».

~ «Вот, черт. Неверный диагноз».

Вормс в отдалении, словно луг, омытый весенним ливнем, вернул себе прежний облик. Миллионы демонов, будто мухи, захваченные половодьем, пролились в реку Неккар. Они утащили с собой бездыханное тело врача; но душа его вознеслась на Небеса.

~ Чудеса в Виттенберге продолжались все лето, всю осень и дальше. Старики обрели

новые силы, молодые познали мудрость. Урожай на полях уродился в тот год небывалый; городские трущобы снесли, в городе построили несколько новых церквей и основали университет. Когда горожане нашли труп Горацио, они похоронили его на перекрестке дорог, как нечестивого самоубийцу. А что стало с его душой, о том известно лишь дьяволу.

~ Весьма поучительно, я бы сказал. Но если вам все еще интересно, то вот как все было на самом деле. Добрые граждане Вормса, которые были весьма легковверны и простодушны, напридумывали себе всяких ужастей, так что сами себя напугали до полного помешательства. Иероним с Лаббертом, почуяв опасность, поспешили укрыться. «Отмщения! Отмщения! – скандировала толпа, швыряя камнями в окна Иеронима. – Это он, окаянный, наслал на нас бесов! Смерть ему! Смерть! Повесить на месте!» Лабберт, все еще злой, как черт, вдруг встрепенулся, как будто ему пришла некая свежая мысль. Иероним занервничал еще пуще.

«Ага, – сказал Лабберт. – Они за тобой пришли, не за мной». Иероним достал из ящика стола лист пергамента и быстро подправил свое завешание. «В знак нашей дружбы, Лабберт, я завещаю тебе десять процентов стоимости моего земного имущества». Взбешенная толпа уже принялась выламывать дверь. «Это твоя последняя ложь, – сказал Лабберт, когда первый топор вонзился в деревянную обшивку. – Нет у тебя никакого земного имущества». Что было истинной правдой, если не почитать за великие ценности веревку с петлей и предсмертный стояк. А мораль такова:

Думайте, что сочиняете, любезные господа, А то наплетете с три короба, и будет вам с этого только беда.

Explicit liber Pandaemoniam

Пролог спящего пьяницы

Да, вы уже тоже заметили: рассказчики потихоньку кончаются. Все взоры обращены в сторону спящего пьяницы, что храпит себе на носу. Вслух никто ни о чем не договаривался, поэтому я затрудняюсь сказать, чья нога въехала ему в ребра. Спящий вздрагивает во сне и приоткрывает один глаз.

Все хором: Расскажи нам историю, мы хотим историю, давай рассказывай нам чего-нибудь...

Спящий то ли рычит, то ли стонет. Мир сновидений никак его не отпускает: он по-прежнему погружен в эти мягкие воды самозабвения.

Спящий пьяница: Не знаю я никаких историй.

– Ну уж нет, не отлынивай, – распекает его монашка. – Мы все нашли, чего рассказать, чтобы скоротать время. Теперь твоя очередь.

Спящий пьяница: Мы все?

Раскаившийся пропойца(*то ли радостно, то ли подавленно, непонятно*): Так он даже не слушал.

Глаз спящего пьяницы закрывается, как будто улитка выглянула на миг из домика и снова втянула рожки. Пьяная баба раскрывает ему веки пальцами. Спящий закатывает глаза, зрачки ищут спасения в глубине глазниц.

Пьяная баба: Нам нужно что-нибудь, чтобы взбодриться.

Певцы-горлопаны: Песня.

Монашка: Псалом.

Но спящий (пьяная баба по-прежнему не дает ему слепить веки, и ее проспиртованное дыхание обжигает ему глаза) и вправду не знает никаких историй. То есть вообще никаких.

Все остальные, похоже, близки к отчаянию.

Спящий пьяница: Хотя нет, может быть, кое-что я и смогу рассказать! Только ты убери руки! (*Моргая и заливаясь слезами.*) Мне часто снится один и тот же сон. Он такой... очень неспешный. Может быть, если начать его пересказывать, так и сказать будет нечего. (*Он зевает, пуская слюну.*) Вам наверняка будет скучно.

Все хором: Нетнебудетдавайрассказывайскорее.

Спящий пьяница: Это просто как бы картинки у меня в голове. Никакого сюжета и действия. И смысла тоже никакого, насколько я понимаю. Скорее всего вы уснете где-то на середине. (*Сладко зевает.*) То есть будем надеяться.

Рассказ спящего пьяницы

Представьте себе комнату, узкую комнату, со скошенным потолком. Стены в комнате светло оранжевые, хотя их почти и не видно за картинами и книжными полками. Листочки с картинками и памфлеты разбросаны по кровати, по белому покрывалу. В окне видны ветки каштана – маленький садик, где лавры и падубы, и еще дальше – дома и деревья. Это декорации, которые никогда не меняются. Теперь представьте себе письменный стол с аналогом, весь уставленный странными приспособлениями. В том числе: две лампы, что горят без масла и дыма, музыкальные шкатулки, что играют сами по себе, так что не надо их заводить, и большая белая фасолина с серой припухлостью в виде такого маленького бугорка – она лежит на бархатной плоской подушке и ерзает, если притронуться к ней рукой. [65] За столом сидит молодой человек. У него румяные щеки и вечно спутанные волосы. На щеках – трехдневная щетина. И он что-то пишет на клочках бумаги.

В общем и целом, вот так все и есть. Видение необычное, да, но все выглядит буднично, обыкновенно. Если там есть волшебство, то его очень мало: никаких магических превращений, никаких потусторонних явлений. Молодой человек не летает по воздуху и не беседует с моими покойными родичами. Есть только я, которому все это снится, и он – мой сон.

И там никогда ничего не происходит. Вы спросите, есть ли там кто-то еще? Его отец, его мать. Служанка, что приходит к нему убираться и болтает без умолку, но он совершенно бесстыдно ее затыкает, не желая вступать в разговоры. Иногда его кот, ленивая и медлительная зверюга с черной мордочкой и отвисшим пузом, запрыгивает на стол. Кот разбрасывает листы и жует уголки книг, и если он где уляжется, его уже не сдвинуть. Кот говорит: *prrrrr-prrrrr*. И молодой человек прекращает попытки согнать его со стола, причем очень охотно, и чешет его за ушком. Друзей он дома не принимает. Женщин к себе не водит. Для компании у него есть черный сундук, украшенный светящимися циферками, и этот сундук разговаривает на разные голоса. Молодой человек никогда не вступает в беседы с духами, хотя иногда, если кто-то из них его сильно рассердит, то он может его отругать. Из того же самого сундука – там есть такой маленький ящик, он высовывается наружу, как язык, принимающий святое причастие, – молодой человек извлекает и музыку – иногда эта музыка режет слух и совсем не похожа на музыку, под которую он пытается писать.

Теперь что касается его *работы*, этой загадочной писанины... Иногда, просто для развлечения, он отталкивается ногами от пола, потом поджимает ноги и вертится вместе с креслом по часовой стрелке. Когда ему надоедает крутиться по часовой, он начинает вертеться против. И так может продолжаться достаточно долго. То туда, то сюда. Иногда он нагибается к полу и снимает с ковра ворсинки или смотрит в окно на каштан. Да, я же предупреждал, что мой сон – самый скучный из всех снов в истории сновидений. Я терпеть не могу этого человека. И все-таки он постоянно мне снится. Вот он, родимый,

⁶⁵ Как объясняет сам автор, большая белая фасолина с серой припухлостью в виде маленького бугорка – это компьютерная мышь. – Примеч. пер.

Похоже, он одержим нездоровой любовью к выбеленной кости. Она лежит у него на кровати. Когда кость начинает пищать и выть, он берет ее в руку, подносит ко рту и успокаивает звуками голоса. Потом он кладет ее на место и с явною неохотой возвращается к работе. Вернее, к своим книгам. Я еще не рассказывал про его книги? Про его страсть собирать их и ими владеть, про то, как он читает по несколько книг за раз, начинает одну, тут же бросает, берет другую, ее тоже бросает, берется за третью, и ни одну не дочитывает до конца. Вы, может быть скажете: что скромный уличный фокусник понимает в книжной учености? Но я понимаю достаточно, чтобы сравнить его ревностную тягу к книгам со страстью охотника, одержимого мыслью собрать побольше трофеев. Он так гордится своими книгами как настоящий мужчина гордится своими детьми.

Вот так вот, всегда один – за исключением редких мгновений, когда к нему входит мать с родительскими наставлениями и чистыми носками, которые она складывает попарно и убирает к нему в шкаф.

Позвольте мне описать, как он обычно работает – его метод – хотя «метод», может быть, слишком сильно сказано. Сперва он пишет корявым и неразборчивым почерком на каких-то клочках бумаги, то есть на первом, что попадает под руку, например на обороте смятых счетов, которые он достает из мусорной корзины и разглаживает рукой. Когда же он благополучно исписывает все листы, он прикрепляет их к аналою и переписывает заново, внося изменения и поправки, в зеленую толстую книгу. Вариант из зеленой книги – которая состоит почти сплошь из зачеркнутых или вымаранных фраз, – он переписывает, внося изменения и поправки, в маленькую синюю книжку. Потом он садится перед доской из слоновой кости, в которую врезаны мелкие квадратики с буквами, и набивает на них текст из маленькой синей книги. Белая коробка на столе вздыхает [67] – пффффвввзззззуууввв – и выплевывает отпечатанные листы в формате кварто, – молодой человек их читает и исправляет там что-то красными чернилами – потом снова стучит по клавишам из слоновой кости – белая коробка вздыхает и выдает очередную порцию печатных листов – он снова читает и вносит поправки синими чернилами – снова стучит по клавишам – белая коробка выплевывает отпечатанные листы – и так далее, и так далее, и так далее, пока ему это не надоедает.

Какая-то китайская грамота.

⁶⁶ Постоянно, непрерывно (лат.). – Примеч. пер.

⁶⁷ Белая коробка – принтер. – Примеч. пер.

вполне, скажем так, бодрый. Работает он до глубокой ночи, и вид у него, должен заметить, донельзя глупый. Рот открыт, глаза выпучены. По завершении работы молодой человек, моя выдумка, приступает к своеобразному ритуалу. Перебирает книги, как будто считает, все ли на месте. Ставит на коврик домашние туфли. Заглядывает под кровать, нет ли там пауков. Складывает листы в стопки на столе, утихомиривает говорящих духов из черной коробки и лезет рукой под стол, где у него тихонько жужжит какое-то хитроумное приспособление. Мне не видно, что это такое, но он лезет рукой под стол, и жужжание умолкает. А я просыпаюсь.

Мне почти жаль просыпаться. Потому что, когда я не сплю и не вижу его во сне, он исчезает, фьют, потухает, как свечка. Поэтому я всегда возвращаюсь туда, в тот сон – каждый раз, когда выдается такая возможность, – чтобы придать ему больше жизни. В конце концов, это я его выдумал. Этот угрюмый парень обязан мне всем. Он – мое наказание. Ибо признаюсь вам как на духу, я прожил презренную грешную жизнь. Я обманывал и дурачил доверчивых простаков. Как у нас говорят, ловкость рук, и никакого мошенничества. Деньги и ценности перетекали моими стараниями из чужих карманов в мой собственный. Вы бы меня послушали, господа хорошие, как я вещал перед собранием зевак о каббалистических знаниях и душах, запроданных дьяволу, пока мой напарник шнырял в толпе и чистил карманы невинных граждан, по такому раскладу вполне можно было бы предположить, что мне всю жизнь потом будут сниться кошмары. Но нет. Я не сделал в жизни ничего хорошего, и теперь несу наказание. Наказание скукой. *Он* – мое наказание, моя выдумка, плод моего воображения. Дитя, обманувшее все ожидания родителя.

И все-таки – иногда у меня возникает легкое подозрение – *аааааа* (сладкий зевок) – такое смутное-смутное подозрение, что я, может быть, ошибаюсь. Может быть, я не творец того сна. Может быть, все гораздо сложнее. Когда молодой человек надолго выходит из комнаты, у меня перед глазами возникают рыбы. Акула плавно скользит слева направо – мурина выглядывает из-за камня – моллюски пускают воздушные пузыри, что поднимаются вверх периодически повторяющимся узором. Все это сопровождается глухим гулом морских глубин, и тихим бульканьем пузырьков – *буль-буль-буль*, – и жутковатым спокойствием. А потом *он* возвращается и спасает меня от моря. [68]

Вы все, наверное, знаете – *ааааа* – знаете это ощущение – *ааааа*, прошу прощения – ощущение, когда тошнота подступает к горлу? Так вот – *ааааа*, о Господи, что ж такое – там, во сне, у меня очень похожие ощущения. Когда меня накрывает страх. Сон – он как водоворот. Увлекает с собой, но ни разу – до самой-самой глубины.

Но в последнее время молодой человек из сна не бездельничает. О нет. Он иступленно работает. Он больше не тратит зря время, не ищет, чем бы отвлечь себя от работы. Он пишет и пишет, истово, сосредоточенно. И глаза у него горят жаждой убийства...

– РАДИ БОГА, – вопят все разом, – ЗАТКНИТЕ ЕГО, КТО-НИБУДЬ!

Пролог обжоры

Все скопом бросаются на рассказчика: певцы-горлопаны с кулаками, пьяная баба с фляжкой, монашка с лютней и монах с сандалиями в руках – дубасят его и пинают нещадно. Тот прикрывает голову руками и безропотно сносит удары, пока ярость измученных слушателей не сходит на нет; отмутузенный бывший фокусник, а теперь попросту выпивоха и соня, лежит неподвижно. Похоже, он спит.

Певцы-горлопаны: Еще историю, хотим еще!

Все ищут обжору. Но находят лишь непонятный кожистый мешочек за мачтой. Он судорожно подергивается и урчит, извергая вонючие газы.

– Где он? – спрашивает монашка, зажимая нос.

⁶⁸ В этом абзаце Грегори Норминтон описывает скринсейвер у себя на мониторе. – Примеч. пер.

– Там, внутри, – отвечает шут, указывая своим скипетром на смердящий куль.

Монах: Похоже на курицу.

Пьяная баба: Не, на винные меха.

Шут: Это его желудок.

Не зная, что рассказать, когда придет его очередь, и доведенный до иступления издевательской курицей со сквернословящим задом, обжора сожрал сам себя. Поскольку все были заняты избиением предыдущего рассказчика, никто не слышал его смачного чавканья, в котором смешались боль и восторг, как это бывает, когда кавалер, обуянный страстью, лобзает девицу, или когда кто-то пробует очень острое кушанье, от которого слезы текут в три ручья.

Страдающий от газов мешок говорит...

Рассказ обжоры

Ффф. Оо. Ппррпффппррфффф.

Эпилог

Это была не обычная вонь, какая бывает, когда кто-то пускает газы. Это было благоухание всего обжоры. Как будто целая жизнь раскололась на части и испарилась смесью различных запахов. Медовый дух детских какашек, сладкое материнское молоко, луковый привкус растущих костей. Пассажиры на корабле давятся едкими испарениями похоти, честолубия и разочарования, что воняет почище протухшего сыра. И от сей обонятельной хроники не укрыться никак: как ни зажимая пальцами нос, запахи все равно просачиваются – так вонзается в уши пронзительный вопль, даже если закрыть их ладонями.

Шут уже не может сдержать рвотных позывов. Со своего места вверх на корме он поливает раскаявшегося пропойцу полупереваренным пивом, и брезгливого монаха сразу же начинает тошнить. Монашка, на которую тоже попало, и сама начинает блевать прямо на стол; глядя на это, блюет и пьяная баба, прямо себе во флягу; фляга быстро переполняется, и рвотная масса проливается на спящего пьяницу, который выплевывает на корму кварту домашней браги. Певцы-горлопаны, захваченные перекрестным огнем, отползают в сторонку и, перегнувшись через борт, извергают в морскую пучину содержимое своих желудков.

Последним (уже после того, как пловец внес свою скромную долю в размере пинты) в этот дружный поблѣв вступает раскаявшийся пропойца. Вы скажете: да ему просто нечем тошнить, после стольких разов, – и вы будете правы. Это как если б голодная птица пыталась оторгнуть. Твердый комочек, что плюхнулся в воду, был не больше лесного орешка. Но все-таки именно он, я почему-то ни капельки не сомневаюсь явился причиной последующих событий.

Кося глазами на свою комковатую мокроту, раскаявшийся пропойца с ужасом видит, как что-то темное и извивающееся поднимается из глубин. Червь в форме воронки, цвета несвежей требухи, раскрывает розовое отверстие и заглатывает комочек, плавающий у поверхности. Онемевший от страха раскаявшийся пропойца хватается черпак и колотит им по воде, пытаясь прикончить морского стервятника. Но удары не действуют на червя. Они его даже не отпугнули. Он опять разевает рот – эту кошмарную дырку, которая может быть только ртом, – хватается черпак и выдергивает его из рук пропойцы.

– Черт, это же был наш руль! – Монах в запале и не замечает, что поминает черта. – И как мы теперь будем рулить?!

Но на ответ времени не остается. Вода вокруг корабля начинает как будто вскипать, и корабль весь дрожит – от трюма до самой верхушки мачты. Море взрывается буквально в нескольких ярдах от борта. На поверхность всплывает какая-то студенистая масса, в два раза больше суденышка. На первый взгляд это похоже на гигантскую сеть, полную рыбы. При всем старании я не могу описать это чудовище целиком, не могу свести части в единое целое.

Тошнотворное зрелище: полупрозрачные, переливчатые тела подергиваются, как будто в конвульсиях, внутри расплзающегося мешка из плоти, а то, что раскаявшийся пропойца принял вначале за червя, оказалось всего лишь кончиком щупальца.

– Нет. Я не верю. Так не бывает, – лопочет раскаявшийся пропойца. Словно в доказательство, что так бывает, гигантская клешня вырывается из воды, хватая его за горло и тащит за борт. Бедняга даже и пикнуть не успевает. Никто не бросается ему на помощь. И чудовище погружается под воду, унося с собой свою добычу.

И вот что странно. Никто не кричит и не рвет на себе волосы, хотя тот, кто видел подобный ужас, должен вообще обезуметь от страха. Но нет. Все застыли на месте и боятся даже моргнуть, как будто движение век способно навлечь беду и на них тоже. От раскаявшегося пропойцы не осталось и следа, только несколько пузырей неизвестного происхождения безутешно побулькивают на поверхности.

Пловец, который только теперь осознал, что таится в глубинах под его голыми ногами, пытается вскарабкаться на корабль.

– Бога ради, дружище, – цедит кто-то сквозь зубы, – *не трепыхайся*.

Это тактика кролика перед лицом неумолимой опасности. Пловец, однако, демонстрирует отклик испуганной рыбы: бьется в панике, мечется туда-сюда и привлекает внимание пучины.

Как описать это последнее нападение? Может быть, кто-то из вас, проходя в солнечный день мимо тихого озера, видел, как рыба выпрыгивает из воды, как ее мокрое скользкое тело выгибается в обжигающем воздухе, и отблески солнца сверкают на чешуе? Теперь представьте себе ту же рыбу, но увеличьте ее во сто крат. Вот такая вот рыбина и выскакивает из моря, глотает ком теста, болтающийся над столом, и перекусывает веревку. Застывшим в ужасе пассажирам все же хватает ума пригнуться, чтобы не попасть под огромный плавник – который бьет одного из замешкавшихся горлопанов плашмя по спине. Оглушенный, тот падает в море и тут же пропитывается водой, как облатка – вином.

– Спасите его... кто-нибудь! – кричат его перепуганные товарищи. Но и они тоже обречены. Превращения не избежать никому. Второй певец-горлопан покрывается потом, густым и вязким, как мед. Он пытается облизать губы, но язык прилипает к нёбу. Волосы как будто приклеиваются к голове, веки слипаются – не разодрать, и поэтому он не видит приближающийся рой. Оно опускается словно из ниоткуда: оглушительное, жужжащее облако. Все остальные, кто это видит, спешат отойти подальше. Пчелы размером со скворца облепляют несчастного, назойливо лезут в рот, пропихивая друг друга, и в конце концов он, обессиленный, падает в воду.

Его напарник тем временем в ужасе смотрит на свой указательный палец, который растет и растет – и превращается в полую трубку. Палец уже такой длинный, что палубы не хватает, и он свисает над водой, и тут притаившееся под водой чудовище хватается эту соломинку и начинает сосать. Мы в отчаянии наблюдаем, как третий певец-горлопан бледнеет прямо на глазах, его кожа провисает пустым мешком; а потом – резкий рывок, и его утянуло за борт.

И тут начинается уже полный кошмар. Пьяная баба отбивается от громадного щупальца, и отбивается поначалу успешно, но коварное чудовище отбирает у нее фляжку и таким хитрым образом заманивает свою жертву в пучину – где на ней тут же смыкаются створки ракушки гигантской устрицы, так что торчат только ноги.

Истовые молитвы не помогают монашке. Ее собственный плат словно взбесился – он растянулся, как черная перепонка, у нее перед лицом, закрывая обзор. Она слепо мечется по палубе, наступая на собственную лютню и тоже падает за борт.

Впрочем, и на самом корабле уже небезопасно: чешуйчатые зверюги с клыками и бивнями бьются о деревянные борта, пробивая их насквозь.

По левую руку от меня барахтается спящий пьяница: с плачем идет ко дну, сжимая в руках свою стеклянную бутылку. По правую руку – огромный кит, у него в пасти беснуется шут. Когда вода поднимается к верхнему нёбу кита, шут хватается за решетку китового уса и

орет в иступленном восторге:

– Наконец! Наконец-то!

Надо мною – монах. Пытается вскарабкаться вверх по матче в надежде спастись от воды, что уже заливает палубу. Но он только скользит на курином жире; ряса его задралась, явив миру рябые дородные ягодицы. Он срывается с мачты и с пронзительным визгом падает в море, что буквально кишит чудовищами. Неторопливая грустная тварь с немигающими антрацитовыми глазами глотает жидкие крики монаха и извергает их, переваренные до шепота, из своей темной, таинственной прямой кишки.

Что-то липкое и противное, как куриная кожа, задевает меня по ноге. На лице у пловца отражается страх и гадливость. Его мокрые пальцы выскальзывают у меня из руки. Острая боль пронзает мне руку до локтя, когда в моего сотоварища с ходу вгрызается некое непонятное существо. Наши взгляды встречаются через пропасть. Я знаю, мой рот не способен произнести ни звука, и поэтому я не выкрикиваю слова прощания, когда пловец, бездыханный, уходит под воду.

Очень долго (или это только так кажется, будто долго) я жду в одиночестве в открытом море. За спиной у меня тонет мачта. Ее ветви вздыхают, пропитываясь водой, каждый листик одет крошечными пузырьками. Я представляю себе, как пловец опускается на дно, руки легонько покачиваются над головой, глаза закрыты, и там, под смеженными веками – целый мир. Ему всего-то и нужно было, чтобы кто-нибудь его выслушал, и я бы выслушал обязательно – да, несмотря на его непомерное самомнение и зазнайство. Я бы с радостью окунулся в поток его скучных речей и держался бы на плаву только за счет силы слов, но при условии, что они будут новыми, то есть, я имею в виду, всегда обновленными.

Теперь, когда он утонул, я должен всплыть на поверхность.

Второй пловец – это я.

Вспомним, как все начиналось (эта хроника, я имею в виду): в своем прологе я совершил одну маленькую оплошность – едва не раскрыл себя, хотя надеялся сохранить свой секрет до конца, никто не должен был знать, что я вообще существую. Перечисляя предметы, имевшиеся на борту, я упомянул плоску для подаваний, но ведь ничего не было. Так чья же тогда эта плоска? Конечно, моя. Я наполнил ее морской водой. Разумеется, со смыслом – чтобы все остальные взяли себе на заметку. «Пейте, мечтайте и веселитесь, друзья: все равно всем вам сгинуть в морской пучине».

Я не знаю, почему они все должны были утонуть. Что это: наказание – или искупление? За какие грехи – и каких грехов: простительных или смертных? А если так, то при чем здесь шут? Судьбу остальных – при их похоти, жадности и отчаянии, при их лени и гордыне – еще можно было бы предугадать. Но шута, который дурак в своем праве, можно было бы и пощадить: его профессия, по идее, должна давать ему полную неприкосновенность. Может быть, море востребовало его к себе, имея потребность в его шутовском мастерстве? Ибо шуты – слуги царей, и при всех своих вольностях все равно несвободны по большому счету. Или изменчивая Фортуна не терпит тех, кто разбирается в Ее играх? В конце концов, шут был слишком уверен в себе.

Я же – наоборот. Я – немой. Я – как пустынный чертог, отдающийся эхом чужих голосов.

Я никак не могу очиститься от противных, вульгарных слов, что он изрекают. По идее, мне надо бы радоваться даже этим избитым и старым басням: какая-никакая, а все ж компания. Но меня бесят их голоса. Они кружатся надо мной, словно гнус на закате. Я представляю себе их всех, как они превращаются в белую глину на дне морском, в ту самую глину, что используют гончары, а иногда – виноторговцы, чтобы закупоривать свои бутылки. Но когда они *живы*, какой был в них смысл? Какая от них была *польза*?

Они – свидетели, давшие показания. Пусть неумело, коряво и далеко не всегда – правдиво. Если где-то в творении был пробел, они его худо-бедно заполнили. Теперь, когда я вспомнил их всех и повторил рассказ каждого, я тоже, наверное, заслужил избавление? Я

очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что мне, пересказавшему чужие повести – ведь за мной наблюдали, и мне сострадали, и терпеливо дослушали до конца, – тоже будет позволено все забыть.

Я представляю их всех среди колышущихся бурых водорослей. Рыбы обглаживают их кости. Их жизни распутываются, как клубки шерсти. Они забывают про свою жизнь, они сновидят ее обратно.

Вот и последние ветки мачты скрываются под водой. Оставшись без своего насеста, зеленая сова расправляет крылья. Она взлетает, чиркнув грудкой по воде, и роняет мне на голову здоровенную плюху помета. Я, как могу, отмываюсь – моя черная шапка промокла до нитки – и наблюдаю, как птица летит к горизонту, то есть в том направлении, где должен быть горизонт. На секунду я вижу себя как бы с высоты птичьего полета. Оттуда, сверху, я кажусь барахтающимся червем; желудок обжоры – не больше букового орешка.

Этот кошмарный мешок проплывает мимо. Я зажимаю руками уши, чтобы не слышать его жалобных стонов, невнятную и бессвязную болтовню личного обжорского ада. Я пытаюсь отплыть подальше, брыкаясь в вонючей воде, и в процессе (прошу прощения за такой оборот) задеваю рукой что-то твердое.

Плошка для подаваний.

Я беру ее в зубы, чтобы руки были свободны.

Далеко впереди сова резко снижается, словно собирается броситься в море. Но совы не топят. Не такое у них назначение. На самом деле она садится на верхушку дерева. Сперва мне кажется, будто дерево растет прямо из моря – как будто там была земля, только недавно затопленная водой. Приглядевшись, я вижу, что снизу виднеется что-то темное, наподобие половинки скорлупки грецкого ореха. И судя по всему, компания там собралась весьма разношерстная. Легкий бриз не доносит ко мне никаких голосов; но мне нетрудно представить, как они там орут во всю глотку и добродушно подшучивают друг над другом. В животе образуется уже знакомая тошнотворная пустота. Я плыву к кораблю, который, скорее, утлая лодчонка, и даже не лодка, а так, непонятного свойства посудина.

Сейчас я вам ее опишу.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)